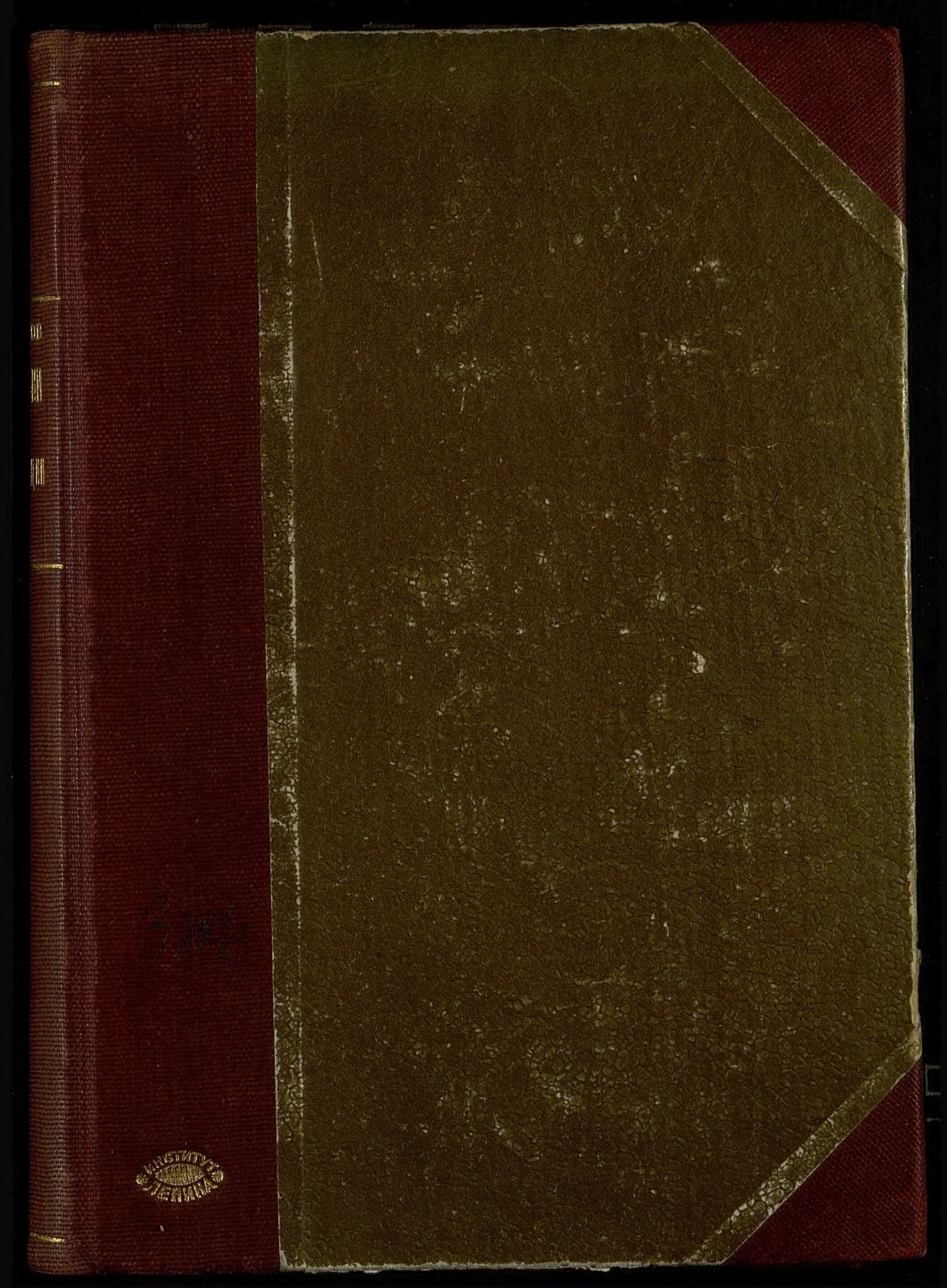
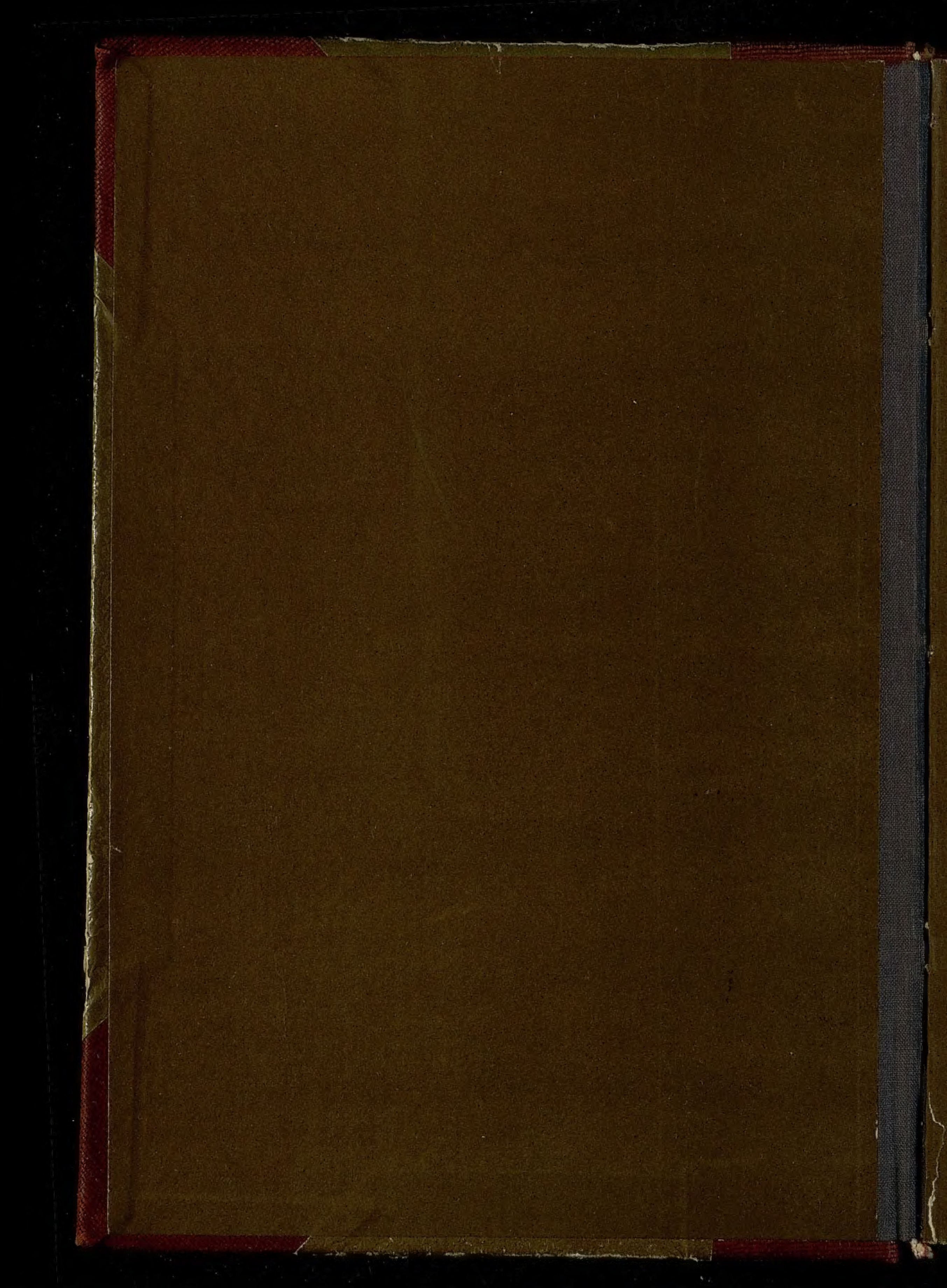
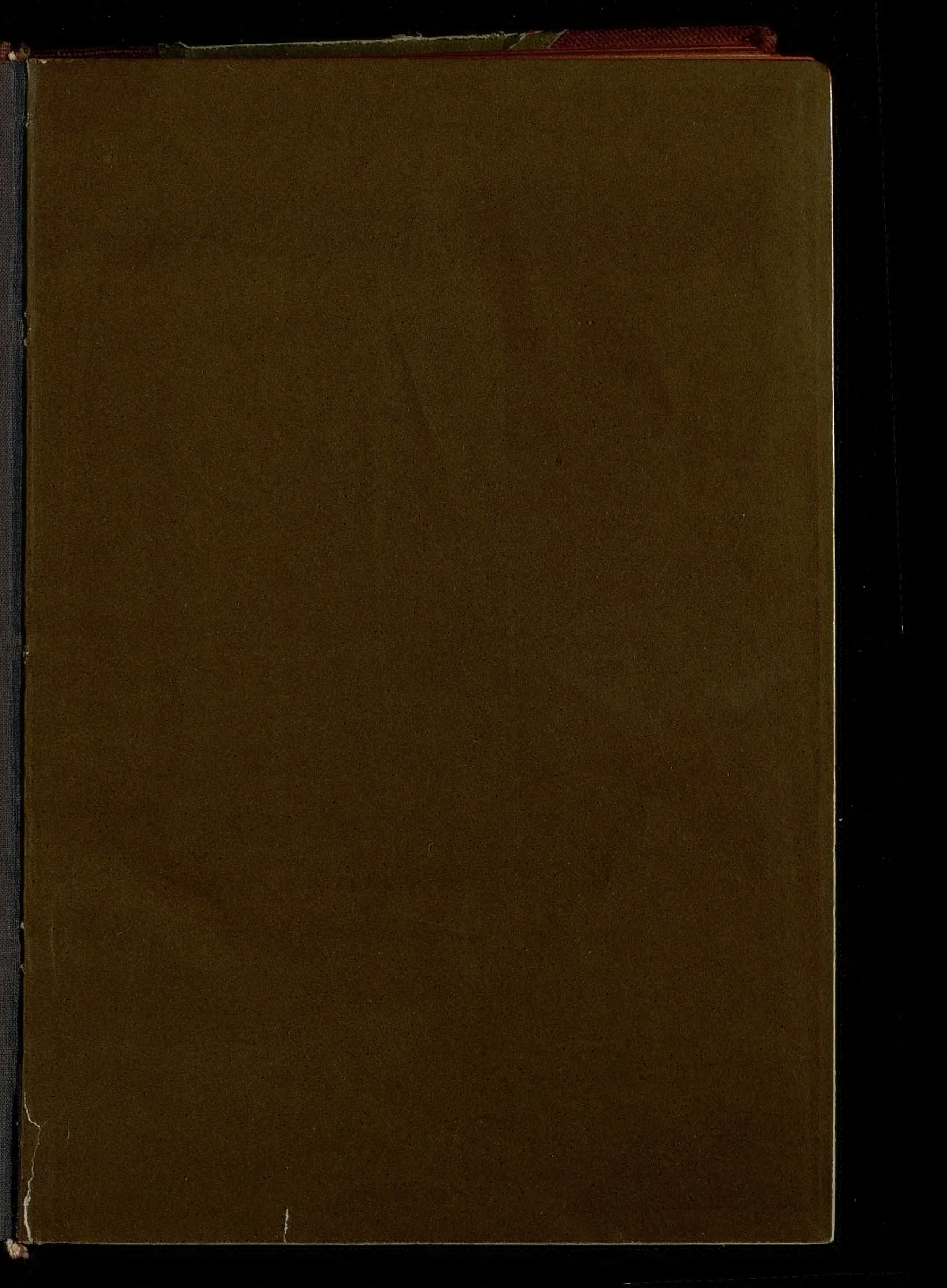

ИНСТИТУТ
ЛЕНИНА





НИК. СУХАНОВ.

ЗАПИСКИ О РЕВОЛЮЦИИ

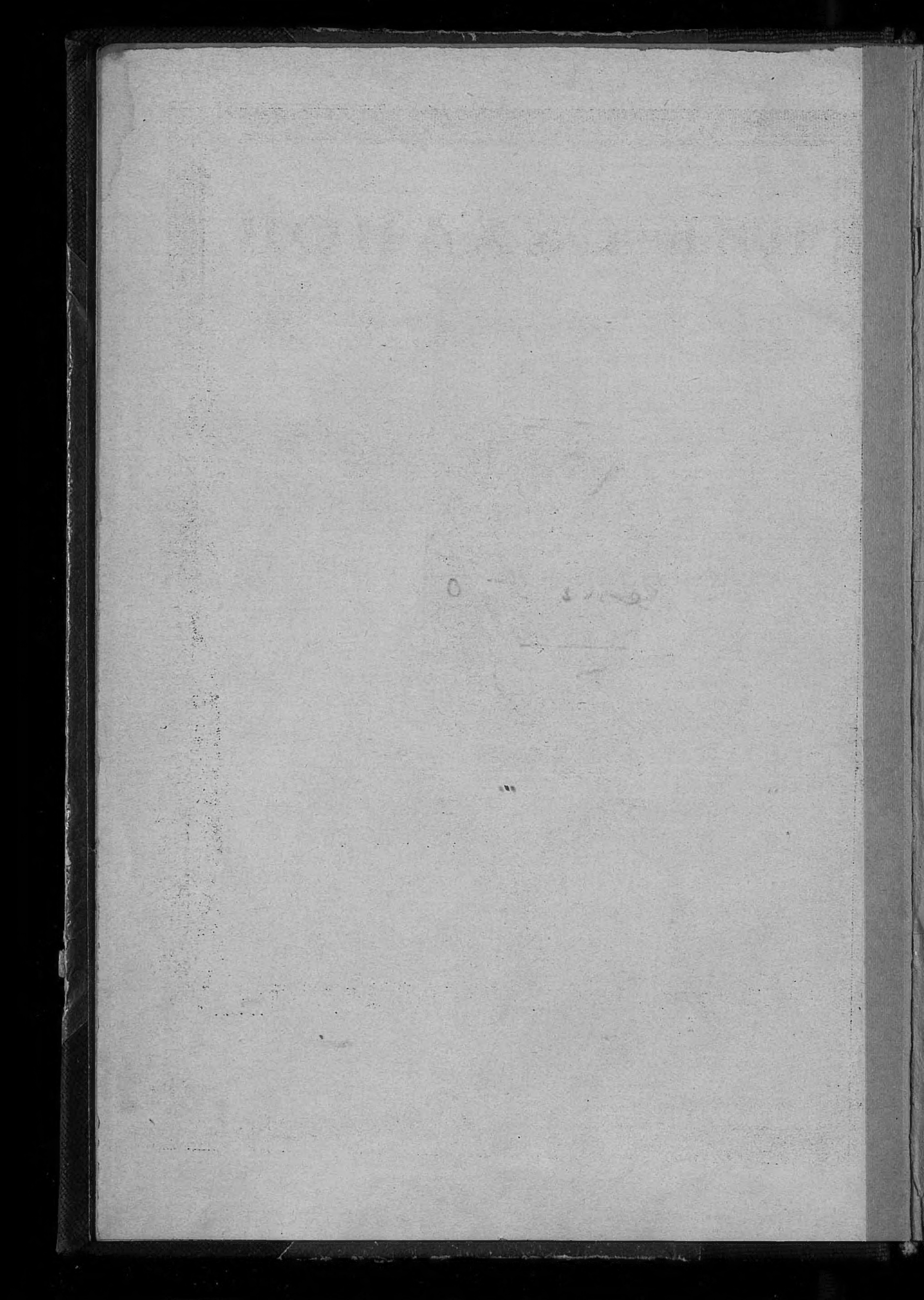
КНИГА ПЕРВАЯ

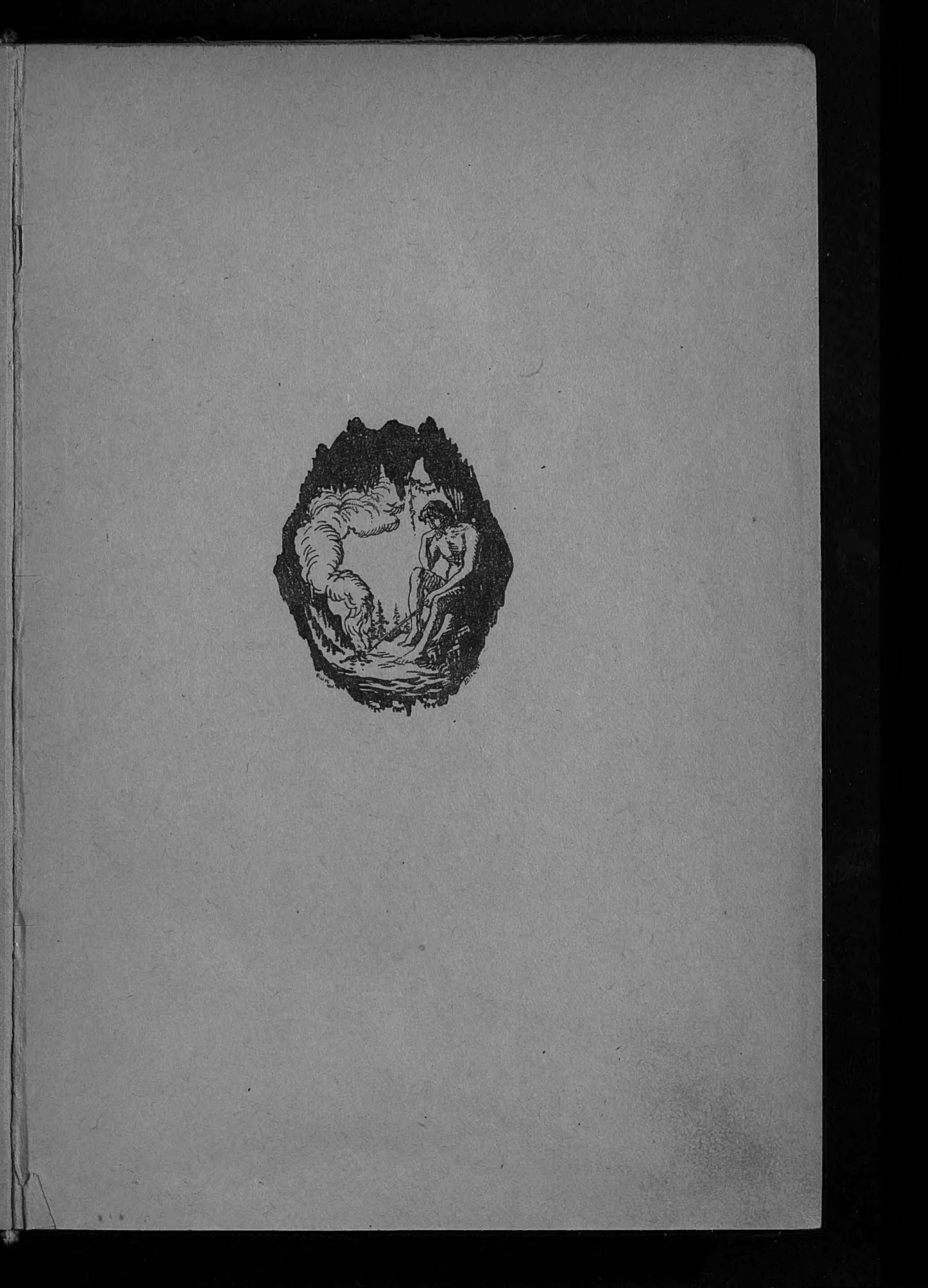


ИЗД. З. И. ГРЖЕБИНА.

ПЕТЕРБУРГ.

1919.





НИК. СУХАНОВ.

ЗАПИСКИ О РЕВОЛЮЦИИ

КНИГА ПЕРВАЯ



ИЗД. З. И. ГРЖЕБИНА.

ПЕТЕРБУРГ.

1919.

КНИГА ПЕРВАЯ.

МАРТОВСКИЙ ПЕРЕВОРОТ.

ОТ АВТОРА.

Неправильно, несправедливо, нельзя — принимать эти «записки» за историю, хотя бы за самый беглый и непритязательный исторический очерк русской революции. Это—личные воспоминания, не больше.

Я пишу только то, что помню, только так, как помню. Эти записки—плод не размышления, и еще меньше изучения: они плод памяти.

Я не считал себя обязанным изучать, исследовать то, что необходимо для истории революции, но что происходило у меня за спиной, проходило не у меня на глазах, не через мои руки. А читателя я считаю не вправе требовать от этих записок большего, чем могут дать вообще личные «ремарки», случайные заметки, писанные между делом—когда волею «коммунистических» властей я стал на время безработным, устраненный от литературной работы закрытием «Новой Жизни» и от политической — изгнанием из центрального советского учреждения (Ц. И. К.), где я работал с первого момента революции.

Этот выпуск — первый выпуск серии, которой не видно конца—написан в период июль-ноябрь 1918 года. Следующий я едва начал и, Бог весть, закончу ли когда-нибудь мою повесть о незабвенных днях, о грандиозных делах эпохи, величайшей в истории человечества, — о «делах и днях», свидетелем которых меня поставила счастливая судьба. Ибо разве, в самом деле, не счастье—иметь

возможность писать о мировых событиях, о сказочных народных подвигах в книге личных воспоминаний!..

Отказываясь от исторического изучения, я — можно сказать—из принципа отвергал пользование всякими материалами,—кроме случайных и неполных комплектов одной-двух газет, призванных лишь будить мне память и избавлять изложение от хронологической путаницы.

Но и то—для этой цели газеты послужат мне главным образом в следующих выпусках. В этой же книжке газеты почти ни в чем не помогли мне. Дни переворота, первые шаги революции, период «становления» нового порядка — запечатлелись навсегда в моей голове так, что никакие газеты и «источники» не могли бы тут прибавить ни иоты. Они могли бы осветить те стороны дела, те явления, те события, которые были вне поля моего зрения. Но, во-первых, именно в этот период, не выходя из Таврического дворца, не покидая недр революции, я могу сказать, что мое поле зрения на нее было огромно; а то, что было вне его, было менее интересно и менее важно. Во-вторых, повторяю—что было вне поля моего зрения, я не обязан описывать. А читатель не вправе от меня этого требовать.

Все это значит, что моя книга переполнена всякого рода «суб'ективизмом». Да,—и я не только не избегаю, не ограничиваю его, но совершенно не считаю это недостатком исполнения моей работы. Правда, меня самого при писании и чтении нижеследующих страниц, брало сомнение и недовольство по поводу их «суб'ективного» духа и вида: кому, в конце концов, какое дело до моей личности, до того, чем я когда занимался, над чем когда размышлял, как рассуждал, где «проживал»! Но эти сомнения пришлось игнорировать: я пишу и предлагаю личные «записки». Это недостаток не исполнения, а типа работы. Кому не интересно, пусть не идет дальше этих строк...

Недостатки исполнения — другие, вполне очевидные, совершенно бесспорные, очень большие и крайне «досадные». Статистик и публицист, чернорабочий литератор—я не умел нарисовать картину: красок нет.

Нет красок, достойных чудесной эпопеи, которую—взрослым и детям—будут рассказывать во веки веков, которой будут вдохновляться художники будущих поколений... «Досадно», но неизбежно. С этим я ничего не мог бы поделать, если бы даже писал не урывками, не впопыхах, если бы даже я имел возможность не набрасывать на бумагу случайную вереницу мыслей и воспоминаний, а работать над изложением, отделывать, усовершенствовать беспорядочные наброски. Но я не имел этой возможности. И я отлично сознавал безнадежность своих мечтаний и не лелеял утопических планов — дать «изобразительный рассказ».

Это, однако, ни в малейшей степени не ослабило моего намерения дать мой собственный рассказ вообще, написать и опубликовать, при первой возможности, мои «мемуары». Это сделать я считал и считаю себя обязанным.

Ибо я видел, я помню многое и многое, что было недоступно, что остается неизвестным современникам. И кто поручится, что это не останется неизвестным и истории? А тем более, кто поручится, что другие участники и свидетели правильно осветят дело, и лишнее свидетельство не будет ценными для историков?..

Во всяком случае я убежден, что эти «записки» дадут для них полезные крупицы. Этого достаточно, чтобы пуститься в дальнее плавание, предприняв многотомную работу—с риском никогда не пристать к желанному берегу.

Конечно, заканчивая «записки» о каком либо периоде или эпизоде революции, я уже не надеюсь когда-либо

вернуться к нему. Это мое «последнее слово» о нем. Я сейчас рассказываю о нем все, что знаю, говорю все, что имею сказать о событиях, о людях, об их свойствах, об их делах...

И мне не раз говорили: не рано ли, удобно ли, уместно ли это? Что за «мемуары» в разгаре событий,— об их участниках, о современниках, о собственных соратниках, о политических друзьях и врагах, с которыми еще придется в различных комбинациях идти плечо к плечу или скрестить шпаги на тернистом и долгом пути мировой социалистической революции! Что за «мемуары» среди огня и пороха, в пылу неоконченной борьбы, когда вместо бесстрастия летописца каждая страница кричит о пристрастии апологета или обвинителя!.. Да и вообще — можно ли о живых людях и их делах говорить все, что знаешь, что помнишь, что думаешь?

По моему — можно, а в «последнем слове» — обязательно. Современному Пимену не дождаться, пока минувшее, полное событий, станет «безмолвным и спокойным». А пыль веков, к счастью, не обязательный удел сказаний в эпоху ротационных машин. Какой же смысл в отсрочке?.. Суб'ективизм и пристрастие? Но почему же не предоставить роль беспристрастных судей будущим поколениям историков? Разве не имеет законных raisons d'être слово подсудимого?..

Может быть, я представлю «дела и дни» в ложном свете, искажу действительность, перепутаю перспективы? Ну, что-ж! Меня поправят очевидцы: уже для одного этого—я должен поспешить со своей версией...

Может быть, я ложно обвиню, оклевещу действующих лиц? Ну, что ж! Кто хочет, сможет защищаться, опровергать, заклеймить меня; уже для одного этого я должен предпочесть говорить про живых, а не «на мертвого». Передо мной—все преимущества человека, не связанного необходимостью говорить aut bene, aut nihil. И я буду

говорить решительно все, что помню, что думаю, что имею сказать.

Не имея границ в содержании, я еще менее связан формой «записок». Пусть это не история и не публицистика, и не беллетристика; пусть это и то, и другое, и третье — в беспорядочной череде, в случайных и уродливых пропорциях. Пусть! Поставив в заголовке «записки», я ровно ничего не обещал и пишу, не стесняясь никаким «стилем», нарушая все принципы архитектуры, не руководствуясь никакими правилами, рамками, формами «литературного произведения»...

Итак — вот первое сказанье.

Москва, 2 января 1919.

■ ■ ■

1. ПРОЛОГ.

21—24 февраля 1917 г.

Pro domo mea. „Начало революции“.—Петербургская „общественность“ в феврале 1917.—Развитие движения и бессилие власти.—Проблема „высокой политики“.—Какова должна быть первая революционная власть.—Конфликт „Циммервальда“ с „реальной политикой“.—В поисках информации и ориентировки.—Лозунги уличного движения.—Необходимый компромисс.—Лозунги интеллигенции и политика буржуазии. — Первый общедемократический центр революции.

Я был выслан из Петербурга еще 10 мая 1914 г. Тогда я состоял редактором межпартийного, но левого «Современника», взявшего во время войны интернационалистский курс, к большому неудовольствию его петербургских сотрудников «оборонцев», но к неменьшему удовольствию сотрудников-эмигрантов, сплотившихся в огромном большинстве своем вокруг знамени Циммервальда. Будучи выслан, я все-же большую часть времени, до самой революции, жил в столице нелегально,—то по чужому паспорту, то бегая по ночевкам, то шмыгая тенью мимо швейцара и дворника,—в качестве «частого посетителя» собственной квартиры, где жила моя семья.

С ноября 1916 года я был членом редакции и ближайшим фактическим работником «Летописи», держа весь журнал Максима Горького под дамокловым мечом полицейского разгрома. Но этого мало: мое нелегальное положение не препятствовало мне работать в качестве экономиста, под своим именем, в одном казенном учреждении, в министерстве земледелия,—в одной из организаций по орошению Туркестана.

В таком официальном положении, чине и звании меня застала революция 1917 года.

* * *

Был вторник 21 февраля. Я сидел в своем кабинете в своем туркестанском управлении. За стеной две барышни-машинистки разговаривали о продовольственных осложнениях, о скандалах в хвостах, о волнении среди женщин, о попытке разгромить какую-то лавку.

— Знаете,—заявила вдруг одна из барышень, — по моему, это начало революции!..

Эти барышни ничего не понимали в революциях. И я ни на грош не верил им. Но в те времена—чем дальше, тем больше, — сидя над своими «оросителями» и «водосборами», над своими статьями и брошюрами, над «летописными» рукописями и корректурами,—я мечтал и раздумывал о неизбежной революции, мчавшейся к нам на всех парах...

В этот период агонии царизма, внимание российской, по крайней мере, петербургской «общественности» и столичных политических групп вращалось больше всего вокруг Государственной Думы, созванной 14-го февраля. Некоторыми, — более правыми из левых (социалистических) элементов,—к этому дню приурочивалось уличное выступление рабочих под лозунгами «хлеба!» и «долой самодержавие!» Более левые элементы, и я в том числе, высказывались на различных партийных собраниях против того, чтобы связывать рабочее движение с Государственной Думой. Ибо буржуазно-думские круги дали достаточно доказательств, что они не только не могут быть вместе с пролетариатом хотя-бы перед лицом Распутина, но как огня боятся даже и попытки использовать силы пролетариата в борьбе за «конституционный строй» и за «войну до полной победы».

Боязнь эта была вполне основательна. Поощрить и вызвать «духа», конечно, было можно; но заставить его служить себе—никогда. И думский «прогрессивный блок», воплощавший в себе позицию всей нашей цензовой буржуазии, считал за благо лишь заострять оружие против пролетарского движения—даже в момент величайшего и позорнейшего оплевания Распутиным России, ее национального достоинства, всей русской общественности

и «конституционно-патриотического движения» цензовиков.

Милюков, поводырь всего «прогрессивного блока», незадолго перед тем заявил, что он готов отказаться даже от своей «полной победы», даже от Дарданелл, даже от службы доблестным союзникам, если это все достижимо лишь ценой революции. А теперь, по поводу слухов о предстоящем рабочем выступлении, тот-же Милюков опубликовал свое памятное обращение к рабочим, где всякое их противоправительственное движение во время войны об'являлось идущим из охранки и провокационным... Тогдашний главнокомандующий Петербурга, ген. Хабалов, в своем смехотворном воззвании, за двое суток до революции, полностью воспроизвел все эти светлые мысли главы российского национал-либерализма.

Другим фактом, к которому было тогда приковано внимание политических групп, был арест так называемой «рабочей группы при Центр. Военно-Промышленном Комитете».

Эта группа не пользовалась популярностью среди рабочих масс. Подавляющее большинство сознательного пролетариата столицы, а также и провинции, занимало решительную антиоборонческую позицию и относилось резко-враждебно к сотрудничеству с плутократией небольшой группы социал-демократов, с К. А. Гвоздевым во главе. Это сотрудничество рабочих с Гучковыми и Рябушинскими на почве «организации обороны» было на деле, конечно, сотрудничеством в сфере «казенных заказов» и затемнения сознания пролетариата. Но тем более вопиющим был этот арест «рабочей группы» доблестным Протопоповым, грамотно оповестившим, что эта безобидная группа, под сенью Коновалова и Гучкова, подготовляет «социалистическую республику»...

Наконец, злобой дня петербургских политиков был тогда вопрос о передаче продовольственного дела столицы в руки городской думы. Это был очередной лозунг петербургских либералов и демократических кругов.

Продовольственная политика распутинского правительства и ее плачевные результаты, политиканство наивно-лицемерных думских групп и усилившееся преследование рабочих организаций,—составляли те вехи, за которые цеплялась мысль о «текущем политическом мо-

менте» и о грядущих неизбежных событиях. Ни одна партия не готовилась к великому перевороту. Все мечтали, раздумывали, предчувствовали, «ощущали»...

Барышни-обывательницы, трещавшие за стеной машинками и языками, ничего не понимали в революциях. Я не поверил ни им, ни непреложным фактам, ни собственным рассуждениям. Революция!—это слишком невероятно. Революция!—это, как всем известно, не действительность, а только мечта. Мечта поколений, долгих трудных десятилетий... И, не поверив барышне, я машинально повторил вслух:

— Да, это начало революции.

* * *

В следующие дни,—в среду и четверг, 22—23 февраля, —уже ясно определилось движение на улицах, выходящее из пределов обычных заводских митингов. А вместе с тем, обнаружилась и слабость власти. Пресечь движение в корне—всем аппаратом, налаженным десятилетиями—уже явно не удавалось. Город наполнялся слухами и ощущением «беспорядков».

По размерам своим, такие беспорядки происходили перед глазами современников уже многие десятки раз. И если что было характерно, то это именно нерешительность власти, которая явно запускала движение. Но были «беспорядки»,—революции еще не было. Светлого конца еще не только не было видно, но ни одна из партий в это время и не брала на него курса, стараясь лишь использовать движение в агитационных целях.

В пятницу, 24-го, движение разлилось по Петербургу уже широкой рекой. Невский и многие площади в центре были заполнены рабочими толпами. На больших улицах происходили летучие митинги, которые рассеивались конной полицией и казаками—без всякой энергии, вяло и с большим запозданием. Генерал Хабалов выпустил свое воззвание, где в сущности уже расписывался в бессилии власти, указывая, что неоднократные предупреждения не имели силы, и обещая впредь расправляться со всей решительностью. Понятно, результата это не имело. Но лишним свидетельством бессилия это послужило. Движение было уже явно запущено. Новая ситуация

в отличие от старых беспорядков была ясна для каждого внимательного наблюдателя. И в пятницу я стал уже категорически утверждать, что мы имеем дело с революцией, как с совершающимся фактом. Я, однако, слыл оптимистом. На меня махали руками.

* * *

Тем не менее, работа, происходившая у меня в голове, основывалась уже целиком на факте начавшейся революции. Со всех сторон приходили сообщения о разрастающемся уличном движении. Но я уже перестал считать и регистрировать случаи революционных выступлений и столкновений. Мне казалось, что материала уже достаточно. И мои мысли уже тогда, в пятницу, были устремлены в другом направлении,—в сторону *политической проблемы*.

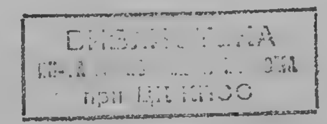
Надо держать курс на радикальный политический переворот. Это ясно. Но какая форма и какая программа переворота? Кому надлежит быть преемником царского самодержавия? Именно это стало в центре моего внимания в этот день.

Я не скажу, чтобы эта огромная и ответственная проблема тогда доставила мне много затруднений. Впоследствии я гораздо больше раздумывал над ней по существу и сомневался в правильности ее тогдашнего решения. В период коалиционной канители и удушения революции политикой Керенского-Терещенко-Церетели, в августе—сентябре 1917 г., а также после большевистского переворота,—мне нередко казалось, что решение этой проблемы в февральские дни могло, а пожалуй и *должно было быт* иным. Но тогда эта проблема «высокой политики» была мною решена довольно «легкомысленно», почти без колебаний.

Власть, идущая на смену царизма, должна быть только *буржуазной*. Трепова и Распутина должны и могут сменить только заправилы думского «прогрессивного блока». На такое решение необходимо держать курс. Иначе переворот не удастся, и революция погибнет.

Было-бы совершенно неуместно останавливаться на подробной мотивировке этого вывода. Его я без числа обосновывал после в лекциях, речах и статьях.

Но укажу главные основания, которые я формулиро-



вал тогда-же и которые мне до сих пор кажутся в конечном счете не только правильными, но и достаточными для того вывода, для того решения проблемы о новой революционной власти, которое я защищал тогда.

Я исходил из полной распыленности демократической России во время самодержавия. В руках демократии тогда не было никаких сколько-нибудь прочных и влиятельных организаций—ни партийных, ни профессиональных, ни муниципальных. А будучи распыленным, пролетариат, изолированный от прочих классов, в процессе революции мог создать лишь такие боевые организации, которые могли представлять реальную силу классовой борьбы, но не реальную силу от государственной власти.

Между тем, распыленной демократии, если бы она попыталась стать властью, пришлось бы преодолевать непреодолимое: техника государственной работы в данных условиях войны и разрухи была совершенно непосильна для изолированной демократии. Разруха государственного и хозяйственного организма была уже тогда огромной. Промышленность, транспорт, продовольствие были приведены в негодность уже самодержавием. Столица голодала. Государственная машина не только не могла стоять без дела ни минуты, но должна была с новой энергией, с обновленными силами, с усиленными рессурсами, немедля ни минуты, совершить колоссальную техническую работу. И если власть будет такова, что не сможет привести в движение все винтики государственного механизма и пустить его полным ходом, то революция не выдержит.

Вся наличная государственная машина, армия чиновничества, цензовые земства и города, работавшие при содействии всех сил демократии, могли быть послушными Милюкову, но не Чхеидзе. Иного же аппарата не было и быть не могло.

Но все это так сказать *техника*. Другая сторона дела—*политика*. Установить демократическую власть и обойти «прогрессивный блок» означало не только не использовать в критическом положении наличного государственного аппарата, не имея иного. Это означало—сплотить ряды всей имущей России против демократии и революции. Позиция цензовой России в революции могла внушать сомнения на тот случай, если цензовикам пред-

стоит быть властью. Но в случае власти демократии их позиция не могла внушать сомнений. В этом случае вся буржуазия, как одно целое, бросит всю наличную силу на чашу весов царизма и составит с ним единый, накрепко спаянный, фронт—против революции. Пытаться, при всей совокупности данных условий, отмести в сторону Львовых и Милюковых и установить власть Керенского и Чхеидзе—значит начать и кончить ликвидацию царизма одними распыленными силами петербургского пролетариата против всей остальной России. Это значит—ополчить против революции всю обывательскую массу, всю прессу, когда не только голод и развал грозят ежеминутно сорвать революцию, но и Николай II еще гуляет на свободе, именуясь всероссийским царем. При таких условиях захват власти социалистическими руками означает неизбежный и немедленный провал революции. Первая революционная власть в данный момент, в феврале, могла быть только буржуазной.

Был и еще аргумент—более узкого значения, но казавшийся мне не менее убедительным.—В течение войны я был одним из двух-трех авторов, которым удалось выступать в легальной печати с защитой антиоборонческой циммервальдской позиции. Оборончеством и снисходительным отношением к войне я не грешил никогда, ни одной минуты. И, в частности, в первые дни войны, когда «патриотический под'ем» был, казалось, всеобщим; когда шовинистский угар или оборонческий образ мыслей, казалось, охватил всех без исключения; когда людей, правильно оценивающих значение войны и место царской России в войне, совсем не приходилось встречать даже среди социалистов, бывших тогда в России (исключение представлял Горький), я решительно отбрасывал от себя оборонческо-«патриотические» мысли и настроения. Напротив, в те времена я грешил другим,—именно упрощением классовой пролетарской (будущей циммервальдской) позиции, несколько принижая ее в направлении к тому примитивному «пораженчеству», которое было свойственно широким слоям русского общества в эпоху японской войны. Во всяком случае с начала войны и до революции, каждое мое публичное выступление (литературное и всякое иное) было посильной **борьбой против войны**, борьбой за ее ликвидацию.

И вот, при первом раскате революционной бури, я остановился перед практической невозможностью создания чисто демократической власти,—между прочим, по той причине, что это означало бы немедленную ликвидацию войны со стороны демократической России. Продолжение войны демократической властью я естественно считал невозможным, ибо противоречие между участием в империалистической бойне и победой демократической революции казалось мне коренным. Но присоединить ко всем трудностям переворота еще мгновенную и радикальную перемену внешней политики — со всеми последствиями этого, какие было невозможно предвидеть, — представлялось мне совершенно немыслимым. Между тем, к политике мира, достойной «диктатуры пролетариата», должны были присоединиться колоссальные задачи демобилизации, перевод промышленности на мирное положение, а, следовательно, массовое закрытие заводов, огромная безработица при полном развале народного хозяйства.

Задачи внешней политики мне представлялось совершенно необходимым временно возложить на буржуазию, с тем, чтобы при буржуазной власти, продолжающей военную политику самодержавия, создать возможность борьбы за скорейшую безболезненную ликвидацию войны. Создание условия для ликвидации, а не самая ликвидация войны—вот основная задача переворота. И для этого была необходима не демократическая, а буржуазная власть.

В общем проблема власти в моей голове разрешилась почти без колебаний и казалась мне очевидной. И в дни первого под'ема революции 24—25 февраля мое внимание было поглощено уже не этой, так сказать программной, а другой, тактической стороной этой политической проблемы.

Власть должна принадлежать буржуазии. Но имеются ли шансы на то, что она возьмет в руки власть? Какова позиция цензовых элементов в этом вопросе? Смогут ли они и захотят ли они идти в ногу с народным движением? Примут ли они власть из рук революции, оценивая все трудности своего положения, в частности, во внешней политике? Или же, учитывая эти трудности, они предпочтут отмежеваться от начавшейся революции и погубить дви-

жение, обрушившись на него со всей силой, вместе с царской кликой? Или, наконец, они решат погубить движение своим «нейтралитетом», — предоставив его самому себе, выдав его стихии, которая выльется в анархию?

Это опять таки одна сторона дела. А другая: какова позиция в этом вопросе социалистических партий, которые должны овладеть начавшимся движением, управлять им, указывать пути его? Сойдутся ли все социалистические группы в решении проблемы власти, или, быть может, разгулявшаяся стихия будет использована некоторыми из них для безумно-ребяческих попыток установления диктатуры пролетариата и немедленной дележки неубитого зверя?

И естественно, поставив себе эти вопросы, надо было идти дальше. Если дело обстоит таким образом, если правильное решение вопроса о власти может быть сорвано с двух сторон, то нельзя ли немедленно активно способствовать правильному решению вопроса, нельзя ли активно принять участие в соответствующей комбинации общественных сил, хотя бы путем изыскания соответствующего компромисса?

И в соответствии с этим, когда в пятницу, 24 февраля, уличное движение разливалось по Петербургу все шире, когда революция стала об'ективным фактом и лишь неясен был ее исход, я чуть ли не пропускал мимо ушей непрерывные сообщения об уличных событиях. Все мое внимание было направлено к тому, что происходит в социалистических центрах, с одной стороны, и в буржуазных кругах, в частности, среди думских фракций—с другой.

Благодаря отсутствию в Петербурге того времени почти всякой общественности, а главным образом по причине моего нелегального положения, связанного с ответственной литературной работой, я хотя и имел обширные знакомства в самых различных слоях столицы, но все же никак не мог считать себя в курсе настроений различных групп, столкнувшихся в эти дни с совершенно новыми проблемами. Я чувствовал себя оторванным от какого то основного русла, или от основных русел, где сейчас как будто должны твориться события. И это ощущение оторванности и беспомощности, тоска по какому то «горнилу» событий, неудовлетворенное стремление броситься

в какие-то недра революции, чтобы делать свое дело — были моими доминирующими чувствами в эти дни.

* * *

Надо было первым делом собрать информацию по этой «высокой политике». Надо было направиться в такие центры обоих лагерей, где можно получить достоверные сведения. В пятницу вечером я позвонил в такой центр, который мог совмещать в себе (хотя и довольно несовершенно) настроения и освещать планы как буржуазных, так и демократических руководящих групп.

Я позвонил к знаменитому петербургскому политическому адвокату, числящемуся по традиции даже большевиком, но более связанному с петербургскими радикальными кругами, везде бывающему и все знающему Н. Д. Соколову, одному из главных работников первого периода революции. Мы условились созвать представителей различных групп и собраться на другой день, в субботу, у него на квартире, на Сергиевской, часа в 3 дня, для обсуждения положения дела и для обмена мнений. На этом совещании я надеялся уяснить себе позиции как цензовых, так и руководящих демократических элементов, а вместе с тем, в качестве представителя левого крыла социализма, надеялся выступить с решительной защитой чисто буржуазной революционной власти, если это потребуется, а также и с защитой изыскания необходимого компромисса в интересах образования таковой власти.

Характер и пределы этого компромисса были ясны сами собой и уже к данному моменту намечались самым ходом событий. Уличное движение масс в февральские дни не обнаруживало никакой планомерности. Никакого правильного руководства им констатировать было нельзя. Вообще народным движением, как это бывает всегда, организованные социалистические центры не руководили и политически не вели его к какой либо определенной цели. Конечно, традиционный, можно сказать, наш старый национальный лозунг: «долой самодержавие» был на устах у всех многочисленных уличных ораторов из социалистических партий. Но это было еще не политической программой. Это было само собой разумеющимся отрицательным понятием. Проблема же власти совершенно не ста-

вилась перед массами. И, в частности, лозунг «Учредительного Собрания», будучи не очередной проблемой дня, а лишь общим программным положением всех социалистических партий, оставался совершенно в тени в эти дни.

Но зато во всю ширь развертывался перед массами в уличной агитации другой лозунг, включавший в себя крайне существенное и ответственное содержание. Это был лозунг: «долой войну», под которым проходили все митинги февральских дней.

Развертывание этого лозунга, при стихийном движении пролетарских масс и при самочинном руководстве этим движением отдельными социалистическими работниками, без строго продуманной единой политической линии, определенной центром,—было совершенно естественно и неизбежно. Российский социализм и российский сознательный пролетариат, не в пример социализму западно-европейскому, воюющих стран (за исключением Италии) в своем большинстве занимал решительную позицию против гражданского мира и против поддержки империалистской войны. В течение военных лет наш пролетариат воспитывался, насколько позволяли условия, насколько хватало сил, в духе «Циммервальда», и войны против войны. Оборонческие группы, свившие себе по небольшому гнезду в обеих столицах (около военно-промышленных комитетов) и кое-где в провинции, не пользовались в массах никаким авторитетом. Что революция против царизма должна была, по крайней мере, среди столичного пролетариата, в его уличных выступлениях, совпасть с движением против войны, в пользу мира—в этом не было ничего удивительного и неожиданного. Напротив, иной картины уличного движения в февральские дни было невозможно ожидать.

Но вместе с тем совершенно ясно, что именно этот характер движения должен был определить отношение к нему, отношение ко всей революции со стороны всей цензовой буржуазии. Если эти элементы могли вообще принимать идею ликвидации царизма, то они могли принимать ее, по преимуществу, как средство успешного завершения войны. И именно т а к о й характер приняла, именно в э т о выродилась борьба с царизмом всех наших либеральных групп в течение всего военного пе-

риода. Ликвидация распутинского режима стала мыслиться всей буржуазией, лишь как путь к укреплению наших военных сил.

И понятно, что при таких условиях буржуазия не могла иметь ничего общего с движением, подрывающим идею «войны до конца» и до «полной победы». Всякое подобное движение в ее глазах и во всяком случае в ее устах было лишь продуктом немецкой провокации. От него все цензовые группы должны были решительно отмежеваться. И такое движение они неизбежно должны были не только предоставить самому себе, но обязательно должны были выдать его на разгром силам царской реакции, приняв сами посильное участие в этом разгроме.

Отсюда ясно само собой, что если перед революцией стояла необходимость отколоть буржуазию от Распутина и Протопопова и привлечь ее на свою сторону,—мало того, если перед ней стояла задача создать ценвовую революционную власть, единственно способную избавить переворот от гибели среди голода, всеобщего развала и свалки, то компромисс должен быть найден прежде всего на этой почве, на почве отношения революции к войне и миру. Было a priori ясно, что, если расчитывать на буржуазную власть и присоединить буржуазию к революции, то надо временно снять с очереди лозунги против войны, надо в данный момент на время свергнуть циммервальдское знамя, ставшее знаменем русского и, в частности, петербургского, пролетариата. Это надо сделать во имя успешного завершения великого переворота. И это было очевидно для меня—циммервальдца.

В своих стремлениях изыскать компромисс для обеспечения необходимой ближайшей программы переворота, для создания надлежащей власти—естественно было пойти именно в этом направлении. Но вся трудность и противоречивость положения была очевидна.

И при том, если компромисс в том направлении был неизбежен, если без него создание цензовой власти было явно невозможно, то было совершенно не ясно, достаточен ли этот компромисс для этой цели, во имя которой он предпринимался? Без него буржуазия вместе с царизмом раздавит движение. Но он—обеспечит ли иной

финал революции? Он обеспечит ли, по крайне мере, образование цензовой власти? В этом направлении была необходима информация. Какие планы были в лагере Милюкова-Гучкова? Каковы могли быть там решения, независимо от данного компромисса и в связи с ним? Это было необходимо знать. Было необходимо знать и то, как может отнестись ко всему этому и противоположный лагерь; и нельзя было от себя скрывать, что на передовых социалистических работников,—если не на социалистический генералитет, то на социалистическое офицерство, уже беззаветно развернувшее свое циммервальдское знамя,—событиями возлагается чрезвычайно тяжелая, быть может, непосильная задача, требующая не только глубокого понимания событий, не только самообладания в огне начавшейся борьбы, но требующая такого самоограничения и подчинения обстоятельствам, которые с виду, извне, могут казаться изменой своим основным принципам и могут быть не поняты руководимыми массами.

Тщательно ориентироваться в настроении обоих лагерей было необходимо прежде всего. Но сведения, долетавшие до меня как с той, так и с другой стороны, были самые неопределенные, не открывающие никаких перспектив. В думских кругах, сколько-нибудь широких, проблема революционной власти, как таковая, еще совершенно не ставилась. Никаких признаков сознания партиями и лидерами, что движение может кончиться радикальным переворотом, с моего наблюдательного пункта совершенно не замечалось. Замечался лишь курс на ликвидацию беспорядков. Замечалась боязнь «провокационного» движения. Замечалось стремление придти на помощь царизму, и «всем авторитетом» Государств. Думы ликвидировать «беспорчдки». Замечалась вместе с тем попытка буржуазных групп играть на этом движении и столковаться с царизмом насчет совместной борьбы—ценой каких-либо подачек в политике и в организации власти.

Буржуазия была перепугана движением и была не с ним и стало быть против него. Но она не могла оставить его без внимания и без использования. Политическим лозунгом буржуазии, к которому пристала и вся радикальная интеллигенция, было в эти дни «ответственное

перед Думой министерство». На этот счет «прогрессивный блок» столковался за кулисами, а демократическая интеллигенция открыто провозглашала этот лозунг направо и налево.

Вместе с тем делались попытки крохоборского решения некоторых насущных проблем, попытки совершенно независимые от движения пролетарских масс и в общей постановке лишь затемняющие задачи, возникающие перед нашим «обществом». Так, на субботу было назначено в городской думе собрание различных общественных организаций, с участием представителей рабочих, где предполагалось, чуть ли не революционным путем, взять дело продовольствия Петербурга в руки петербургского самоуправления. И вокруг этого было мобилизовано общественное внимание.

В общем, с этой стороны, со стороны буржуазии, в пятницу, 24-го, было еще почти ничего не ясно, а что было ясно, было мало благоприятно. На другой день, на субботу, утром, было назначено заседание думского «сеньорен конвента», которому придавали важное значение. Я расчитывал, что о результатах будет сообщено у Соколова.

Из другого лагеря пришлось видеться кое с кем из представителей большевиков и социалистов-революционеров циммервальдского толка. Впечатление из разговоров я вынес такое же неблагоприятное. Прежде всего, подтвердилась полная распыленность движения и отсутствие крепких фактических руководящих центров. Затем обнаружилось полное равнодушие к тем проблемам, которые занимали меня. Все внимание целиком было поглощено непосредственной агитацией вокруг общих лозунгов и непосредственным форсированием движения. Наконец, мои попытки направить мысль собеседников в сторону конкретной программы, а тем более моя агитация по части создания революционной власти—да еще путем основного компромисса—встречались весьма скептически и неблагожелательно.

Между тем, на движение могли оказать влияние по преимуществу именно эти левые циммервальдские центры, если, вообще, пока еще подпольные центры могли расчитывать на какое-либо влияние. Таким образом, и с

этой стороны и из лагеря демократии сведения были мало определенны и мало утешительны.

* * *

Движение петербургского пролетариата в эти дни и часы, однако, не ограничились партийной агитацией, заводскими митингами и уличными манифестациями. Были попытки создать межпартийные центры, были совместные совещания деятелей различных отраслей рабочего движения—депутатов Думы, партийных представителей, профессионалов, кооператоров. Были такие собрания в четверг и в пятницу. Я не был там, но участники мне потом передавали, что разговоры были посвящены, по преимуществу, продовольственному делу, во всяком случае, начинались с него, но потом, разумеется, переходили и к общему положению дел, причем обнаруживали лишь разброд и растерянность центров. Присутствовавший Чхеидзе, как говорят надежные люди, был воплощенным недоумением и призывал к равнению по Государственной Думе. Он представлял правую собрания и не склонен был верить в широкий размах движения. Напротив, левая предвкушала и прокламировала революцию, считая необходимым в экстренном порядке создать боевые рабочие организации в столице. Между прочим, эту левую представлял на собрании старый ликвидатор и оборонец Ф. А. Череванин, от которого, как передавали, и исходила мысль о немедленных выборах на петербургских заводах Совета Рабочих Депутатов.

Во всяком случае, директива выборов исходила от этого инициативного собрания деятелей рабочего движения. Директива эта была немедленно подхвачена партийными организациями и, как известно, с успехом проведена на заводах столицы за эти дни. Об этих совещаниях подробно расскажут историкам их участники.

Но, как бы то ни было, мне известно, что политическая проблема на них официально не ставилась и не решалась. Эти собрания имеют за собой огромную историческую заслугу—в области подготовки лишь техники и организации сил революции. Что же касается неофициальной позиции их участников, то здесь было засилье оборонческого меньшевизма, и не могло быть сомнений в том, что, поставив перед собой политическую

проблему, эти элементы в большинстве своем решат ее в пользу буржуазной власти. Беда только в том, что они не имели сколько-нибудь серьезного влияния среди масс.

Между тем, движение все разросталось. Бессилие полицейского аппарата становилось с каждым часом все очевиднее. Митинги происходили уже почти легально, причем воинские части, в лице своих командиров, не решались ни на какие активные позиции против возраставших и заполнявших главные улицы толп. Особенную лойяльность неожиданно проявили казацкие части, которые в некоторых местах, в прямых разговорах, подчеркивали свой нейтралитет и иногда обнаруживали прямую склонность к братанью. В пятницу же, вечером, в городе говорили, что на заводах происходят выборы в Совет Рабочих Депутатов.

■ ■ ■

2. ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА.

25—26 февраля.

Петербург в субботу, 25-го.—Совещание у Н. Д. Соколова.—Его состав.—Доклад Керенского.—Думская буржуазия политиканствует. — Движение крепнет. — Власть разлагается.—Вопрос о расколе революц. демократии на почве военных лозунгов. Мое партийное положение.—Тогдашние партийные центры.—У Керенского.—Стычка и кровь на Невском.—Делают ставку.—У Горького. — „Летописцы" и партийные практики.—В Городской Думе.—Последнее воскресенье.—Патрули и цепи.—Наша экскурсия.—Кризис. Боевые действия.—Их значение для политич. ситуации.—Несколько слов о Керенском.—Первый полк революции восстание павловцев.—Перелом.

В субботу, 25-го, с утра Петербург был насквозь пропитан атмосферой исключительных событий. Улицы, даже там, где не было никакого скопления народа, представляли картину необычайного возбуждения. Я вспоминал атмосферу московского восстания 1905 г. Все «штатское» население чувствовало себя единым лагерем, сплоченным против военно-полицейского врага. Незнакомые прохожие заговаривали друг с другом, спрашивая и рассказывая о новостях, о столкновениях и о диверсиях противника.

Но замечалось и то, чего не было в московском восстании: стена между двумя лагерями—населением и властью, — не казалась такой непроницаемой: между ними чувствовалась диффузия. Это увеличивало возбуждение и вливало в массы подобие энтузиазма.

Прокламации Хабалова срывались со стен совершенно открыто. Городовые-одиночки вдруг исчезли с постов.

Заводы стояли. Трамваи не ходили. Не помню, вышли ли газеты в этот день. Но, во всяком случае, события в не-

сколько раз переросли все то, что могла сообщить населению тогдашняя придушенная пресса.

Утром я, по обыкновению, отправился в свое голодно-степное управление в конце Каменноостровского проспекта. Но, понятно, что было не до орошения Туркестана. Я позвонил А. В. Пешехонову, приглашая его к трем часам «на Сергиевскую к Николаю Дмитриевичу». Согласно конспиративным обычаям, хорошо знакомым всякому российскому интеллигенту, он не спросил ни о каких подробностях, зачем, в каком составе, — и обещал придти или прислать кого-либо из своих единомышленников.

Во втором часу, пригласив по телефону еще одного представителя одной из левых организаций, я отправился на Сергиевскую, в квартиру, известную всему радикальному и демократическому Петербургу, так же хорошо, как и всей столичной полиции. Об этой квартире я храню пренеприятное воспоминание, после того, как осенью 1915 года, выйдя из нее с совещания, в компании самых почтенных людей, совершенно игнорировавших целую роту шпиков, которой мы были встречены у под'езда,—я был принужден, как нелегальный, колесить в сопровождении одного из них по Петербургу целую ночь, а под утро, во избежание ареста на улице, привести его к под'езду «Современника», который я тогда редактировал и берег от полиции, как зеницу ока...

До Сергиевской я забежал на Монетную, в редакцию «Летописи». Ни в редакции, ни в конторе также никакой работы не было. Все были полны событиями и новостями. Мне рассказывали, какие районы города оцеплены полицией и войсками и как лучше добраться до Таврического сада. Но рассказы эти не оправдались—по той причине, что в действиях властей не было ни тени решительности и еще меньше планомерности. Районы оцеплялись и освобождались без всякого плана и смысла. Движение разливалось, в общем, совершенно свободно, начиная убеждать в бессилии Хабаловых и Треповых самых от'явленных пессимистов.

Почти у под'езда «Летописи», у ворот соседнего завода, я натолкнулся на небольшую группу штатских, с виду рабочих.

— Они чего хочут,—говорил один с мрачным видом.

—Они хочут, чтобы дать хлеба, с немцем замириться и равноправия жидам...

«Не в бровь, а прямо в глаз»,—подумал я, восхищенный этой блестящей формулировкой программы великой революции.

У Н. Д. Соколова меня ждало разочарование. Собрание не носило никакого подобия представительства организованных групп и не представляло сколько-нибудь полно даже демократических течений. Оно носило совершенно случайный и при том однотонный характер. Пришли, главным образом, представители радикальной «народнической» интеллигенции. В числе присутствующих, в большинстве довольно безличных, я помню Н. С. Русанова, В. М. Зензинова, Чернолусского. В такого рода собрании даже теоретическое выяснение интересующих меня вопросов не представляло интереса.

Н. Д. Соколов ожидал прихода авторитетных представителей большевиков, но никто из них не явился. Вместо них явился Керенский, который пришел прямо с заседания думского сеньорен-конвента и мог служить, конечно, незаменимым источником информации о настроениях и планах руководящих политических групп буржуазии.

Рассказ Керенского, как всегда возбужденный, несколько патетический и несколько театральный, говорил, главным образом, о панике и растерянности буржуазно-депутатской массы. Что же касается лидирующих кружков, то все их помыслы и усилия сводились не к тому, чтобы оформить революцию, пристать к ней, попытаться овладеть ей и стать на ее гребне, а исключительно к тому, чтобы избежать ее. Предпринимались попытки сделок и комбинаций с царизмом, политиканская игра велась во всю. Но все это было не только независимо от народного движения, но явно вопреки ему, явно за его счет, явно ему на гибель.

Надо сказать, однако, что Керенский меньше всего вел свой рассказ именно в таком освещении. Керенский, напротив, в такой растерянности одних и спешных комбинациях других был склонен усматривать одни благоприятные симптомы, свидетельствующие об остроте положения. Закружившись в вихре событий, находясь в горниле политиканства, он явно не охватывал и не оценивал

основных пружин и характерных штрихов возникающей революционной ситуации.

Между тем, подчеркнуть отмеченные штрихи в позиции руководящей буржуазии крайне полезно. Мы знаем, как склонен, если не оценивать для себя, то представлять для публики и истории весь наш либерализм роль в революции нашей буржуазии и, в частности, Государственной Думы. Кому неизвестны постоянные систематические утверждения, что именно цензовые круги, группировавшиеся вокруг Государственной Думы, ликвидировали царизм, что именно они первые подхватили революционный порыв народа и чуть ли не самостоятельно произвели революцию?

Действительное положение дел мне еще придется до некоторой степени осветить в моих дальнейших записках (как сказано, отнюдь не претендующих на значение исторического очерка революции). В момент же, о котором идет речь, позиция буржуазии, от кадетов и прогрессистов до правых думских фракций, была совершенно ясна: это была позиция, с одной стороны, отмежевания от революции и выдачи ее царизму, с другой—использование ее для своих комбинаций. Но это, отнюдь, не была позиция присоединения к ней, хотя бы в форме ее покровительства.

Не получив из рассказа Керенского материала по особо интересующим меня сторонам дела, я предпринял безнадежные попытки осветить самому себе вопрос путем активного вмешательства, путем прямых и косвенных расспросов. Сам Керенский, конечно, мог иметь соответствующий материал, в результате своего непрерывного общения с различными думскими кругами, но мог не придавать ему надлежащего значения. Однако, из моих попыток ничего не вышло, кроме недоразумения, показавшего, что для Керенского, как и для некоторых из присутствующих, поддержавших его, моя постановка вопросов и проблема о будущей власти—кажутся никчемными и, во всяком случае, несвоевременными, не относящимися к делу. Я столкнулся с тем же настроением моих собеседников, с каким сталкивался и вчера у представителей левых (циммервальдских) групп, с какими сталкивался и впоследствии, до самого момента образования первой революционной власти.

Керенский принял обычный в разговоре со мной полемический тон и скоро начал сердиться, так что я предпочел прекратить беседу, не вызывавшую достаточного интереса, у присутствующих.

* * *

В квартиру Н. Д. Соколова приходили новые люди и приносили совпадающие между собой известия о небывало грандиозном движении на улицах. Центральные части представляли собой сплошной митинг, причем население как-будто особенно тяготело к Знаменской площади. Там, с подножия памятника Александру III, ораторы левых партий говорили непрерывно и совершенно беспрепятственно. Основным лозунгом было, по прежнему, «долой войну», которая, наряду с самодержавием, толковалась как источник всех бедствий и, в частности, продовольственной разрухи.

Вместе с тем сообщения говорили о растущем разложении среди полиции и войск. Полицейские и казачьи части в большом количестве раз'езжали и расхаживали по улицам, медленно пробираясь среди толп. Но никаких активных действий не предпринимали, чрезвычайно поднимая этим настроение манифестантов. Полиция и войска ограничивались тем, что отбирали красные знамена в тех случаях, когда это было технически удобно и не обещало свалки.

В это время принесли первое сообщение о симптоматичном «эксцессе» в какой-то казачьей части. Полицейский пристав, ехавший верхом во главе полицейского отряда, бросился с шашкой на знаменосца или на оратора; тогда на него налетел бывший неподалеку казак и отрубил приставу руку. Пристава унесли, но, как говорили, никаких дальнейших последствий на улице этот инцидент не имел...

* * *

Наше заседание приняло окончательно характер беспорядочной, приватной беседы. И, помню, Н. Д. Соколов ко мне, в частности, обратился с речью, содержание которой я оценил лишь впоследствии. Как представитель оборонческого течения, он указывал на опасность тех антивоенных лозунгов, вокруг которых происходит на-

родное движение, на которых партийными ораторами фиксируется, по преимуществу внимание масс. Соколов подчеркивал при этом не ту сторону дела, которая все время интересовала меня—не неизбежный отказ буржуазии присоединиться к революции при таких условиях; он указывал на неизбежность раскола на этой почве в среде самой демократии, даже в среде пролетариата. Этой стороне дела я тогда не придавал значения, просто потому, что слишком верил (может быть, преувеличивая) в монопольное господство среди масс тех партий и течений, которые представляли социалистическое меньшинство в Германии или во Франции. К тому же характер наступившей революции был совершенно неясен, и, в частности, никто не мог предусмотреть роль в ней армии, с ее офицерско-мужицким составом. Раскол в самих активных революционных пролетарско-армейских кадрах вскоре же оказался действительно важнейшим фактором, при свете которого приходилось направлять всю «военную» политику революционной демократии. Но тогда этой стороной дела я не интересовался, уделяя свое главное внимание позиции крупных буржуазных кругов и их отношению к революции.

Однако, так или иначе мы вполне сходились с Н. Д. Соколовым в наших практических выводах. Как человека, более и определеннее других выступавшего против войны, как литератора, имевшего довольно прочную репутацию пораженца, интернационалиста и ненавистника патриотизма, Н. Д. Соколов убеждал меня выступить сейчас как можно решительнее против развертывания антивоенных лозунгов и содействовать тому, чтобы движение проходило не под знаком «долой войну». Он говорил, что в моих устах соответствующие аргументы будут лишены злостного контр-революционного характера и будут более убедительны для руководителей движения. Начавшись же как движение против войны, революция погибнет от немедленных внутренних раздоров.

Как бы ни относился я к такой аргументации, но я всецело сочувствовал ее конечным выводам и обещал мое полное содействие оборонцам и радикальным группам против последовательных классовых интернационалистских принципов, против своих собственных принципов.

Не надо однако думать, чтобы я придавал сколько-нибудь существенное значение этому содействию и рассчитывал как бы то ни было повлиять на движение: напротив—я делал и говорил то, что считал нужным, но я чувствовал себя совершенно оторванным от центров революции и вполне бессильным что-либо сделать. Ни малейшего влияния на руководящие центры движения я за собой не числил.

Надо упомянуть здесь, что, начиная с 1906—7 г., я не был связан формально ни с одной из партий и организаций. Мое положение «дикого», конечно, исключало возможность непосредственной, а тем более какой-либо руководящей работы в практическом социализме. Я был литератором, по преимуществу. Но моя литературная деятельность была все же тесно связана с движением, а за время войны мои работы, благодаря случайным обстоятельствам, были популярны среди широких кругов социалистических деятелей и служили им материалом для практической работы. А вместе с тем, не связанный формально и организационно, я был связан фактически, в силу личных знакомств и деловых сношений, со многими, можно сказать, со всеми социалистическими партиями и организациями Петербурга.

Здесь совсем не место и вообще не особенно интересно описывать мое положение среди партий и выяснять его источник. Скажу только, что еще с эпохи редактирования мною «Современника», который мне, несомненно, удалось сделать межпартийным литературным центром и собрать в нем видные силы всех социалистических течений,—я сохранял довольно тесные связи со всеми социалистическими партийными кругами. Центры довольно хорошо знали меня и нередко использовали по различным делам. И, в частности, уже в качестве редактора «Летописи», я сохранял самые интенсивные сношения с литературно-социалистической эмиграцией разных направлений. Во время войны меня постоянно привлекали в различные нелегальные литературные предприятия интернационального оттенка. А кроме того, вероятно, ни одна попытка межпартийных блоков объединений, коалиций—в последние годы не обходилась без моего участия. В таком положении я находился и ко времени революции.

Это положение во время революции представляло и некоторые несомненные выгоды—с точки зрения легкости личных сношений и подвижности между теми пунктами, которые представляли преимущественную важность и интерес. Но это положение лишало меня и выгод партийного человека и руководителя, ибо я все же оставался для всех диким и чужим.

А между тем необходимо припомнить и подчеркнуть сейчас же все своеобразие тогдашней партийной обстановки и все отличие партийных центров Петербурга от тех, которые возникли в период революции. А именно: авторитетнейших руководителей, партийных лидеров не было налицо ни в одной из партий почти без исключения. Они были в ссылке, в тюрьмах или в эмиграции. На постах ответственных руководителей великого движения, в ответственнейшие его моменты, стояли люди совершенно второстепенные, может быть, искусные организаторы, но во всяком случае рутинеры обычной партийной работы эпохи самодержавия. Надлежащих политических горизонтов в новой обстановке, действительного политического руководства событиями, словом, действительной высоты положения — от них, в огромном большинстве случаев, было ожидать нельзя. В ряду таких руководителей движения я чувствовал себя полноправным и небесполезным. Но я был оторван от их работы. И кроме сознания бессилия как-либо повлиять на события в моем мозгу ничего не было во время беседы с Соколовым.

* * *

Публика стала расходиться, — кто на улицу, кто в другие комнаты, кто по домам. Керенский сорвался с места и, заявив, что он снова направляется в Думу, переполненную депутатами с утра до вечера, пригласил меня и Зензинова зайти к нему примерно через час—узнать последние новости. Протолковав на разные темы еще с полчаса у Соколова, мы с Зензиновым потихоньку направились к Керенскому. Мы вспоминали Москву 1905 г., перебирали сцены декабрьского восстания, в котором участвовали оба. Но в районе Сергиевской, Тверской, Таврического сада было тихо и пустынно. Отметить это не безынтересно. Народ не тяготел к Государственной

Думе, не интересовался ею и не думал ни политически, ни технически делать ее центром движения. Наши либеральные политики, которые 14 февраля об'являли движение, приуроченное к созыву Думы, провокационным, потом прилагали все усилия к тому, чтобы Думу сделать знаменем движения, а ее судьбу поводом и причиной его. Со всем этим нам еще придется иметь дело. Но все эти тенденции не имеют ни малейшего подобия истины.

Керенского мы, однако, дома не застали. В переднюю к нам выбежали его два мальчика, бывшие в курсе событий, и рассказали, что «папа недавно звонил из Думы». Он сообщил, что на Невском происходит стрельба, что жертв много.

В это время вернулась со службы жена Керенского—Ольга Львовна. Она служила в каком-то общественном учреждении, помещавшемся, приблизительно, в центре Невского пр., близ Казанской площади. Из окон своего учреждения она только что видела огромную манифестацию, направляющуюся со знаменами к Знаменской площади. Манифестация была обстреляна ружейным огнем, стрельба продолжалась несколько минут, была свалка. Но какая именно воинская часть стреляла, и каковы жертвы,—ни разглядеть в сумерках, ни разузнать не удалось.

Развязка близилась. Не делать попыток для подавления беспорядков было для властей теперь совершенно немыслимо. Это значило окончательно и без возврата сложить оружие и стать перед совершившимся фактом—поражения «существующего строя». Власти должны были, не медля ни часа, найти и пустить в дело надлежащую военную или полицейскую часть. Колебания и промедления были явно и буквально подобны смерти. Момент был решающий судьбу векового царизма... Какая именно часть расстреливала на Невском манифестацию вечером 25 февраля, я не знаю до сих пор. Но так или иначе, властям удалось перейти в наступление. Это был поворотный пункт событий, вступивших в новую фазу.

Если бы сил для наступления хватило, если бы удалось терроризировать безоружное и все еще распыленное население и разогнать его по домам,—движение могло быть так же (хотя бы и не надолго) ликвидировано, как раньше десятки раз ликвидировались «беспорядки».

Важно было преодолеть мертвую точку и, сбив настроение масс одним ошеломляющим ударом, пресечь вместе с тем разложение в воинских частях. Рискованная, отчаянная, быть может, последняя попытка должна была быть сделана без промедления. И она была сделана, и оказалась последней.

Когда мы с Зензиновым вышли от Керенского, было уже почти совершенно темно. Пройдя от Смольного всю Тверскую, мимо слабо освещенного Таврического дворца и его безмолвного сквера, мы пошли по Шпалерной. Я пробирался к себе на Петербургскую сторону.

Никаких выстрелов не было слышно. Ближе к Литейному, где мы расстались, встречались небольшие группы рабочих, которые передавали слухи о начавшемся наступлении: кровавые, хотя и небольшие стычки, начались кое-где на рабочих окраинах. Некоторые крупнейшие заводы были заняты, а иные—осаждены войсками. В некоторых местах нападавшим оказывался отпор—пистолетными выстрелами рабочей молодежи, а больше камнями подростков.

На Выборгской стороне, как сообщали прохожие, из вагонов трамвая и телеграфных столбов строились баррикады.

* * *

Пересекши по льду пустынную Неву, от Литейного к Троицкому мосту, я зашел на Кронверкский к Горькому. У него я застал небольшую компанию и в том числе остальных членов редакции «Летописи»—Базарова и Тихонова, с которыми, обсуждая события, я не замедлил вступить в яростный спор. Мои собеседники, подобно прочим, отказывались вместе со мной в первую голову поставить проблему организации революционной власти и интересовались, по преимуществу, фактическим ходом событий, которые они оценивали несравненно более пессимистически, подтрунивая над моими «жареными рябчиками». В частности, помню, Тихонов без особого сочувствия принимал мои замечания о необходимости «работы на Милюкова» и тем подливал масла в огонь спора.

Однако, пользуюсь случаем отметить, что у нас в редакции «Летописи» в течение всего периода работы, несмотря на нередко появляющиеся, Бог весть откуда, слу-

хи о «расколе», царил полнейший, быть может, беспримерный и даже нас самих удивлявший, контакт. Общие основы наших взглядов, в постоянных беседах, в постоянной борьбе нашего единственного интернационалистского органа того времени со всем прочим литературным миром—настолько определились и настолько были унифицированы, что мы не могли разойтись по кардинальному вопросу о революции, о которой мы столько толковали и мечтали. Наш спор происходил не из глубины воззрений.

И, действительно, к Горькому один за другим приходили люди, как знакомые, так и незнакомые, как мне, так и самому Горькому. Приходили посоветоваться, поделиться впечатлениями, расспросить и разузнать, что делается в различных кругах. Горький естественно имел связи со всем Петербургом, сверху—донизу. Завязывались разговоры, и мы, редакция «Летописи», не замедлили составить единый фронт против представителей левых, интернационалистских, представителей наших собственных взглядов, не хотевших и слышать об измене своим старым лозунгам в решительный момент.

Между тем, приходили довольно ответственные руководители большевиков. И их прямолинейность, а, вернее, их неспособность вдуматься в политическую проблему и поставить ее, производили на нас угнетающее впечатление. Однако, надо сказать, что наши аргументы все же не оставались без влияния на этих людей, явившихся прямо от рабочих котлов и партийных комитетов. Эти люди в эти дни варились совершенно в иной работе, обслуживая технику движения, форсируя решительную схватку с царизмом, организуя агитацию и нелегальную печать. И наша аргументация заставляла их задумываться уже самой новизной для них поставленных огромных проблем и их освещения.

Горький принимал в этих разговорах самое активное участие. Кроме большевиков, с которыми Горький был связан, по традиции, более других социалистических организаций, приходили и другие, из них некоторые через двое суток оказались моими товарищами по Исполнительному Комитету. Квартира Горького начала быть естественным центром, если не какой-либо организации, то информации и тяготения различных элементов, так или

иначе связанных с движением. Мы сговорились на другой день около полудня собраться у него.

* * *

В это самое время шло заседание общественных организаций в городской думе. Официально оно было посвящено продовольственному вопросу, но, разумеется, целиком проходило под знаком общей политики и растущей революции. Возбуждение переполненного зала было огромное. Думские депутаты—Керенский, Скобелев—произносили «зажигательные» речи, насыщенные новой, доселе публично еще не употребляемой революционной терминологией, возбуждавшей страсти и энтузиазм. Их практическим лозунгом было, однако, не что иное, как «ответственное министерство». И здесь к думской левой охотно присоединялась и либеральная, думская же, буржуазия,—в лице выступавшего Шингарева и других.

Перед началом этого собрания, на Старом Невском, в помещении Петербургского Союза Потребительских Обществ заседало и вышеупомянутое совещание деятелей рабочего движения, профессионалов и кооператоров. После заседания участники его разделились: большая часть их отправилась в городскую думу, а остальные—на Литейный проспект, в помещение «Рабочей группы» Центрального В.-Промышленного Комитета. И здесь все пришедшие, вместе с остатками рабочей группы, были арестованы полицией. Об этом было немедленно сообщено в городскую думу, и это произвело огромный эффект. Действуя на глазах у народа, подталкиваемые левыми депутатами и собравшимися возбужденными рабочими, либеральные думцы, с Шингаревым во главе, «изнасиловали» городского голову Лелянова, отправив его к телефону добиваться от градоначальника немедленного освобождения арестованных.—«Помилуйте! какая возможна общественная работа, какое возможно содействие правительству в продовольственном деле, когда», и т. д... Лелянов добился от градоначальника положительного ответа.

Еще большее возбуждение вызвала стрельба на Невском, когда в городскую думу стали приносить раненых, и пришлось превратить одну из комнат в лазарет. Выступали, производя эффект среди интеллигентской публики, несколько рабочих, прямо от станков, которые добросо-

вестно использовали весь наличный материал для агитации.

Вообще, все собрание не замедлило утерять всякое подобие делового заседания «авторитетных», «влиятельных» и, конечно, вполне лойяльных организаций, и превратилось в революционный митинг. Понятно, что это и требовалось в данный момент. Деловые «заключения» и «представления» правительству по продовольственному делу были сейчас, по меньшей мере, никчемны

Но революционный митинг так и ограничился агитацией, не сумев сформулировать ни «резюме» политической обстановки, ни практических лозунгов... Было решено собраться на следующий день,—в воскресенье. Но это не удалось в силу нижеописанных обстоятельств.

К тому часу, когда в Петербурге обычно запирали ворота, я отправился от Горького домой, чтобы успеть, по обыкновению, проскользнуть незамеченным мимо дворника в свою квартиру, черным ходом. На улицах было тихо. По прежнему не оставляло сознание беспомощности и сосала тоска по непосредственной большой работе.

На другой день, в воскресенье, 26 февраля, я снова отправился к Горькому. На улицах висели, а также валялись сорванными и скомканными новые прокламации генерала Хабалова. Расписываясь в них всенародно в своем бессилии и указывая, что его прежние предупреждения не повели ни к чему, он снова угрожал «решительными» мерами и «применением оружия» против «беспорядков» и «скоплений». Этот день, действительно, прошел под знаком решительных мер и применения оружия. Последняя отчаянная попытка была предпринята. На карте стоял вековой режим, воплощавший в себе не только рухлядь старых привилегий, но и надежды буржуазии, почуявшей более опасного врага. День прошел в последней схватке, среди звона оружия и порохового дыма. Вечер показал, что игра проиграна, к вечеру карта была бита.

Осада заводов и рабочих кварталов продолжалась и была усилена. На улицы в большом количестве были двинуты пехотные части, которые оцепили мосты, изолировали районы и принялись основательно очищать улицы.

Около часа дня на Невском пехота, как известно, довела ружейный огонь до огромной интенсивности. Невский, покрытый трупами невинных, ни к чему непричастных

людей, был очищен. Слухи об этом быстро облетели город. Население было терроризировано, и уличное движение в центральных частях города было ликвидировано.

Часам к пяти уже могло казаться, что царизм снова выиграл ставку и движение будет раздавлено.

Однако, и в эти критические часы атмосфера на улицах была совершенно иная, чем приходилось много раз наблюдать при подавлении «беспорядков». И, несмотря на панику обывателя, на неизбежную психологическую реакцию сознательных демократических групп,—эта атмосфера продолжала давать все основания для самого законного оптимизма.

Отличие от прежних «беспорядков» заключалось в состоянии и во всем внешнем облике «подавляющих» движение армейских, казачьих и даже полицейских частей. Каких-то из них, быть может, юнкеров, заставили стрелять и этим терроризировали безоружную распыленную толпу. Другие послушно стояли густыми цепями вокруг некоторых пунктов. Третьи, также послушные приказу, группами ходили по городу в качестве патрулей. Но все это носило какой-то случайный, не серьезный, не настоящий характер. И цепи, и патрули имели такой вид, что они жаждут организованного насилия над собой, высматривают и ищут повода для сдачи. Городовые-одиночки вообще давно уже исчезли. Патрули, не маршировавшие, а разгуливавшие по городу, действительно, были обезоружены во многих местах — без сколько-нибудь серьезного сопротивления. В каждой толпе и группе серело огромное количество «органически слившихся» солдатских шинелей...

Часа в два или три мы от М. Горького небольшой компанией отправились на улицы за личными наблюдениями.

С Петербургской стороны мы хотели пробраться на Невский. Толпа по направлению к Троицкому мосту становилась все гуще и гуще. Она, запружая скверы, Каменноостровский проспект и площадь перед Троицким мостом, разбивалась на множество групп, центрами которых были люди, возвращавшиеся из города на Петербургскую сторону.

Независимо от пола, возраста и состояния,—одни по слухам, другие в качестве очевидцев,—возбужденно рас-

сказывали о расстрелах случайной не организованной и не манифестировавшей толпы на больших центральных улицах. А вместе с тем, все рассказчики сходились в своих впечатлениях о паническом и растерянном состоянии стрелявших частей, которые открывали беспорядочную пальбу вдоль улиц на огромном расстоянии от «противника». Рассказывали об огромном количестве жертв, причем в цифрах, конечно, расходились—от немногих десятков, до многих тысяч.

Мы пробирались к мосту. На стене Петропавловской крепости царило оживление, и были видны около пушек вооруженные отряды пехотинцев. Толпа ожидала оттуда наступательных действий и с любопытством смотрела туда, но не расходилась.

На мосту, заграждая вход, стояла плечом к плечу цепь солдат Гренадерского полка. Несмотря на присутствие офицера, они держались весьма «вольно», оживленно беседуя с толпой на политические темы. Агитация их была в полном ходу,—в терминах, совершенно недвусмысленных. Солдаты посмеивались, иные сосредоточенно слушали и молчали. Пропустить сквозь цепь через мост они отказывались, но дело не обходилось без просачивания отдельных прохожих, которых не возвращали. Вообще, прямого неповиновения не было, но для активных операций это был явно негодный материал, и начальствующим лицам отряда явно не оставалось ничего делать, как пассивно созерцать сквозь пальцы эту картину «разврата».

Чтобы этот отряд взял ружья на прицел и открыл пальбу по своим собеседникам, было немыслимо, и никто из толпы не верил в такую возможность ни на минуту. Напротив, солдаты явно не имели ничего против того, чтоб их фронт был прорван, и, вероятно, многие поделились бы своим оружием с толпой. Но в толпе не было ни таких намерений, ни таких сил...

Мы возвратились к Горькому, который сносился по телефону с различными представителями буржуазного и бюрократического мира. Его основным впечатлением была та же царившая среди них растерянность и незнание, что предпринять. Собеседниками Горького не были центральные фигуры, но и периферия достаточно отражала настроение руководящих сфер. Как это ни странно, но расстрелы оказали большое влияние на всю ситуацию;

они произвели крайне сильное впечатление не только на обывателей, но и на политические круги, и из них раздавались голоса—о «самых решительных представлениях».

В этом было противоречие обывательской психики и классового привилегированного положения: ведь было ясно не только царскому холопу Хабалову, но и боящемуся превыше всего революции национал-либералу — Милюкову, что спасти старый строй можно лишь отчаянной попыткой кровавого подавления. Больше царизму, равно как и тем, для кого царизм был лучше революции, делать было нечего. Но все же, расстрелы вызвали явную реакцию полевения среди всей буржуазной политиканствующей массы.

Я звонил по телефону в квартиры многих левых деятелей—писателей, депутатов, но большей частью безуспешно. В квартире Керенского (119—60) я поймал Соколова, который сидел с Ольгой Львовной в ожидании сведений из Думы, но он не мог сообщить мне ничего существенного. Большинства из тех, кому я звонил, не было дома, другие говорили только о расстрелах и, в общем, они подтверждали сдвиг на этой почве более правой части общества и стремление использовать создавшуюся ситуацию со стороны более левых.

Но в общем, «высшая политика» в эти часы проходила по прежнему—не под знаком революции и низвержения царизма, а под знаком соглашения с ним на почве его некоторого обуздания. По телефону сообщали, что районы города раз'единены, и пробраться в центр нет возможности. Иными это опровергалось. Но не было определенной цели, с которой можно было бы пуститься в экскурсию. Все депутаты были безвыходно в Думе, куда доступа не было. К Горькому, по прежнему, приходили люди и стекались сведения. И как ни мало это могло утолить волнение и тоску по «горнилам событий» и по работе,— приходилось оставаться там.

Время проходило в расспросах, бесплодных умозаключениях и спорах, становившихся нудными и трепавшими нервы. В рабочих районах, по слухам, продолжалось уличное движение и митинги. Из Выборгского, самого боевого, впоследствии большевистского, района, сообщали о серьезных активных выступлениях рабочих

против полиции и войск. По временам слышалась отдаленная ружейная пальба.

***

Часу в восьмом Горький позвонил, между прочим, Шаляпину, спрашивая, что слышно в его сферах. Шаляпин рассказал странную историю. Ему только что звонил Леонид Андреев, квартировавший в доме на Марсовом поле, рядом с павловскими казармами. И он лично видел из окна, как какая-то пехотная часть с Марсова поля, в течение долгого времени, систематически обстреливала павловские казармы. Больше ничего Андреев сообщить не мог, и насчет смысла всего этого, по словам Шаляпина, они оба в полном недоумении... Сомневаться в достоверности этих сведений, как будто, было нельзя. Но истолковать их действительно не было возможности.

Я усилил свою телефонную деятельность. И, к счастью, вскоре попал на Керенского, который явился на минутку домой из Госуд. Думы. Керенский немедленно сообщил, в самых категорических выражениях, что п а в л о в с к и й п о л к в о с с т а л. Большая часть его вышла на улицу и вступила в перепалку с оставшимися в казармах, верным царю или пассивным меньшинством Эту перепалку и видел из своего окна Л. Андреев.

События сразу вышли на новый путь, предвещавший победу. Восстание полка, в общей обстановке последних дней, означало почти наверняка битую карту царизма. Однако, в устах Керенского, события были преувеличены.

Как выяснилось потом, дело обстояло следующим образом. Небольшой отряд конной полиции имел директиву разогнать толпу, скопившуюся на Екатерининском канале; ради безопасности, городовые стали стрелять в нее с противоположной набережной, через канал. В это время, на Екатерининском канале, по набережной, занятой толпой, проходил посланный куда-то отряд павловцев,—четвертая рота, вся или часть ее. И здесь произошел исторический факт, знаменовавший перелом событий и открывший новые перспективы движения. Видя картину расстрела безоружных, видя раненых, падающих около них, находясь сами в районе обстрела, павловцы открыли огонь через канал, по городовым.

Это был первый случай открытого массового столкновения между вооруженными отрядами. Его подробно описал нам товарищ (не помню—кто), пришедший позднее в квартиру Горького; он проходил в это время по Екатерининскому каналу и видел лично раненых городовых и их окровавленных лошадей. Павловцы же вернулись к своим казармам уже в качестве «бунтовщиков», сжегших свои корабли, и призывали товарищей присоединиться к ним. Тут и произошла перестрелка между верной и восставшей частью полка. Насколько со стороны павловцев все это было сознательными актами и насколько результатом мгновенного инстинкта, нервного под'ема и простой самозащитой—невозможно сказать. Но об'ективное значение этого «дела» на Екатерининском канале было огромно и вполне очевидно. Павловскому полку, во всяком случае, принадлежит честь первого в революции выступления армии против вооруженных сил царизма.

Никаких сомнений ведь ни для кого быть не могло; ни о какой конечной победе революции не могло быть речи без победы над армией, без перехода армии—активно, или пассивно, но непременно в большей своей части,—на сторону революционного народа. И Павловский полк положил этому начало вечером 26-го февраля.

Это была страшная брешь в твердыне царизма. Это снова разрешало кризис в течении событий, кризис, созданный наполовину успешными попытками царских властей раздавить движение оружием. Теперь снова, после репрессии, на всех охватывал дух оптимизма и, можно сказать, энтузиазма, а мысли снова обращались к политическим проблемам революции. Ибо события снова повернули курс на революцию, заставляя презирать все попытки и все надежды ликвидировать движение гнилым компромиссом с распутинским режимом...

Керенский сказал, что у него собралось несколько человек из близких ему кругов. Но никаких сколько-нибудь содержательных, практических резюме политического положения Керенский, по прежнему, не дал. Соответствующего материала, очевидно, не давало ни непрерывное варево в Думе, ни впечатления от иных кругов. Думский «прогрессивный блок» с каждым часом левеет—вот и все, что мог сообщить Керенский. Собрав-

шаяся у него компания уже расходилась, да и ничего существенного в смысле информации не обещала. Идти туда, рискуя не преодолеть всех полицейских препятствий, не было смысла.

Часу в одиннадцатом я позвонил в Государственную Думу с целью вызвать первого попавшегося левого депутата. К телефону подошел Скобелев, сообщивший, что Таврический дворец уже пуст. Все разошлись растерянные, потрясенные, истрепанные. Боевое настроение растет и ползет налево. На завтра назначено заседание. Но ходят слухи, почти достоверные, о том, что утром будет об'явлен указ о роспуске Государственной Думы. Больше ничего Скобелев рассказать не мог.

Мы сидели и толковали у Горького до глубокой ночи. События развертывались явно благоприятно. Передавали о выступлениях некоторых других воинских частей.

Я отправился домой, не разбирая времени, и смело разбудил звонком швейцара, пройдя через парадную дверь.

На улицах было тихо.

* * *

Несколько слов о Керенском.

В качестве дополнения или подстрочного примечания ко всему вышеописанному, может быть, здесь будет уместно сказать несколько слов о Керенском. Конечно, я заранее отказываюсь от малейшей попытки дать не только историческую характеристику, а и сколько-нибудь законченный «силуэт». Но несколько слов о Керенском мне представляются здесь весьма небесполезными, просто как такой комментарий к изложению, без которого многое и многое, по моему, проиграет в своей ясности или в своей яркости.

Керенского я знаю уже довольно давно, со времени моего возвращения из Архангельской ссылки, после которой я переселился из Москвы в Петербург, в самом начале 1913 г. Начиная с этого времени мои сношения с ним— и на почве общественно-деловой, и на почве личного знакомства—представляли собой, если не очень плотную, то во всяком случае непрерывную цепь. Я видел Керенского в самой различной обстановке, во всевозможных видах—

начиная с адвокатского фрака в суде, продолжая думской визиткой или пиджаком в больших и малых собраниях и кончая его ослепительно-пестрым туркестанским сартским халатом, который он вывез со своей родины.

Я был свидетелем десятков его больших и малых выступлений в качестве думского оратора, политического референта, информационного докладчика, интимного рассказчика и собеседника в тесных кружках, не превышающих 3—5—7 человек и, наконец, в качестве отца семейства—с женой и двумя его мальчиками. Видел я его и за деловой, будничной, кропотливой работой во фракции «Трудовой группы», председателем которой он состоял.

Во время моего нелегального положения я много, много раз ночевал у него на Загородном проспекте, 23,—и нередко после того, как он устраивал для меня постель в своем кабинете, начинались длиннейшие, истинно-русские разговоры один на один, до глубокой ночи. Не раз он являлся ко мне в «Современник», по обыкновению, как буря врывался в переднюю, оставив неотлучную пару своих «шпиков» караулить у под'езда редакции и заставляя меня потом удваивать меры предосторожности *).

Начиналось всегда с информации, с рассказов депутата, варившегося в самом котле, в самом пекле «новостей» и тогдашней убогой общественности. Но эти рассказы немедленно и постоянно переходили в самую язвительную полемику, в самый отчаянный спор. Эти споры как будто никогда не кончались озлоблением, они оставались без влияния на личные отношения. Но никакое наше взаимное «признание» и никакая интимная обстановка не могли ни на минуту заглушить сознания, что мы не сходимся ни в чем, что к каждому партийному (или, точнее, межпартийному) и к каждому общественно-политическому вопросу мы подходим с разных концов, что мы мыслим о нем в разных плоскостях, что мы, в ре-

*) Как известно, Керенский фигурировал в охранке под кличкой „Скорый" Действительно, он стремглав бегал по улицам, прыгая в трамвай и выпрыгивая на ходу обратно. Филеры не поспевали за ним пешком, и кроме двух пеших при Керенском состоял еще „извозчик". Наблюдение за будущим премьером стоило государству не дешево... Из окон „Современника", потушив огни, мы наблюдали, как „шпики", завидев в под'езде выбегающего Керенского, спешно усаживались на „извозчика" и катили за ним... Я же по большей части, оставался в редакции ночевать, подвергая огромному риску юридического хозяина квартиры, издателя П. И. Певина, и без меры радушную фактическую хозяйку, заведующую хозяйственной частью, Е. П. Китаеву, незаменимую помощницу и верного друга во всех предприятиях, где я с тех пор участвовал.

зультате, люди из двух лагерей в политике, из двух миров—по умонастроениям...

* * *

Да, тяжелое бремя история возложила на слабые плечи!.. У Керенского были, как говаривал я, золотые руки, разумея под этим его сверхестественную энергию, изумительную работоспособность, неистощимый темперамент. Но у Керенского не было ни надлежащей государственной головы, ни настоящей политической школы. Без этих элементарно-необходимых аттрибутов, незаменимый Керенский издыхающего царизма, монопольный Керенский февральско-мартовских дней — никоим образом не мог не шлепнуться со всего размаха и не завязнуть в своем июльско-сентябрьском состоянии, а затем не мог не погрузиться в по-октябрское небытие, — увы, прихватив с собой огромную долю капитала, приобретенного нами в мартовскую революцию.

Но он был действительно незаменим и монополен. Для меня, как видно будет из дальнейшего, уже тогда не могло быть сомнений в линии его политического развития. Но также несомненно было для меня, что именно Керенский с его «золотыми руками», с его взглядами и направлением, с его депутатским положением, с его исключительно широкой популярностью,—волей судеб назначен быть центральной фигурой революции, по крайней мере, ее начала.

В последние встречи до февральских дней, когда «чувствовалась» близость какой-то радикальной развязки, мы неоднократно заводили речь о том, что можно сделать и что надлежит делать различным общественным группам, какие мероприятия в Петербурге и в провинции необходимы были бы в первую голову в момент взрыва и после взрыва... Без надлежащей веры в серьезность своих разговоров, предположений и рассуждений, в интеллигентских кружках, с участием Керенского, не мало говорилось о «планах и схемах» переворота. Я совершенно определенстать в центре событий. И он не спорил с этим, не ломаясь и не напуская на себя смирения паче гордости.

Помню, совсем незадолго до «февраля», я зашел к нему во время его болезни в праздничный день на его послед-

ную приватную квартиру на Тверской, около Смольного, где большевистские власти произвели потом такой лихой «обыск» у его жены, больше напоминавший военную экспедицию... Керенский сидел в кабинете один, в теплой серой фуфайке, стараясь согреться в холодной комнате. В руках у него была новая книжка «Летописи», и он не замедлил обрушиться на меня с полемическими сарказмами. Но потом разговор неожиданно принял мирный «умозрительный» характер насчет грядущих событий и революционных перспектив. И помню, — я мягко упрекал его за его вредные взгляды, серьезно и без задора ставил на вид то, что мне казалось ошибками в его словах, и то, что мне казалось слабыми его сторонами. При этом я исходил именно из того и прямо указывал на то, что в близком будущем ему, Керенскому, придется быть во главе государства. Керенский не прерывал и молча слушал. Может быть, в то время он только мечтал о министерстве Керенского, может быть, серьезно думал и серьезно готовился к нему... Но, увы, тяжкое бремя история возложила на слабые плечи.

Теперь, когда Керенский политически мертв, когда почти нет надежды на его воскресение (особенно после его заграничных дебютов), теперь нет ничего легче, как положить лишний камень на эту политическую могилу и успокоиться в сознании правильности данной исторической оценки. Меня, однако, не особенно соблазняют подобные лавры. Я был убежденным политическим противником Керенского со дня первого знакомства с ним; я яростно изо дня в день «травил» Керенского и его политику в дни его высшей власти на столбцах распространенной и, несомненно, влиятельной среди масс газеты; я достаточно доказал в дни его власти и славы, какое значение я придаю его шуйце, не дожидаясь пока этот знаменосец великой демократической революции лично распорядится (из государственных соображений) о закрытии этой «презренной» газеты *). И я ни в какой мере, до сей минуты, не в пример тысячам его рыцарей, не замедлившим затем продать свои грошевые шпаги,—не изменил моего мнения об этом деятеле.

---

*) Так в официальном правительственном сообщении подручный Керенского, кадет Терещенко, назвал „Новую Жизнь“, непочтительно отозвавшуюся о сэре Бьюкенене.

Но тем с большим правом, тем с большим удовольствием, тем с большими надеждами на доверие я могу теперь, после гибели этой «политической репутации», отметить и подчеркнуть десницу этой личности. Это будет только справедливо и только правильно по существу.

И прежде всего—перед лицом ныне торжествующего и проклинающего Керенского большевизма, перед лицом несомненно состоявшегося союза Керенского с силами буржуазной реакции против демократии, перед лицом «дела Керенского—Корнилова», перед лицом того факта, что Керенский, по мере сил, действительно удушал революцию и больше чем кто-либо довел ее до Бреста, — я утверждаю: Керенский был искренний демократ, борец за торжество революции—как он понимал ее. Ему было, заведомо для меня, не под силу осуществить его добрые намерения. Но на нет и суда нет. Это касается его недостаточных об'ективных рессурсов, как деятеля, а не его суб'ективных свойств, как личности. Я утверждаю: Керенский действительно был убежден, что он социалист и демократ. Он не подозревал, что, по своим убеждениям, настроениям, тяготениям и вкусам—он самый настоящий и самый законченный радикальный буржуа, а в своей политике он воплощает самую доподлинную систему предательства демократии и защиты узко-классовых интересов капитала.

Дело, однако, вот в чем: в личности Керенского демократизм и борьба за революцию, не в пример многим другим политическим фигурам, были далеки от той беззаветности, которая граничит с отрешением деятеля от самого себя. Керенский не только никогда не был способен на самозаклание, но был положительно честолюбив всегда, а в революции его основательное честолюбие уже перешло в такое же властолюбие.

Другая сторона дела, пожалуй, еще важнее. Он, Керенский, настолько верил в свои силы, в свое провиденциальное назначение, что не отделял собственной деятельности, собственных успехов, собственной «карьеры» от судеб современного демократического движения в России. Отсюда произошло то, что Керенский не только воображал себя социалистом, но и вообразил себя немножко Бонапартом.

Такое убеждение или такие настроения естественно возникли в нем на основе двух факторов: одним из них было его об'ективное положение—наиболее яркого и популярного выразителя идеи демократии в эпоху четвертой столыпинской думы, и—центральной фигуры революции в период ликвидации царизма. Другим фактором была именно слабость его об'ективных рессурсов, неспособность к надлежащей оценке явлений и наивная переоценка собственных сил.

Его бурный, туркестанский темперамент способствовал уже прямо тому, что в революции его голова не замедлила просто закружиться от грандиозных событий и его места среди них. А его несомненная врожденная склонность к торжественности, декоративности, театральности—довершила дело к эпохе его президентства в революционном правительстве. И если припомнить, что в результате своей сверхчеловеческой, самой нервотрепательной работы—он был уже истрепан ко времени революции, то будет ясно: революционный министр Керенский не мог не превратиться в самого безудержного, заносчивого, запальчивого и раздраженного, склонного к самодурству, не способного воздержаться от самых рискованных авантюр крикуна—с замашками самодержца без власти, с приемами оракула без знания и понимания.

«Хвастунишка-Керенский» — этот эпитет Ленина, конечно, ни в какой мере не исчерпывает, но он правильно намечает, и упрощая, схематизирует характерный облик Керенского: именно таким он должен представляться извне поверхностному равнодушному взору, не желающему углубляться ни в оценку личности, ни в выяснение ее роли в революции. Все это несомненно. Но все это совершенно не колеблет моего убеждения в том, что Керенский был искренний демократ. Ибо, если он наивно не отделял своей личности от революции, то он сознательно никогда не ставил свою власть и свою личность выше революции и никогда интересы демократии сознательно не мог приносить в жертву себе и своему месту в истории.

Он искренне верил в правоту своей линии и искренне надеялся взятым курсом привести страну к торжеству демократии. Он жестоко ошибался. И его жестокие ошибки я лично по мере сил публично разоблачал тогда же. Но

слабый политик, без школы, без мудрости государственного человека, Керенский был искренним в своих заблуждениях и bona fide зарывался в своей антидемократической политике, закапывая вместе с собой революцию в меру своего действительного влияния.

Свою действительную преданность революции Керенский, на мой взгляд, доказал достаточно еще в эпоху царизма. В своей деятельности он умел ставить на карту не только свое положение адвоката и депутата, действуя как профессиональный революционер, идя без колебания на такие шаги, которые могли легко и быстро кончиться Сибирью или Якуткой, по лишении его всех прав адвокатства и депутатства. При яростной ненависти к нему всего департамента полиции, как к центру легального и полулегального «левого» движения, ему случалось быть на волоске от этого (например, после дела Бейлиса) и избавляться от таких перспектив лишь в силу внешних обстоятельств. Но этого мало: Керенский, принимал самое непосредственное участие в партийных эсеровских делах; при этом он так злоупотреблял своим депутатским положением и своей популярностью, что, живя под самым тщательным, неослабным и всесторонним наблюдением полиции, он считал правила конспирации обязательными только для других и, не стесняясь, запутывал себя бесчисленными уликами для самых серьезных жандармских и судебных политических дел. Незадолго до революции, при содействии одного эсеровского провокатора, бывшего в постоянных сношениях с Керенским, он попал в историю настолько грязную, что близкое окончание депутатских полномочий или всегда возможный внезапный роспуск Государственной Думы, почти обеспечивали ему, если не виселицу (по военному времени), то каторгу. Избежать их можно было бы только своевременной эмиграцией. Керенский знал это и сознательно шел на это...

***

Было бы грубой ошибкой, если бы кто либо стал утверждать, что для Керенского, как типа общественного деятеля, а также и для его политики—характерно его направление, система его политических воззрений. Я утверждаю, что у Керенского и не было никакого строго

выработанного направления, никакой сколько-нибудь законченной системы воззрений.

У этого бурнопламенного импрессиониста, лидера одной, открытой, партии («трудовиков») и деятельного члена другой, подпольной («эсеров»)—вместо политической системы было лишь умонастроение, колеблемое в значительных пределах политическим ветром и притягательно-отталкивающими силами других общественных групп. В конце концов он был равнодушен и к своему «трудовизму» и к своему «эсерству»; и он не особенно заботился о том, чтобы заострить, рафинировать свои взгляды в ту или в другую сторону, оставаясь только левым радикальным интеллигентом, легко совмещая подполье с широкой открытой ареной...

По своему умонастроению, по своему положению радикального интеллигента, Керенский естественно примыкал к оборонческому лагерю во все время войны. При всем том его думские военные выступления были не только более ярки и интересны, но гораздо сильнее били по идее отечественного бургфридена, чем киселеобразный «циммервальдизм» думской социалдемократической фракции (удостоившейся приветствия Либкнехта и Р. Люксембург). Руководимая же Керенским «трудовая фракция» считавшая за благо прятать под фигурой умолчания свое отношение не только к социализму, но и к идее монархии, фракция, неимевшая ни малейшего отношения к интернационалу—первая заявила у нас о своем отказе в военных кредитах.

Свое оборонческое умонастроение Керенский никогда не мог возвысить до системы взглядов,—несмотря на то, что эту работу на его глазах произвела целая плеяда социалистических писателей, и он мог придти на готовое. Но вместе с тем он рвал и метал против «пораженчества», которым не гнушался крестить всякий интернационализм со дня его появления на русской почве. И он же, в качестве защитника на суде над большевистской думской фракцией, дал такую легальную защиту «пораженчества», до какой не сумели возвыситься представители ленинской группы...

Отношение к войне, к обороне и гражданскому миру, к методам политической борьбы во время войны—было, как известно, центром всякой политической позиции в

последние годы перед революцией. И для позиции Керенского вместе с подручной ему группой интеллигентной молодежи, у меня не было иного слова как «б о л о т о». Не система законченных разработанных взглядов, правильных или неправильных, социалистических или буржуазных, а вязкое и нудное болото.

Однако, при всем том нельзя сказать, что мысль Керенского была вообще чужда теоретической работе, что она была ленива к ней, что Керенский не интересовался теориями и течениями, не дооценивал их, сознательно пренебрегал ими. Напротив, на его столе я постоянно видел пачки писем со всех концов России, которые не распечатывались им неделями, пока на помощь не приходила его жена. Но на том же столе я всегда находил несколько новых журналов, где все сколько-нибудь актуальные статьи принципиального характера были всегда разрезаны, обыкновенно исправно прочитаны и нередко с жаром и с задором разнесены в полемическом разговоре.

Я хорошо знаю на себе, как автор, тот интерес, какой проявлял Керенский к работе мысли в своем и чужом лагере. Мои статьи и брошюры, в своем водовороте, он прочитывал немедленно, раньше, чем их успевали одолеть десятки других моих петербургских знакомых, для которых чтение подобной литературы могло бы считаться обязательным. И он не упускал случая, не дожидаясь встречи, хотя бы по телефону, осыпать меня сарказмами по поводу содержания моих «пораженческих» писаний.

Керенский живо интересовался теоретической работой, он меньше всего ленился использовать ее, но все же ему решительно не удавалось построить систему взглядов. Все мало-мальски намечавшиеся основы таких построек немедленно поглощались его кипящей и бурлящей, неустанной, хотя бы и бесплодной практической работой. Все зачатки теоретической системы, хотя бы не самостоятельной, а заимствованной, рушились под напором его собственного темперамента. И на посту министра-президента Керенскому пришлось остаться тем же, чем он был в роли агитатора, лидера парламентской «безответственной оппозиции», если угодно, в роли народного трибуна: беспочвенником и политическим импрессионистом.

Но, повторяю, не это отсутствие сколько-нибудь проч-

ного теоретического базиса, сколько-нибудь продуманной системы есть наиболее характерное в Керенском и наиболее определяющее в его политике и его исторической роли. Он был, по природе, агитатором, лидером оппозиции, народным трибуном. Но он не был, по природе, государственным человеком. Не имея под собой устойчивого теоретического фундамента, Керенский не имел и верного практического инстинкта, сколько-нибудь пригодного для работы в общегосударственном масштабе. Не отдавая себе теоретически должного отчета в окружающих его общественных процессах, он и на практике не видел даже самых очевидных подводных камней, грозящих неизбежной катастрофой, определенно предсказываемой злонамеренными агитаторами, в которых он, как всякий слабый и беспомощный политик, был склонен видеть корень зла.

Не умея смотреть в корень, наблюдать и обобщать, он был заведомо несопособен нащупать в процессе работы надлежащий фарватер, по которому только и можно было кое-как, хотя бы не без членовредительства, протащить государственный корабль среди невиданной бури мировой войны и революционной встряски, всколыхнувшей народные волны до самого дна. Он не только не понимал, не оценивал,—не видел тех сил, которые на его глазах схватывались в яростной свалке и исходом своей борьбы только и могли определить судьбу революции. Он с полной наивностью не разбирался и в самом конкретном положении «революционной власти», ни в какой мере не представляя себе ее действительной роли, ее места, ее возможностей среди борющихся организованных сил и среди разгулявшейся стихии. И он не отдавал себе никакого отчета в собственном своем положении, которое в течение долгих недель и месяцев было явным „ridicule“.

Если бы все это было не так, то для Керенского у меня не нашлось бы иных эпитетов, подводящих итог всей его роли в революции, кроме эпитетов: злостный авантюрист и изменник демократии. Но я настаиваю: Керенский был искренний слуга демократической революции. И личность этого злостно-обанкротившегося деятеля не должна отойти в историю с клеймом предателя тех принципов, какие он открыто провозглашал. Не его вина, если его слабые, совсем неподходящие плечи не вынесли

насильно возложенной на них непомерной задачи. Ему было суждено стать «математической точкой» скрещения жестоких и непонятных ему сил революции. В этом такая беда его, какой он с избытком искупил свою сознательную вину, свои сознательные компромиссы, проступки и преступления перед принципами демократии и свободы.

***

Отсутствие сколько-нибудь достаточных рессурсов государственного человека, это, конечно, наиболее характерное для Керенского, как данной и законченной исторической личности. Это характерно для него в о о б щ е, с л ю б о й т о ч к и з р е н и я—и с правой, и с левой. Я хотел бы сказать два слова о том, чего именно не доставало в Керенском и каков он был по существу, по своему положительному содержанию, в частности, и, в особенности,—с м о е й т о ч к и з р е н и я.

Керенский принадлежал к числу социалистов народнического толка. На языке марксистского социализма это означает, что Керенский был мелкобуржуазным демократом. И это его классовое положение, эта его классовая идеология должна была определять его устремления и его тяготения в политике.

Но это не все. Керенский был интеллигентом, не только не вышедшим из недр народного, пролетарского или мелкобуржуазного, движения, не только не связанным с ним корнями, но и не имеющим к нему ни вкуса, ни практического интереса. Его демократизм был интеллигентским народолюбием, его вышеописанные «конспирации» были суб'ективной данью принципу и «меньшому брату». По своим стремлениям, вкусам, повседневным интересам, связям, это—не был участник социалистического массового движения. Это был столичный адвокат, всеми корнями связанный с петербургским радикальным и либеральным обществом. Это был необходимый элемент и заправила столичных интеллигентских кружков, варящихся в собственном соку под знаком социализма—обыкновенно «народнического»,—таких кружков, для которых «народ» все еще продолжал оставаться абстрактной идеей, а не конкретным материалом для их работы и не основным суб'ектом демократического движения. Кружки

эти тяготели больше к верхам, испытывая род недуга при соприкосновении с низами.

Правда, эти соприкосновения Керенского с «низами» были довольно часты, можно сказать, постоянны. Я зачастую видел в его домашней приемной и в кабинете многочисленных крестьянских ходоков, а также и рабочих, приходивших со своими нуждами, с информацией, за советами к популярнейшему «социалистическому» депутату. Но меньше всего эти сношения могли свидетельствовать о тяготении Керенского в эту сторону. Рабочие и крестьяне ходили к Керенскому, но не он к ним.

Не в пример деятельности, приемам, образу жизни социал-демократических депутатов обеих думских фракций, проводивших огромную часть своего времени в рабочей среде, постоянно посещавших заводы и те зачатки рабочих организаций, какие имелись при царизме,—не в пример им, Керенский был совершенно чужд подобному препровождению времени. Как ни необходимо это было в некоторые моменты, как ни монопольно было в этом отношении депутатское положение Керенского—на заводе, в профессиональном союзе, в больничной кассе его было встретить нельзя. За то, например, когда уезжал добровольцем на войну кадет Колюбакин, то проводы на вокзале, конечно, не могли обойтись без представителя демократии в лице Керенского, и это было в порядке вещей.

К низам, к массам и их движению Керенского привязывала теоретическая идея, «сознание долга». Он считал необходимым о т н и х «и с х о д и т ь» в своей общественной работе. Но он рвался от них в иные сферы, к иным приемам работы, где он чувствовал себя как дома.

Именно эти свойства его так ярко, так законченно воплотились во всем его положении в революции, которое мне придется, по личным моим наблюдениям и воспоминаниям, описывать на дальнейших страницах.

Эти свойства Керенского, можно сказать, классически проявились в его отношениях к временному правительству и Совету Рабочих Депутатов, в его шатаниях между дворцами Таврическим и Мариинским (а затем Зимним). И эти же свойства сполна определили результаты этих шатаний, а вместе с тем общий характер, общие итоги политики Керенского, можно сказать—его общую роль

в революции. Он не мог не изобразить из себя Микулы Селяниновича, не мог не приложиться к массам, не зачерпнуть сил и прав у подлинной демократии. Но он не мог тут же, немедленно, не взвиться в иные сферы, как вырвавшийся с привязи аэростат; не мог не оторваться от этой, пытавшейся удержать его, «толпы» безвозвратно и не исчезнуть для нее навсегда.

Здесь есть самое характерное для Керенского. Это лежит в основе всей его работы в революции. Для характеристики Керенского эти черты следовало бы развить и описать подробнее. Но это значило бы предвосхищать дальнейшее изложение, из которого пришлось бы черпать бесчисленные иллюстрации к настоящим строкам. Поэтому, мы оставим нашу специальную экскурсию в пределы характера нашего первого «министра от демократии». К дальнейшим моим запискам все сказанное о нем послужит достаточным комментарием. Для характеристики же Керенского дадут без числа комментариев дальнейшие записки.

■ ■ ■

3. РЕВОЛЮЦИИ ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.

27 февраля.

„Охрана“ столицы утром.—Роспуск Гос. Думы.—Ее „Революционный“ Врем. Комитет.—„Линия поведения“ буржуазии утром 27-го.—Восстание Волынского и Литовского полков. 25 тыс. гарнизона на стороне революции.—Красные части в Гос. Думе.—Революция—совершившийся факт.—Врем. Исп. Комит. Сов. Раб. Деп.—Его деятельность.—Восставшие солдаты.—Мои злоключения.—Путешествие в „центр“.—Стратегия революции.—Продовольствие солдат.—Моя рекогносцировка в лагере буржуазии.—Разговоры.—Милюков.—Трагедия либерализма.—В „левом крыле“.—Перед Советом.—С.-ры в Совете.—Первое заседание.—Порядок дня.—Президиум.—Выступления солдат.—„Литературная комиссия“.—Во дворце.—В городе.—„Высокая политика“.—Думский Комитет берет госуд. власть.—Перелом ситуаций.—Наше воззвание.—Работа Совета.—„Известия“.—Вопрос о печати.—Выборы первого Исп. Комитета.—В „военной комиссии“.—Первое Заседание Исп. Ком. С. Р. Д.—Ночлег.

Наступило приснопамятное 27-е февраля. Не позвонив никому из дому по конспиративной привычке, я в десятом часу поспешил в свое туркестанское управление, чтобы оттуда собрать сведения по телефону и от окружающих.

Уже на моем недалеком пути—с Карповки до конца Каменноостровского проспекта — можно было заметить, что колебательное настроение в воинских частях близко к окончательному разрешению, что развал дисциплины достигает своих конечных пределов.

Офицеров при патрулях и отрядах совсем не было видно. Патрули же и отряды демонстрировали свое полное разложение в качестве боевых сил царизма. Это были беспорядочные группы серых шинелей, совершенно сливавшиеся и открыто братавшиеся с вольной публикой и рабочей толпой. В большом количестве были

видны солдаты, отбившиеся от частей и бродившие в одиночку или попарно с оружием и без оружия. Может быть, многие из них были назначены на посты. Прохожие передавали, что эти солдаты охотно отдают свои винтовки, и оружие уже собрано в большом количестве в рабочих центрах.

Служащие туркестанского управления, из которых многие шли издалека, в разных вариантах описывали приблизительно ту же картину, — при этом одни свободно проникли из центра через Троицкий мост, другим пришлось колесить через Дворцовый. Это также свидетельствовало о неблагополучии и развале в организации «охраны» Петербурга.

Я прилип к телефону и совершал круговую по десятку нумеров. Решающий час, о котором мечтали, для которого работали поколения, явно наступил. Захватывающие события надвинулись вплотную.

Мое нетерпение переходило в бешенство, натыкаясь на равнодушные «занято» вялой телефонистки. Однако, — не помню, кто именно, — но все же довольно скоро мне сообщили основную политическую новость этих утренних часов незабвенного дня. Указ о роспуске Государственной Думы об'явлен, и Дума ответила на него отказом разойтись, избрав Временный Комитет Государственной Думы из представителей всех фракций (кроме правой).

Необходимо тут же отметить факт, хорошо известный и памятный всем передовым политическим слоям России, но, быть может, недостаточно отчетливо запечатлевшийся в головах, далеких от непосредственного наблюдения петербургских событий. Временному Комитету Государственной Думы, избранному утром 27-го февраля, была совершенно чужда мысль стать на место государственной власти и выдать себя за таковую, как в глазах населения, так и (особенно) в глазах обрывков царского самодержавия. Этот Думский «Комитет» во главе с Родзянкой образовался со специальной целью, о которой он и об'явил официально: он образовался «для водворения порядка в столице и для сношений с общественными организациями и учреждениями»...

Несомненно, этот акт Временного Комитета Государств. Думы был революционным актом прогрессивного

блока. Он шел вразрез и с законопослушными традициями и с элементарными правами и обязанностями Государственной Думы. Но означал-ли он присоединение Государственной Думы к революции? Знаменовал-ли он собой хоть тень солидарности прогрессивного блока с народом, атакующим твердыню царизма? Означал-ли этот акт какую-либо степень солидарности демократии и буржуазии в стремлении низвергнуть самодержавие и произвести переворот?

Самый категорический ответ на это должен быть в голове читателя, желающего правильно понять события этих дней: нет, революционный акт буржуазии в лице прогрессивного блока и думского большинства был направлен к спасению династии и плутократической диктатуры от демократической революции — при помощи ничтожных коррективов к старому порядку, не имеющих никакого принципиального значения. В эти часы надежда на спасение романовского режима отнюдь не исчезла: выступление петербургского гарнизона еще не стало фактом.

Общая линия поведения наших буржуазных групп, до этого кульминационного пункта, могла быть только линией борьбы с революцией, только защитой царизма от «анархии» и «военного» разложения государства. Но, в отличие от убогих царских чиновников, руководители буржуазии хорошо понимали, что события достигли таких пределов, когда без революционного акта непослушания и своеволия, без благодетельного насилия—неразумное, дряхлое дитя царизма спасти уже нельзя.

Революционный акт был совершен. Во Временный Комитет, кроме Родзянки, из виднейших членов его вошли, как известно, Милюков, Коновалов, Ефремов, В. Н. Львов, Шульгин, Аджемов и др. Думская левая была представлена Керенским и Чхеидзе.

Временный Комитет Государственной Думы, об'явив официально о своем скромном техническом назначении, немедленно занялся «высокой политикой» в только что указанном направлении. Родзянко, сделав почтительнейшее представление в царскую ставку, снесся по прямым проводам и с главнейшими военно-начальниками на разных фронтах, прося поддержки Государственной Думы перед царем. Только уступки национал-либеральной

плутократии могут спасти династию,—таков был смысл предполагаемого совместного давления на злосчастного «самодержца» со стороны заправил генералитета и «прогрессивного» буржуазно-помещичьего блока.

Тут же по телефону я узнал о полученных уже ответах генералов—ответах, дышащих прямотой, ясностью и той преданностью революции, которую эти господа наперебой стали демонстрировать несколькими днями позже. «Я исполню свой долг перед царем и родиной», — вещала одна из этих пифий, в образе Брусилова, в ответ на призыв Родзянко...

Но события, к счастью, не ждали закулисных комбинаций сильных старого мира. Народная революция шла своим ходом на всех парах, ежечасно меняя всю политическую кон'юнктуру, опрокидывая «комбинации» либералов, генералов и плутократов и волоча за собою на поводу Государственную Думу, как политический центр буржуазии...

Делясь получаемыми сведениями с инженерами и другими сослуживцами, бросившими мысль о работе, сбившимися в комнату начальника и жадно хватающими головокружительные новости, я продолжал мои телефонные поиски информации. И вскоре перед нами раскрылась, из разных источников, всем известная картина выступления Волынского и Литовского полков. Наиболее обстоятельные сведения, помню, я получил из фракции «трудовой группы», где было установлено дежурство.

Дело, начатое павловцами, вслед за волынцами и литовцами, продолжали измайловцы. К часу дня на стороне народа насчитывали уже 25 тысяч человек петербургского гарнизона. Восставшие полки направились к Государственной Думе, наткнувшись на слабое сопротивление какой-то части на Литейном просп. Части же революционных отрядов войск вместе с народом пошли к Крестам и Предварилке освобождать политических заключенных.

Я не стану и пытаться описывать общую картину событий и восстания гарнизона 27-го февраля. Я не был очевидцем ни одной из центральных решающих сцен этого восстания, подробно описанных очевидцами.

Гораздо для меня печальнее, что я не могу ничего внести в освещение в н у т р е н н е й стороны этих пер-

вых переходов войск, точнее, солдат, на сторону революции. Какую роль играли здесь социалистические организации? Какова была роль партийных и вообще сознательных демократических элементов в казармах и отрядах в течение последних дней вообще, в течение последних решающих минут в частности? Какова была роль, позиция и действия офицерства? Каковы были в конечном счете решающие импульсы для темной солдатской массы? Каковы, наконец, были лозунги в казармах?

Всего этого я сейчас не могу осветить ни вообще, ни в частности, применительно к отдельным пунктам. Но обо всем этом история революции без труда почерпнет сведения из многочисленных других рассказов. Несомненно лишь одно: сознательные и партийные элементы в большом количестве имелись во всех частях петербургского гарнизона. И подхватить движение, стать его центром, одухотворить его теми или иными общеполитическими лозунгами—они не только были в состоянии, но неизбежно должны были это сделать.

Волынский и Литовский полки направились к Государственной Думе. Цели и смысл этого движения могли быть совершенно различны. Это могло быть чисто стихийное тяготение. Это могло быть сознательное стремление руководителей сделать буржуазно-«патриотическую» Думу политическим центром движения и дальнейших событий. Это могла быть просто манифестация солидарности с только что распущенным царем «революционным» парламентом.—Ничего этого я не знаю, а что знал, того не помню, и без специального изучения осветить не берусь. Изучение же не есть метод этих случайных и личных записок.

От Н. Д. Соколова я не раз впоследствии слышал, что это он провел первые восставшие полки к Государственной Думе. Возможно, что это было именно так. Но это совершенно не освещает того важного факта, что Государственная Дума, остававшаяся доселе явно за бортом народного движения, получила не только значение его территориального, но и видимость его политического центра.

Общественные верхи, в лице Государственной Думы, не шли к революции. Революция так или иначе пошла

к ним. К этому факту принципиальной важности мне придется вернуться: ибо он был хорошо использован лицом, отныне ставшим во главе движения всей буржуазной России, человеком, определявшим с этой поры всю ее позицию и всю ее политику—П. Н. Милюковым.

Представители думской левой—Керенский, Чхеидзе, Скобелев встретили приветствием и речами первых солдат революции. Те ответили им военными почестями. Революция не только развернулась во всю ширь. Она уже определила свой характер: она включила в себя основную опору старого строя и стала всенародной, общедемократической.

Исход ее далеко не был решен. Междоусобные роковые схватки могли разразиться ежеминутно и были более, чем вероятны при будущей окончательной ликвидации царизма. Но ее общедемократический характер все же был предрешен. И тысячу раз невежественны благодушные простецы из «демократии», тысячу раз презренны злостные лицемеры из буржуазии, которые не гнушались прилагать к великому делу всей демократии имя военного бунта...

Что делало в эти часы царское начальство, какие «мероприятия» оно замышляло и осуществляло для борьбы с революцией,—я также не знаю и не помню. Да и кому это интересно? Сомнений ни у кого в Петербурге быть уже не могло: царские власти никак не могли повлиять на ход событий. Вероятно, в эти часы и они поняли, что борьба с революцией может быть теперь только одна: безотлагательная сделка с буржуазией и «общественными кругами».

Надо думать, сюда, на политиканские попытки и было направлено внимание тех руководящих холопов царизма, которые не были заняты полицейскими обязанностями или уже махнули на них рукой. Несомненно, с другой стороны, и то, что и думско-буржуазные верховоды из «прогрессивного блока» удесятерили свои старания по части «представлений», «давлений» и соглашений с остатками былого величия царизма.

Эти группы продолжали упорствовать в своем отказе не только примкнуть к революции, не только попытаться стать во главе ее, но и подписаться под ней, как совершившимся фактом. Это сомнению не подлежит. Но какие

именно «комбинации» пытались осуществить в эти часы руководящие группы буржуазии, «прогрессивный блок» и Временный Комитет Государственной Думы, этого я также не знаю и также не интересовался когда-либо разузнать. И это уже было вне хода событий. И это не могло ровно ничего изменить в них. И эти «комбинации» были лишь результатом растерянности и слепоты... Было поздно.

На сцену выступал иной фактор событий, которого не было до сих пор: полномочная организация всей демократии революционного Петербурга — организация, приспособленная для боевых действий, освященная славными традициями и готовая взять дело революции, свое дело в свои руки. Это был Совет Рабочих Депутатов.

* * *

Восставшие части войск вместе с толпами народа освободили из петербургских тюрем множество социалистических работников. В частности, они освободили и рабочую группу при Центральном Военно-Промышленном Комитете, во главе с К. А. Гвоздевым. Руководители этой группы непосредственно из тюрьмы направились вместе с войсками и народом в Таврический дворец, куда уже стекались в большом числе петербургские общественные деятели различных толков, рангов, калибров и специальностей.

Часам к двум там оказались довольно видные представители профессионального и кооперативного движения, —в частности, бывшие участники вышеописанных совещаний. И, совместно с ними, при участии левых депутатов, лидеры рабочей группы образовали: «Временный Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов». Его назначение было, в сущности, только одно: он должен был, в качестве организационного комитета, созвать Совет Рабочих Депутатов Петербурга. Свою задачу он прекрасно выполнил, моментально выпустив и распространив по столице соответствующее обращение к рабочим, где первое собрание Совета назначалось в Таврическом дворце, в 7 час. вечера того же дня.

Выборы в Совет, как я упомянул, происходили и раньше, но нелегально, случайно, без конкретной цели,

больше на всякий случай. Теперь в несколько часов предстояло мобилизовать весь рабочий Петербург и создать его полномочное представительство, долженствующее взять в свои руки судьбу революции.

Однако, «Вр. Исп. Ком. С. Р. Д.» не ограничился функциями созыва Совета. Он схватил и другую насущную задачу минуты и принял экстренные меры к организации продовольствия для восставших, отбившихся от казарм, распыленных и бездомных воинских частей. Он избрал немедленно «временную» продовольственную комиссию» (Громана, Франкорусского и др.), которая, во-первых, создала в Таврическом дворце солдатскую продовольственную базу, а во-вторых,—обратилась к населению с воззванием о помощи в деле прокормления солдат.

Вр. Исп. Ком. исходил, так сказать, из технических соображений и технических потребностей момента. Но, по существу, он разрешал своими продовольственными задачами и важнейшую политическую задачу. Ибо вооруженные, голодные, бесприютные, терроризированные и несознательные солдатские массы—представляли сейчас для дела революции не меньшую опасность, чем организованные силы царизма. В существовании последних, к тому-же, могли быть сомнения. Первые же были налицо.

Но «Вр. Исп. Ком.», естественно, принял посильные меры и к защите революции от разгрома ее царскими войсками. Он немедленно попытался создать военный штаб революции в Таврическом дворце. Но что это был за штаб, что за силы, что за организация!!! Дело ограничилось вызовом по телефону нескольких офицеров, известных за демократов, в том числе небезызвестного будущего «левого с.-р.» Мстиславского, пришедшего неохотно, после колебаний, в конспиративном пиджаке. Эти несколько офицеров, чинно усевшись за стол, вырабатывали «диспозиции». Но разница с толстовскими генералами была в том, что эти диспозиции должны были разбиться о заведомое отсутствие у них всякого исполнительного аппарата, каких бы то ни было реальных сил,—независимо от толстовского фатума и тысячи случайностей...

Затем, Керенский соединил эту группу офицеров «Вр. Исп. Комитета» с такой же группой, образовавшейся при думском В. Комитете, и таким образом было положено на-

чало некоей «Военной Комисси»—учреждению, с которым мы постоянно будем встречаться на следующих страницах...

В состав Вр. Исп. Ком. входили: К. А. Гвоздев, Б. О. Богданов, Н. Ю. Капелинский, Гриневич, Чхеидзе, Скобелев, Франкорусский и, может быть, кто-нибудь еще. Понятно, что огромную часть времени, за эти часы, ему пришлось потратить на прием всякого рода делегатов, на бестолковую толчею среди неразберихи и на совершенно «ненужные дела». О «высокой политике», по словам его членов, он совершенно не думал, стараясь овладеть лишь техникой... Но, как-бы то ни было, этому Вр. Исп. Комитету, бывшему в эти часы единственным организованным центром демократии, революция обязана не малым.

***

Во всей этой работе мне не пришлось принять никакого участия. До седьмого часу вечера я даже не знал, что происходит среди пролетариата и в партийных организациях, служивших идейными и организационными центрами, без которых мобилизация не могла-бы быть произведена, как-бы ни были они слабы и несовершенны.

Потом я узнал, что Керенский в это время звонил (или от него именно звонили) ко мне на Карповку и в редакцию «Летописи», требуя моего прихода в Таврический Дворец; но ни там, ни здесь меня не застали. Мое же времяпрепровождение в эти часы было в высокой степени нелепо и совершенно удручающе.

Бросив свое управление в первом часу, я пошел по улицам Петербургской стороны, наблюдая сцены совершавшейся народной революции.

Проходили под красными знаменами, и без них, неизвестно куда, воинские отряды, перемешиваясь и братаясь с толпой, останавливаясь, принимая участие в беседах, разбиваясь на митингующие группы. Лица горели возбуждением, убеждения бесчисленных уличных агитаторов быть с народом, не идти против него в защиту царского самовластья, воспринимались как нечто само собой разумеющееся, уже переваренное. Но возбуждение лиц солдатской массы отражало, по преимуществу, недоумение и беспокойство: что-же мы делаем и что из этого может выйти?

Надо представить себе всю глубину переворота в об'ективном и суб'ективном положении рядовых солдат, чтобы оценить всю головокружительность, всю полнейшую фантастичность для него создавшейся обстановки, граничащей между явью и сновидением. Не мудрено, а неизбежно было то, что на многих лицах недоумение и беспокойство переходили в опьянение. Это были признаки, если еще не тревожные—для каждого сознательного участника движения,—то во всяком случае подлежащие немедленному учету. В противном случае, они грозили разнузданием и безудержным разгулом вооруженной стихии...

Возбуждение и беспокойство солдат, происходившие из-за неопределенности положения, базировались, во-первых, на том, что командного состава, включая низшее офицерство, как правило, с ними не было, а во-вторых,—в эти часы на улице с народом было лишь меньшинство гарнизона. Остальная часть, по меньшей мере, сохранила нейтралитет и выжидательную позицию. А иные части еще определенно повиновались начальству.

Слухи о столкновении на Литейном между царскими и революционными войсками были у всех на языке и, естественно, преувеличивались. Сколько осталось верных, готовых к бою войск—никто не знал. Во всяком случае, восставшие солдаты должны были чувствовать себя перед боем...

Кроме того передавали, что некоторые части во всяком случае еще несут сторожевую службу, что некоторые районы, по прежнему, оцеплены, что Трубочный завод, расположенный неподалеку, все еще осажден и как будто даже только что обстреливался и т. д.

Мне было ясно: надо немедленно пробираться в центральном направлении, к Таврическому Дворцу. Но было совершенно не ясно: что я там найду, к чему пристану, что буду делать? Томление духа от жалкого положения зрителя великих событий достигло крайних пределов. Делать что угодно, но активно, в качестве какого угодно «винтика» событий...

Я решил, если никого и ничего не отыщу, пуститься на самочинные действия:—попробовать «с'агитировать» прямо на улице отряд солдат, занять при его помощи какую-нибудь типографию, где совместно с рабочими со-

ставить и выпустить род бюллетеня с раз'яснением событий. Никакого печатного слова не было. Нужда в нем, жажда его была колоссальна, — была равна встряске и, надо думать, сумбуру в головах обывателя. Использовать себя каким угодно способом, как «литературную силу», в ближайшие часы, если можно, в минуты,—стало целью моих вожделений, моего стремления в центральные части города и движения.

Я зашел мимоходом к Горькому, чтобы пригласить с собой его самого и кого найду у него из товарищей,— разделяющих мое никчемное положение. Присяжные охранители личного благополучия Горького, которым этот землевед из неземного мира, действительно, обязан им, И. П. Ладыжников и др.,—не были склонны отпустить Горького по взбаломученному Петербургу в рискованную экскурсию неопределенного назначения.

Говорили, что пробраться в район Таврического Дворца невозможно, что доступ через некоторые пункты открыт будто-бы только в автомобилях казенного образца, но не пешком.

Стали вызванивать автомобиль, который обещали из близ расположенной автомобильной роты. Его надо было поймать при возвращении оттуда. И. П. Ладыжников скоро отправился ловить его, пока мы пребывали в удручающе-томительном ожидании, беспорядочно толкуя о событиях, строя нелепые планы. Говорили о стычке на Литейном. Был четвертый или пятый час.

* * *

Я снова и снова обращался мыслью к тому, что делает и мыслит теперь руководящая буржуазия, перед лицом событий, грандиозность которых превзошла чьи-бы то ни было ожидания.

Революция и ликвидация царизма совершается и не подлежит сомнению. Ее исход не был предрешен. Все зависело от того, насколько активны будут другие промышленные центры, что скажет и сделает остальная Россия и, особенно «фронт». Но не держать курса на революцию (даже ее врагам), не предусматривать коренного революционного переворота, не строить свою тактику применительно к таким перспективам,—казалось, теперь уже невозможно.

Каковы-же теперь позиции, намерения и планы руководящих буржуазно-думских сфер? Отрешаются-ли они от революции, предоставляя демократию своей судьбе, в расчете погубить движение в голоде, анархии и междуусобной свалке? Или они склонны идти на встречу движению, в надежде использовать его, стать во главе его и подчинить его своим конечным целям?..

Я наблюдал панораму города, раскрывшуюся из окна квартиры Горького. По городу начинали шнырять автомобили, наполненные вооруженными людьми. В одних были солдаты вместе с рабочими; они были украшены красными флагами и восторженно приветствуемы толпой. В других были одни солдаты, с винтовками, направленными на троттуары и несущими угрозу—неизвестно кому. Куда они мчались, зачем, по чьему распоряжению, по чьей инициативе, на чьей стороне были они,—все это было неведомо, и толпа была склонна держаться от них подальше.

Говорили, что с Петропавловской крепости, также видной из окна, некоторые из этих автомобилей были обстрелены у Троицкого моста...

Далеко за рекой, налево, по городу стлались клубы дыма, и было видно пламя огромного пожара. Это горел ни в чем неповинный Окружный суд, разгромленный и подожженный возбужденной толпой, по соседству и за компанию с Предварилкой. Там горели архивы и бесчисленные документы гражданского судопроизводства и нотариальных актов. Наблюдая все это, я все вспоминал сцены московского восстания.

И. П. Ладыжников возвратился, конечно, без автомобиля, на который было убито лишних часа полтора. Я предлагал остановить первый попавшийся, но это было отвергнуто, как предприятие рискованное. Было решено идти пешком.

Мы вышли уже часу в шестом, при заходе солнца:—я, Тихонов, Горький и еще двое или трое, не помню кто. Не доходя до Троицкого моста, мы не преминули растерять друг друга в густой толпе. Горький отстал, а, вернувшись за ним, мы увидели, что его остановил знакомый член большевистского центрального комитета, вероятно, виднейший в то время представитель партии в Петербурге, будущий большевистский министр—

Шляпников, с которым я до того встречался мимоходом несколько раз. В былые времена, он, не будучи вообще писателем, немного сотрудничал в «Современнике» из-за границы.

Партийный патриот и, можно сказать, фанатик, готовый оценивать всю революцию с точки зрения преуспеяния большевистской партии, опытный конспиратор, отличный техник-организатор и хороший практик профессионального движения,—он меньше всего был политик, способный ухватить и обобщить сущность создающейся кон'юнктуры. Если тут была политическая мысль, то это был шаблон древних партийных резолюций общего характера, но ни грана самостоятельности, ни способности, ни желания разобраться в конкретной сущности момента—не было у этого ответственного руководителя влиятельнейшей рабочей организации.

Нам пришлось зачем-то вернуться в квартиру Горького; у дверей мы заметили филера, о существовании каковой породы все уже успели забыть и который уже казался явлением потустороннего мира. Мы снова отправились,—теперь втроем, Горький остался дома. Я добросовестно старался использовать всю дорогу на раз'яснение Шляпникову создавшейся кон'юнктуры, как я понимал ее,—с целью добиться какой-либо координации действий в том направлении, как я писал выше. Но результат был один: я убедился в только что указанных свойствах наличного «центрального» большевика. Однако, вместе с тем я убедился, что в самой влиятельной рабочей организации Петербурга, и именно в левой организации, от которой как раз и могла исходить опасность разнуздывания стихии и бесшабашно-радикального решения вопроса о власти,—что в этой организации не было никакого решения этого вопроса, что он до сих пор сколько-нибудь серьезно не ставился в ее руководящих центрах и что никаких готовых лозунгов, никаких попыток планомерной борьбы за какой-либо готовый план с ее стороны ожидать нельзя. Это во всяком случае я расценил, как благоприятный фактор.

При таких условиях решение политической проблемы в значительной степени находилось в руках более «умеренных» элементов демократии, поскольку их влиянию

оставляла место стихийная борьба сил и случайная комбинация обстоятельств. Ниже мне еще придется набрасывать картинки, иллюстрирующие, насколько примитивны и не «основательны» были тогдашние заправилы петербургских большевиков, насколько неспособны они были взять в руки свои собственные основные задачи, насколько не умели они из-за деревьев своей партийной техники разглядеть лес революционной политики и насколько они, поистине, должны были приводить в отчаяние своих собственных партийных лидеров, знающих, где «раки зимуют», но отделенных от Петербурга на восток и на запад. — Более умеренные элементы в данной обстановке мне представлялись более надежными.

* * *

Уже темнело, когда мы трое: Шляпников, Тихонов и я,—быстро, чуть не бегом, шли с Кронверкского пр. к Таврическому Дворцу. Троицкий мост был свободен, но довольно пустынен. Толпа, густо усеявшая площадь и сквер перед мостом, побаивалась того оживления, той деятельности, которую проявляла Петропавловская крепость и видневшиеся на ее стене, около пушек, солдаты. Однако, никаких нападений оттуда, насколько я знаю, не последовало...

Нам встречались автомобили, легковые и грузовики, в которых сидели и стояли солдаты, рабочие, студенты, барышни с санитарными повязками и без них. Бог весть, откуда взялось все это, куда мчались и с какими целями! Но все пассажиры этих автомобилей были возбуждены до крайности, кричали, размахивали руками и едва ли отдавали себе отчет в том, что они делают. Винтовки были на-перевес, и паническая пальба, конечно, открылась бы при первом малейшем поводе.

Признаки «опьянения» грозные при полной распыленности революции и при возможности погромной провокации полицейско-черносотенных банд, были, несомненно, налицо. Один автомобиль почему-то остановился на набережной, неподалеку от английского посольства. Мы подошли к нему, попробовали заговорить, расспросить и, отрекомендовавшись, просить захватить нас с собой. Кроме возбужденного и нечленораздельного гвалта, из которого мы ровно ничего не поняли, мы ровно

ничего не получили в ответ и, махнув рукой, побежали дальше.

У Фонтанки мы свернули к Шпалерной и Сергиевской. Слышались довольно часто ружейные выстрелы, иногда совсем рядом. Кто, куда и зачем стрелял—никто не знал. Но настроение встречавшихся рабочих, обывательских, солдатских групп, вооруженных и безоружных, стоявших и двигавшихся в разных направлениях,—от этого повышалось чрезвычайно.

Оружие в руках рабочих было видно в огромном количестве. Солдаты-одиночки, с винтовками, или отдав, или продав винтовки, разбредались во все стороны, — в поисках крова, пищи, и безопасности. Как в московском восстании,—встречные заговаривали друг с другом, спрашивая, что делается там-то и можно-ли пройти туда-то.

Уже в сумерках мы вышли на Литейный, близ того места, где за несколько часов была стычка царских и революционных войск. Налево горел Окружный суд. У Сергиевской стояли пушки, обращенные дулами в неопределенные стороны. За ними стояли, на мой взгляд, в беспорядке, снарядные ящики. Тут-же виднелось какое-то подобие баррикады. Но было кристально ясно для каждого прохожего: ни пушки, ни баррикады никого и ничто не защитят ни от малейшего нападения.

Господь ведает, когда и зачем они сюда попали, но около них почти не было ни прислуги, ни защитников. Группы солдат, правда, находились около. Иные чем-то распоряжались, командовали, кричали на прохожих. Но никто их не слушал...

Видя эту картину революции, можно было бы придти в отчаяние. Но нельзя было забывать другой стороны дела: орудия, оказавшиеся в распоряжении революционного народа, были, правда, в его руках беспомощны и беззащитны от всякой организованной силы, но этой силы не было у царизма.

Какой-то солдат, изображавший из себя, очевидно, начальника редута, что-то кричал нам и куда-то показывал пальцем. Но мы не слышали и, спокойно перешагнув через «баррикаду», помчались по Сергиевской к Таврическому Дворцу... Выстрелы продолжались.

На Шпалерной, там, где начинаются постройки Таврического дворца, оживление было значительно больше.

Смешанная толпа, разделяясь на группы, толкалась на мостовой, троттуарах, далеко однако, не запружая их. Митингов и ораторов заметно не было. Ближе ко входу во дворец стоял ряд автомобилей разных типов. В них усаживались вооруженные люди, грузились какие-то припасы. На иных было по пулемету. Обращало на себя внимание присутствие чуть не в каждом из них, женщин, которые в таком количестве казались излишними.

Очевидно, кем-то, куда-то снаряжались экспедиции. Был крик и беспорядок. Охотников приказывать было явно слишком много, и был явный недостаток в охотниках повиноваться.

Та же картина наблюдалась и за заповедными воротами Государственной Думы, на всей площади сквера, до самого входа в Таврический Дворец. Попытки вступить в разговор с людьми, сидящими в автомобилях и участниками экспедиций, ровно ни к чему не привели.

Мы направились внутрь дворца, через главный вход, куда ломилась густая толпа и самая разнообразная публика. У дверей стоял и распоряжался цербер-доброволец, в котором я узнал одного левого журналиста. Не знаю, какими признаками руководствовался он, пропуская и преграждая путь во дворец. Но мне, несколько отставшему от моих спутников, он разрешил протискаться внутрь дворца, сквозь плотную заставу солдат, как редактору «Летописи» и представителю социалистической печати.

* *
*

В недра нашего дореволюционного парламента (если не считать пребывания на хорах, в качестве публики, которую пускали из особого закоулка) мне пришлось проникнуть впервые. Отныне это место игры в политику нашей буржуазии, место единственной свободной трибуны для скованной демократии,—превращалось в храм народной победы и в лабораторию русской революции.

В огромном вестибюле и в прилегающей Екатерининской зале, довольно слабо освещенных, было более людно, чем, надо думать, бывало обыкновенно,—но все же почти пустынно, сравнительно с тем, что было здесь в последующие дни. Необ'ятная территория дворца легко и незаметно поглощала многие сотни сновавших с дело-

вым видом и явно скучавших от бездействия людей. Это были «свои»—депутаты, имевшие вид хозяев дома, несколько шокированных бесчинствами незваных гостей. Оставив верхнюю одежду на привычных местах, у швейцаров, они выделялись блестящими манишками, мрачными рясами и степенными армяками. Но они были в меньшинстве. Дворец явно заполняло постороннее население—в шубах, рабочих картузах и военных шинелях. Среди этой категории на каждом шагу встречались лица, хорошо знакомые по петербургским интеллигентским политическим кружкам.—Сюда уже стягивались все политические и общественные петербуржцы.

Я бросился с расспросами на первого попавшегося депутата—«трудовика», живого и энергичного человека, варившегося сегодня целый день в самых недрах событий. Он, однако, мало удовлетворил меня. Самая крупная, сообщенная им новость состояла в том, что в министерском павильоне под арестом сидит Щегловитов. А вместе с тем ведутся переговоры с премьер-министром, к которому поехал Родзянко и еще кто-то из умеренных лидеров. Кем именно арестован Щегловитов (явно вопреки большинству Комитета Государственной Думы) и о чем конкретно ведутся переговоры—депутату в точности неизвестно. Сам он уходил в заседание своей фракции на Суворовский проспект; но не умел об'яснить цели заседания, да и не надеялся на него, так как многие непременные члены мелькали тут же и не желали идти туда. И, в частности, Керенский заведомо не мог туда явиться... Разговор позволял умозаключить, что «высокая политика», в общем, в прежнем положении.

Но и действительно — обстоятельства момента были таковы, что все внимание приходилось устремить на т е х н и к у, независимо от п о л и т и к и. Какая бы ни создалась революционная власть, каковы бы ни были планы буржуазии, н е о б х о д и м о б ы л о з а щ и щ а т ь н а ч а т о е в о с с т а н и е, защищать восставший народ и армию от сил царизма, еще формально не сдавшихся и фактически мобилизуемых. Защищать все это можно было лишь н а с т у п а я, доламывая решительно, без пощады и колебания остатки царской крепости. Если «в ы с о к у ю п о л и т и к у» в интересах революции, надо было делать в с в я з и с д у м с к и м к о м и т е т о м, со-

вместно с ним, при помощи его, то технику, стратегию революции должна была делать демократия,— не дожидаясь думского комитета, независимо от него, против него.

Между тем, что было сделано? И что надо было сделать? Заняты ли вокзалы на случай движения войск с фронта и из провинции против Петербурга? Заняты ли и охраняются ли—казначейство, государственный банк, телеграф? Какие меры приняты к аресту царского правительства, и где оно? Что делается для перехода на сторону революции остальной, нейтральной и, быть может, даже «верной» части гарнизона? Приняты ли меры к уничтожению полицейских центров царизма — департамента полиции и охранки? Сохранены ли от погрома их архивы? Как обстоит дело с охраной города и продовольственных складов? Какие меры приняты для борьбы с погромами, с черносотенной провокацией, с полицейскими нападениями из-за угла? Защищен ли хоть какой нибудь реальной силой центр революции—Таврический Дворец, где через два часа должно открыться заседание Совета Рабочих Депутатов? И созданы ли какие-нибудь органы, способные так или иначе обслуживать все эти задачи?..

Тогда я не знал и не умел бы ответить на эти вопросы. Но теперь я хорошо знаю: не было сделано ничего, и не было никаких сил, чтобы сделать что-либо... Быть может, это неизбежно и обязательно во всех революциях? Ничуть не бывало. Оставив в стороне «исторические параллели», я опишу со временем, по личным воспоминаниям, по нотам разыгранный октябрьский переворот. Картина была иная!..

* *
*

В вестибюле, недалеко от входа, с левой стороны от него, стоял длинный стол, около которого толпилось, наклонившись над ним, много людей, особенно военных. В центре их я увидел Керенского, отдававшего какие-то распоряжения. Здесь, очевидно, происходила работа какой-то стратегической революционной организации или, по крайней мере, ее эмбриона. Керенский здесь действовал в качестве члена «военной комиссии», о которой я упоминал выше и которая утвердилась территориально

в первом крыле дворца, в комнате 41-й. Там в эти дни, кроме Керенского, Мстиславского—я помню бессменно дежурившего Филипповского, с которым не раз нам придется встретиться дальше, и еще двоих-троих с примелькавшимися физиономиями, но неизвестными до сих пор фамилиями. В этой военной комиссии, одной из деятельнейших фигур был также Пальчинский, игравший впоследствии не малую и скверную роль в правление Керенского. Во главе же этого учреждения стоял сам Керенский, при чем мне совершенно неясно, каким именно способом совмещались в нем функции руководителя боевой организации, призванной добивать царизм военными средствами, и звание члена Временного Комитета Государственной Думы, продолжающего переговоры об «уступках» с царским правительством и доселе не вступающего на революционный путь...

Задачи военной комиссии в данный момент были именно «стратегические» и боевые, задачи технического завершения революции,—в отличие от последующих модификаций этого учреждения, которое в дальнейшем, под тем же названием, но уже под начальством сначала Гучкова, а затем других лиц, меняло свое назначение и свой состав, превращаясь в «классовую» и тоже довольно «боевую» организацию командного состава армии.

Мне сообщили, что вокзалы заняты по распоряжению военной комиссии воинскими частями. О занятии других важнейших пунктов города говорили неопределенно,—говорили, что распоряжение сделано, отряды посланы и т. п... Судя по тому, как снаряжались некоторые экспедиции у Таврического дворца, результаты их были сомнительны.

Но не лучшее впечатление производила и работа в «штабе» революции, которую я некоторое время наблюдал в вестибюле, у упомянутого стола. До сих пор явно не было ни малейшего стратегического плана, ни исполнителей его. На улице, солдатские отряды представляли собой случайные группы, перемешанные со случайной публикой. В штабе не было их командиров, а были также случайные военные и штатские люди, в распоряжении которых не было никаких определенных кадров вооруженных солдат, или хотя бы рабочих. Для

операций, также случайных, Керенский не назначал из присутствующих определенных людей, а вызывал добровольцев, желающих. Тем же, кто вызвался, не оставалось ничего делать, как разыскивать и собирать себе добровольческий отряд, желающий отправиться в данную экспедицию.

Я напомнил Керенскому об охранке. Оказалось, что она не взята, и Керенский предложил мне взять на себя ее захват и обеспечение целости ее архивов. Он говорил так, как будто для этого имеется отряд и перевозочные средства; но я видел, что это не так. Во всяком случае, как «глубоко-штатский» человек, я отказался от этого предприятия, тяготея больше к политике, чем к стратегии и желая принять участие в работе политических центров революции, в Совете Рабочих Депутатов, члены которого уже понемногу стягивались в Таврический Дворец.

Словом, революционная армия,—и в прямом и в переносном значении этого слова, — была явно и совершенно распылена. Положение было критическое и грозное. Казалось, если будет так продолжаться еще несколько часов, силы царизма возьмут революцию голыми руками. Но, тем не менее, какая-то группа, правильно понимавшая свои задачи и состоявшая из лиц политически авторитетных и технически компетентных, уже действовала, как готовая организация. Независимо от результатов своих распоряжений, она «распоряжалась» авторитетно и энергично. И, как индивидуальное лицо, я не имел никаких оснований «соваться» в ее недра и в ее распоряжения. Задача состояла в том, чтобы как нибудь укрепить передаточный механизм, сообщить реальную силу организации. Но здесь всякое индивидуальное начинание было бессильно. Маховым колесом здесь мог явиться лишь Совет Рабочих Депутатов. Я ждал его открытия и, уже будучи в центре событий, продолжал находиться в состоянии бездействия...

Из города доносились неопределенные слухи о начавшейся анархии, погромах и пожарах. Дворец наполнялся. Лица деятелей социалистического движения мелькали все чаще. Собирался весь социалистический и радикально-интеллигентский Петербург. Сходились рабочие депутаты.

* * *

По Екатерининской зале в одиночестве ходил П. Н. Милюков, центральная фигура буржуазной России, лидер единственного, в данный момент, официального органа власти в Петербурге, фактически глава первого революционного правительства.

Он также находился в состоянии бездействия. Вся его фигура говорила о том, что ему нечего делать, что он вообще не знает, что делать. К нему подходили разные люди, заговаривали, спрашивали, сообщали. Он подавал реплики, видимо, неохотно и неопределенно. Его оставляли, и он снова ходил один.

Милюкова остановил профессор военно-медицинской академии Юревич, будущий (через несколько часов) «общественный градоначальник» Петербурга. Энергично, дельно и сжато он говорил ему о том, что уже было предусмотрено Временным Исполнительным Комитетом Совета Рабочих Депутатов—о положении солдат восставших частей. Таких солдат сейчас в городе десятки тысяч. Из них многие тысячи принадлежат к частям и казармам, восставшим и вышедшим на улицу не целиком, не в полном составе; они, распыленные, конечно, не решатся вернуться в казармы, где могут ожидать ловушки; они не имеют ни крова, ни хлеба; они естественно будут тяготеть к Таврическому Дворцу, как к центру движения; на Временном Комитете Думы или, если угодно, на иных организациях, на всех, кто может, лежит обязанность позаботиться об этих солдатах, обеспечить для этого хлебом Таврический Дворец и дать приют нуждающимся в нем на его обширной территории; в противном случае именно кадры бесприютных и голодных солдат могут явиться первоисточниками анархии и грабежей.

С другой стороны, Таврический Дворец, как центр революции, нуждается в надежной охране и сплочении вокруг себя солдатской массы; соответствующие отряды могут и должны быть образованы именно из таких солдат, тяготеющих к Государственной Думе, как к центру духовного сплочения, физического прибежища и безопасности.

Вескость всех этих соображений, обращенных к Ми-

люкову, очевидно, как к официальному лицу, была велика и бесспорна. Юревич требовал немедленных соответственных мер и предлагал себя в распоряжение тех, кто станет во главе дела. Милюков слушал внимательно и, казалось, сочувственно. Но его вид не оставлял сомнений в том, что он здесь беспомощен и ничего предпринять не может, а, быть может,—это совсем не входит в его планы... Юревич поспешил двинуть свое дело иными путями. Не знаю, было ли ему известно, что об этом уже позаботился Временный Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов и что над этим уже несколько часов работала созданная им продовольственная комиссия с Громаном во главе... Милюков продолжал гулять по Екатерининской зале.

Во дворец действительно прорывались солдаты все в большем и большем количестве. Они сбивались в кучи, растекались по залам, как овцы без пастыря, и заполняли дворец. Пастырей не было.

Из города сообщали не только о погромной тревоге и о наблюдавшихся кое-где эксцессах каких-то темных элементов. Сообщали и о присоединении к революции новых полков, о грандиозных манифестациях, об энтузиазме, охватывающем широкие слои народа... Сообщали, что обыватели останавливают солдат, зовут их в свои квартиры, беседуют, расспрашивают, «агитируют» и угощают на славу, чем Бог послал.

* * *

Раньше, чем откроется Совет Рабочих Депутатов, я все же непременно хотел ориентироваться в настроении буржуазных кругов и выяснить путем непосредственных расспросов отношение их лидеров к вопросу о революционной власти.

Из Екатерининской залы, через многолюдный вестибюль, я направился в правое, еще пустынное, крыло Таврического Дворца на поиски какого-нибудь знакомого буржуазно-либерального депутата повиднее... Это правое крыло, все его комнаты и коридор, прорезывающий его насквозь, были в течение всего первого периода революции—резиденцией Временного Комитета Государственной Думы, и вообще сфер и учреждений, группирующихся вокруг Временного Правительства.

Члены Государственной Думы, формально сохранившие в течение этого периода свое звание (и свое жалованье), считали это правое крыло дворца своими владениями.

Впрочем, как я упомянул, там же помещалась в эти дни (комната 41) и военная комиссия,—т. е. военный штаб переворота. Наоборот, левое крыло с самого начала попало в ведение демократии в лице Совета Рабочих Депутатов и его учреждений.—Будущие взаимоотношения и будущая борьба между демократией и буржуазией, между Советом Рабочих Депутатов и Временным Правительством (плюс Временный Комитет Государственной Думы), в первое время имела свое территориальное воплощение в борьбе между левым и правым крылом Таврического Дворца.

Заглянув в начале корридора в кабинет Родзянки, я увидел там знакомую фигуру одного из лидеров партии «прогрессистов», достаточно мне знакомого—В. А. Ржевского. Если бы он хотел быть откровенным, то это был источник совершенно достаточный. С своей стороны, он не замедлил обнаружить желание проинтервьюировать меня, человека из другого мира. Я вошел, и мы уселись в комфортабельных креслах, недалеко от входа. Огромная, слабо освещенная комната была почти пуста. Вдали за столом сидели и вяло переговаривались два-три умеренных депутата. А неподалеку от нас, вставляя реплики в наш разговор, верхом на стуле сидел в военной форме небезызвестный казачий депутат Караулов, член Временного Комитета Государственной Думы, решительный сторонник переворота, по своим тогдашним заявлениям, но циник и реакционер на деле, будущий скандалист справа на идиотском «Государственном совещании» в Москве и будущая жертва левого террора во время Донского восстания большевиков...

Ржевский находился в состоянии, характерном для представителя нашего либерального общества.

— Мы все,—сообщил он первым долгом,—находимся в большой тревоге... Родзянко с некоторыми членами Временного Комитета уже несколько часов назад поехал к председателю совета министров, кн. Голицыну, для переговоров о положении дел. До сих пор Родзянко не вернулся и никаких вестей о нем нет. Мы опасаемся, что он арестован в ответ на задержание Щегловитова..

Я поспешил высказать свое глубокое убеждение, что такая тревога ни на чем не основана.

Если думский комитет видит выход в переговорах с царскими чиновниками даже после всего случившегося, даже после ареста на территории Думы царского министра, то тем более очевидно, на мой взгляд, должно быть для Голицына, Трепова и их товарищей, что вне переговоров с думским большинством сейчас выхода для царского правительства быть не может. Отклонить переговоры, направленные к спасению самодержавия или его обрывков, царские министры сейчас ни в каком случае не решатся. Тем более не посмеют они открыто об'явить войну думскому большинству, так охотно до сей минуты демонстрирующему свою лойяльность.

— Поверьте, — добавил я, — они отлично оценят положение и уцепятся за якорь спасения, в лице Родзянки. Они не поступят, как утопленник, схваченный за волосы водолазом, и не схватят своего спасителя за горло, чтобы потонуть вместе с ним. Ведь Думский Комитет достаточно далек и от поддержки «анархии», и от сочувствия «социалистической республике»...

Не знаю, насколько ирония моих слов была ясна и убедительна для растерявшегося либерала (впоследствии эсера!), не знающего куда направить свои мысли. Во всяком случае, эти мысли, высказанные в дальнейшем разговоре, обнаруживали полную неопределенность «наклонения» либеральных кругов.

Основные проблемы все еще не были решены. Отношение к событиям, по прежнему, обнаруживало колебания от жажды радикального переворота в психологии лучших представителей нашего либерализма до стремления к соглашению с царизмом на деле, как к единственному выходу из положения. Вопрос о революционной власти явно не разрабатывался, не вентилировался до сих пор в умах даже передовых представителей думской «левой»...

Что касается ареста Щегловитова, то он, в частности, вопреки опасениям Ржевского и других, никак не мог послужить поводом для об'явления войны царскими властями думскому «законопослушному большинству». Напротив, весь этот эпизод ни в малейшей степени не мог

компрометировать Родзянку в главах старого правительства. Эпизод этот довольно характерен, как для позиции думского большинства, представляемого Родзянкой, так и для отношений, существовавших в тот момент внутри думского Временного Комитета. Любопытно отражается в нем и внутренняя противоречивая позиция Керенского—как члена «лойяльного» Комитета Думы и вместе с тем, как представителя демократии, уже стоящего во главе революции.

Сцену ареста Щегловитова я могу передать лишь со слов очевидца,—журналиста, близкого сотрудника «Новой Жизни», который впоследствии рассказал мне ее.— Щегловитов был арестован на своей квартире каким-то студентом, пригласившим с собой для этой цели встреченную на улице группу вооруженных солдат. Под их конвоем Щегловитов был доставлен в Государственную Думу около трех часов дня. Его ввели в Екатерининскую залу, куда инициативный студент просил выйти Керенского. Вокруг невиданного зрелища собралась толпа любопытных. Царский сановник стоял низко опустив голову, когда подошедший Керенский декламировал фразу, повторенную им в эти дни не один раз.

— Г. Щегловитов, — сказал он, — от имени народа об'являю вас арестованным.

В это время сквозь толпу протискивалась могучая фигура Родзянки.

— Иван Григорьевич,—как радушный хозяин обратился он к Щегловитову,—пожалуйте ко мне в кабинет!..

Замешательство разрешил студент, заявивший:

— Нет, бывший министр Щегловитов, отправится под арест, он арестован от имени народа.

Керенский и Родзянко несколько минут красноречиво, молча, смотрели друг на друга, и затем разошлись в разные стороны. Щегловитов был отведен под стражей в знакомый ему министерский павильон Государственной Думы.

* * *

Беседа со Ржевским, прерываемая столь же нечленораздельными, сколь «революционными» замечаниями Караулова, совершенно не удовлетворила меня. Правда, она была характерна для колебательного состояния в ру-

ководящих либеральных кругах. Но ведь наступал час, когда колебаниям так или иначе суждено было кончиться, когда вопрос должен был быть поставлен и разрешен...

Ржевский, как и все мои предыдущие собеседники, не хотел или не смел взять быка за рога и не обнаружил понимания того, в чем заключался гвоздь политической ситуации. Однако,—этот «прогрессист» был характерной, но не был центральной и ответственной фигурой тогдашней цензовой России.

* * *

Не удовлетворенный и не получив материала для практических выводов, способных осветить должную линию поведения демократии в ближайшие решающие часы, я собирался отправиться в левую половину дворца, где уже толпились густые группы рабочих представителей и на всех парах шла проверка их мандатов. Заседание должно было открыться с минуты на минуту.

Выходя из кабинета Родзянки, я, повидимому, «шел в комнату, попал в другую» и случайно натолкнулся в соседнем кабинете товарища председателя Государственной Думы А. И. Коновалова и И. Н. Ефремова, ведущих деловую беседу. Эти более центральные и более официальные фигуры левой буржуазии из той же партии «прогрессистов» также были знакомы мне совершенно достаточно для приватной беседы. Оба были, к тому же, членами Временного Комитета Государственной Думы (а впоследствии оба были, как известно, министрами).

Времени не было, и я прямо, даже без всякой мотивировки, именно как личным знакомым, поставил вопрос о том, каковы намерения и планы руководимых ими кругов и каково их отношение к образованию революционной власти. Однако, и здесь ничего не вышло. Мои собеседники попросту растерялись и попросту не знали, что мне ответить на прямо поставленный вопрос.

Может быть, не не знали, а просто не хотели ответить?.. Едва-ли. В эту минуту в комнату вошел Милюков, и мои собеседники явно увидели в нем для себя выход из затруднения. Обрадованные его появлением, лидеры партии «прогрессистов» указали мне на лидера другой партии—кадетов и в один голос предложили мне поговорить с н и м на интересующую меня тему. Это не

только наивно подчеркивало их беспомощность, но и также наивно демонстрировало то, в чем для меня, впрочем, и раньше никогда не было сомнений. Милюков был тогда центральной фигурой, душой и мозгом всех буржуазных политических кругов. Он определял политику всего «прогрессивного блока», где официально он стоял на левом фланге. Без него все буржуазные и думские круги в тот момент представляли бы собой распыленную массу, и без него не было бы никакой буржуазной политики в первый период революции.

Так оценивали его роль и окружающие, независимо от партий. Так и сам он оценивал свою роль. С иллюстрациями всего мы будем иметь дело впоследствии.

С Милюковым,—не в пример Керенскому, Коновалову и др.,—я до того времени совершенно не был знаком. Если бы я сейчас попытался остановиться подробнее на этой фигуре, как это я сделал с Керенским, то это далеко вышло бы за пределы личных воспоминаний. Это было бы попыткой дать политическую характеристику, что совершенно не входит в мои планы. Но я не могу не отметить здесь, что этого рокового человека я всегда считал стоящим головой выше своих сотоварищей по «прогрессивному блоку», т. е. головой выше всех столпов, всего цвета, сливок, красы и гордости нашей буржуазии.

Этот роковой человек вел роковую политику, не только для демократии и революции, но и для страны, и для собственной идеи, и для собственной личности. Он, молясь принципу «Великой России», ухитрился, со всего маху, грубо, топорно разбить лоб—и принципу и самому себе. Он с высот своих абстрактных схем и «комбинаций» умел опускаться до самых низин самой примитивной политической пошлости, вроде филологических упражнений с трибуны «предпарламента» насчет немецкого происхождения пресловутого «наказа Скобелеву»... И тем не менее, для меня не было никаких сомнений:—этот роковой человек один только был способен, перед лицом всей Европы, воплотить в себе новую буржуазную Россию, возникающую на развалинах распутинско-помещичьего строя.

В частности, я нисколько не сомневался, что не в пример моим предыдущим собеседникам, Милюков отлично знает, «где раки зимуют», что проблема власти им стави-

лась и взвешивалась самым тщательным образом в эти дни,—по крайней мере, в эти часы; что Милюков поймет, чего я хочу, с первого намека. Другой вопрос,—что он ответит и как решается им проблема.

В самом деле, в этот момент перед Милюковым, и в его лице перед всей цензовой Россией, стояла проблема поистине трагическая, которую в то время лишь отдельные единицы либерально-обывательской, хотя бы и около-думской массы, могли охватить в полном ее об'еме... Пока царизм окончательно не пал, надо держаться за него, надо держать его, надо на его базисе строить всю внутреннюю и внешнюю программу национал-либерализма,—это понимал всякий сколько-нибудь искушенный элемент буржуазии. Этот путь есть абсолютное благо и, во всяком случае,—самоочевидное наименьшее зло.

Но что делать, когда царизм падает под напором народного движения и окончательно неизвестно, падет-ли он?.. Конечно, естественный выход—сохранять нейтралитет до последней минуты, не сжигать кораблей, не нарушать нейтралитета ни в ту, ни в другую сторону. Но это лишь теоретический принцип; на практике же ясно, что должны быть определенные пределы нейтралитета, за которыми нейтралитет сам по себе жжет корабли в одну и, быть может, в обе стороны. Здесь нужна особая зоркость, гибкость, подвижность.

Но это только начало: настоящая трагедия начинается дальше. Что делать, когда народная революция уже смела царизм с лица земли?—Принять власть из рук царизма это естественно. Обрушиться вместе с царизмом на революцию, если она попытается, одним духом, смести вместе с царизмом и власть буржуазии—это еще более естественно и совершенно необходимо. Здесь сомнений быть не может. Но если, с одной стороны, царизм безнадежен, а с другой не исключена возможность стать во главе этой революции? Если откроются перспективы «использования» ее,—что делать тогда? Принять ли власть из рук революции и демократии, когда она станет хозяином положения?

Надо охватить все вытекающие отсюда перспективы; надо оценить сполна всю глубину, всю огромность риска;

надо понять, что именно на этом пути, при правильном выполнении демократией своей роли в революции, национал-либерализму грозят основные опасности. Именно здесь он, только что возлагавший все надежды на будущее, может оказаться без настоящего и должен будет поставить крест на процветании «Великой России» под эгидою «истинно-государственных» политиков, на прочном базисе «отечественного земледелия, промышленности и торговли»!..

Не лучше ли уклониться от этой рискованной попытки, от этой авантюры? Не лучше ли отказаться от всяких «использований» и «возглавлений» революции и немедленно, отмежевавшись от нее, обрушиться на нее со всей силой, вместе с царизмом,—донять ее и мытьем, и катаньем, и рублем, и дубьем, и военной силой, и лишением ее всяких питательных соков в критическую минуту, в момент неслыханных конвульсий и спазмов расслабленного, полуразрушенного организма страны?.. В этом—тоже риск, но, быть может, меньший. И не лучше ли решаться скорее и скорее нарушить свой видимый нейтралитет?

Я не сомневался, что Милюкову (и возможно, что одному ему) все эти «за» и «против», все эти скалы и тайные мели были ясны. Т. е. было ясно самое их существование. И от него же, больше чем от кого-либо, зависело практическое решение всех этих проклятых вопросов.

Как же решает Милюков эти проблемы и, следовательно, как они будут решены на практике в ближайшие часы?.. Понятно, что разговор с Милюковым мог представлять для меня совершенно исключительный интерес.

Однако, этот разговор никак не входил в мои планы. С Милюковым я не мог разговаривать как личный знакомый. Интервьюировать же его, как некий «деятель» или представитель демократического лагеря, я не имел ни малейших оснований. Было неуместно и неудобно обращаться к столь официальному лицу с просьбой удовлетворить мой личный теоретический интерес. На практическое же значение этого интервью, я, конечно, ни в какой мере не мог надеяться. Мое положение—человека, не только не имеющего ни тени каких-либо полномочий, но чувствующего свою оторванность от демократических центров, совершенно связывало мне руки.

В этих демократических центрах, как я убедился и разузнал впоследствии, не происходило ничего такого, что делало бы вредной, неуместной, бесполезной мою попытку выяснить позиции «прогрессивного блока». Мало того: там была такая распыленность и такое отсутствие сложившегося и мобилизуемого мнения по этой «высокой политике», что не исключалось даже некоторое практическое значение этой моей попытки. Но в этом я убедился post factum, и в тот момент это дела не меняло:—беседу с Милюковым я считал для себя неуместной и не хотел идти ей на встречу.

Но эту беседу, независимо от моей воли, уже начали Ефремов и Коновалов, и я волею судеб должен был ее продолжить. Я отрекомендовался подошедшему Милюкову.

— Ваш злейший враг,—в шутку прибавил я, назвав свою фамилию и желая с самого начала придать совершенно приватный тон нашему разговору.

— Очень приятно,—как то не в меру серьезно ответил Милюков... Оговорив и подчеркнув, что побудительной причиной для этого «интервью» является мое личное любопытство, я сказал Милюкову приблизительно следующее:

— В настоящую минуту, через несколько комнат отсюда, собирается Совет Рабочих Депутатов. Успешное народное восстание означает, что в его руках окажется через несколько часов, если не государственная власть, то вся наличная реальная сила в государстве или, по крайней мере, в Петербурге. При капитуляции царизма именно Совет окажется хозяином положения. А вместе с тем, народные требования при таких условиях низбежно будут развернуты до своих крайних пределов. Форсировать движение сейчас ни для кого уже нет нужды, оно и без того слишком быстро катится в гору. Но сдержать его в определенных рамках стоило бы огромных усилий. Притом, попытка удержать народные требования в определенных пределах—это попытка довольно рискованная; она может дискредитировать руководящие группы демократии в глазах народных масс... Движение может перелиться через все организованные рамки и перейти в безудержный разгул стихии. Во всяком случае, надо тщательно установить те границы,

в которых было бы разумно пытаться направлять движение. А для этого необходимо знать, чего именно можно достигнуть этими рискованными попытками. Есть ли смысл в них и к чему он сводится? Можно ли ценою их приобрести содействие представляемых вами кругов в деле ликвидации царизма? И можно ли расчитывать, что при таких условиях эти круги образуют революционную власть, способную закрепить новый строй—при условии выполнения ею известных требований, вытекающих из элементарной программы демократии?..

— Какова позиция ваших кругов, прогрессивного блока, Временного Комитета Государственной Думы?— спрашивал я.—Предполагаете ли вы теперь, когда мы находимся в атмосфере революции, взять в свои руки государственную власть?

Быть может, я говорил больше, чем следовало бы говорить и «злейшему врагу»... Во всяком случае, из моих слов можно было понять, что в среде демократии, и даже в среде «левой» демократии*), имеются элементы (хотя бы и не влиятельные), заинтересованные в образовании ц е н з о в о й власти, считающие это необходимым для закрепления революции и даже готовые отстаивать ради этого тот или иной компромисс... Но тем любопытнее и тем характернее был ответ Милюкова, за редакцию которого я не ручаюсь, но точный смысл которого, — с полным ручательством, — был таков:

— Прежде всего, я принадлежу к партии, которая связана в своих действиях решениями более общего коллектива — прогрессивного блока. Без него она не может ничего ни предпринять, ни решить, представляя с ним единое целое... А затем мы, как ответственная оппозиция, несомненно, стремилась к власти и шли по пути к ней,—но мы шли к власти не путем революции. Этот путь мы отвергали, этот путь был не наш...

Это большими буквами

Мне было достаточно. В этом ответе, как в капле воды, отразился весь наш либерализм, с его лисьим хвостом и волчьими зубами, с его трусостью, дряблостью и реакционностью... В решающий час, при свете высказанных мною элементарных соображений,—у монопольного пред-

*) А Милюков хорошо знал меня за левого; потом он как-то говорил мне, что он читал мои книги и следил за моими печатными „пораженческими" выступлениями.

ставителя прогрессивной буржуазии не нашлось иных слов, кроме лепета о «прогрессивном блоке», и иных решений, кроме решения в момент революции действовать так же, как они действовали до революции, без революции.

Во всяком случае, положение было ясно. Базироваться на том, что буржуазия в лице прогрессивного блока и думского комитета подхватит и поддержит революцию и присоединится к ней, хотя бы временно и формально, базироваться на этом было невозможно. Приходилось исходить из положения, что если революцию продолжать, завершать и закреплять, то необходимо демократии быть готовой взять на себя одну всю тяжесть этого подвига, имея против себя об'единенные силы царизма и всех имущих классов.

Не надо сжигать корабли; надо меньше всего форсировать подобный исход событий и способствовать ему; надо оберегать все возможности иного исхода. Но не надо надеяться на него и надо готовиться к немедленному решительному бою со всем «прогрессивно-царистским блоком, к бою в неравных условиях, к бою, который, вероятно, был бы роковым для революции...

Милюков хотел продолжать развитие своих мыслей в том же духе. Но мне было достаточно. Я поблагодарил его за любезность и поспешил в заседание Совета Рабочих Депутатов.

* * *

В правом коридоре дворца уже было людно, шумно и оживленно. У двери в комнату 41, где заседала «военная комиссия», гудела большая толпа «штатских», а особенно военных. Солдаты, матросы и вооруженные рабочие проводили по коридору десятки, целые вереницы арестованных полицейских и царских охранников. В вестибюле Екатерининской зале уже была теснота, которая увеличивалась по мере приближения к левому крылу, где собирался Совет.

Наряду с праздными и случайными солдатами, встречались сосредоточенные, серьезные солдатские лица официальных представителей и делегатов восставших частей: в полном вооружении, с бумагами-мандатами в ру-

ках, они расспрашивали, как и где им «явиться для доклада» в Совет Рабочих Депутатов.

На каждом шагу мелькали знакомые лица деятелей всевозможных партий и учреждений. Все, с кем когда-либо и где-либо приходилось встречаться на почве какой-либо общественности, все были тут.

Вот Громан и Франкорусский, пробегая мимо, бросают, что первым делом Совета должна быть постановка продовольственного вопроса и создание продовольственной комиссии; иначе, голодные районы и голодные солдаты устроят дикий бунт и движение будет задавлено. Вот встречается мой старый товарищ по ссылке, бывший «ликвидатор»—меньшевик,—ныне видный работник в экономических организациях—М. А. Броунштейн. Он сию минуту пришел издалека, он прошел огромную часть города и потрясен всем виденным.

— В городе начинается полная анархия,—говорит он.—Солдаты грабят и громят. Черная сотня, охранники, городовые предводительствуют. Никакой власти, никакой организации, никакого удержа. Полиция, юнкера и вся сила старого строя мобилизуются. С чердаков и из окон стреляют, чтобы провоцировать толпу. Первым делом Совета должна быть организация охраны города и пресечение анархии. Необходима немедленно рабочая милиция и энергичные распорядительные «комиссары» в районах. Этот вопрос надо поставить в первую очередь. Иначе движение будет задавлено.

Вот пробегает доктор Вечеслов, старый меньшевик, левый интернационалист во время войны, искусный врач, говорящий только о политике (по крайней мере, со мной) даже во время выстукивания, выслушивания и впрыскивания дифтеритной сыворотки.

— На Петербург,—задыхаясь, говорит он,—движутся полки с фронта или из провинции. Мы будем раздавлены. Организуется ли какой-нибудь отпор? Что делает военная комиссия? Надо сейчас же открывать заседание и поставить вопрос об обороне революции.

Доктор бежит дальше. Из Екатерининской залы я протискиваюсь через толпу в помещение Совета.

В эти дни Совет расположился в комнатах бюджетной

комиссии Государственной Думы, №№ 11, 12 и 13. В первой помещался секретариат-канцелярия, а сейчас стоял стол, за которым шла проверка мандатов и регистрации состава собрания. Во второй, огромной по размерам, комнате (№ 12), где заседала раньше бюджетная комиссия, почти во всю величину комнаты, «покоем», был расположен крытый сукном стол, перед которым стояли кресла: там происходили первые заседания Совета. Не знаю, чем была занята небольшая, разделенная пополам портьерой, третья комната—бывший кабинет председателя бюджетной комиссии; но со следующего утра, в течение первых дней, там за занавеской заседал Исполнительный Комитет Совета. Первую половину этой комнаты была попытка обратить в канцелярию или секретариат Исп. Комитета, но из этой попытки ничего не вышло.

За столом в первой комнате сидело несколько человек, регистрировавших депутатов от имени вышеупомянутого Временного Исп. Комитета Совета Раб. Деп. Среди них я увидел некоторых знакомых лиц—Г. М. Эрлиха, будущего делегата русской советской демократии за границу. Не помню хорошо, в качестве кого он зарегистрировал меня, выдавая мне пропуск в заседание,—кажется в качестве представителя «социалистической литературной группы».

Но, так или иначе, я очутился во второй комнате, где большая часть кресел у стола была уже занята депутатами, и, кроме того, множество народу расположилось на досках, положенных на что попало, вдоль стен и в конце «покоя». Рабочие делегаты оживленно разговаривали, собирались в группы, стояли и переходили с места на место.

Солдаты держались разно, одни, прошедшие партийную школу или просто более смелые и энергичные, более ориентируясь в положении, чувствовали себя центром внимания и старались оправдать это своими рассказами о событиях в своих частях. Другие, новые в политике люди, бородачи с винтовками и делегированные представители низшего командного состава, с нашивками, молча и сосредоточенно сидели за столом, жадно вслушиваясь и всматриваясь...

Вон Шляпников,—он пытается созвать и рассадить около себя своих большевиков. Гвоздев, с огромной шелковой розеткой в петлице, собирает правую вокруг

своей «рабочей группы Центр. Военно-Промышленного Комитета». Другие—меньшевики—виднелись около недоумевающей фигуры Чхеидзе, от которого в ответ на бесконечные вопросы, доносились обрывки фраз:

— Я не знаю, господа, я ничего не знаю...

Из с.-р. был на лицо Зензинов и несколько из тех, кого было привычно видеть вместе с ним—интеллигентов и студентов (будущих правых с-ров). Но в центре с-ров рабочих была не эта группа. Рабочими эсерами руководил и мобилизовал их человек, от которого открещивалось, которого не признавало официальное эсерство даже до раскола; а некоторые с.-р. даже ставили этого человека под подозрение. Это был будущий левый с-р. Александрович (или сначала Петр Александрович), впоследствии расстрелянный своими ближайшими друзьями большевиками, своими собственными сотрудниками по комиссии Дзержинского, после так называемого «левоэсеровского мятежа», последовавшего за убийством Мирбаха.

Не в пример многим другим левым эсерам, которые с большой легкостью, вслед за господствующим большинством, сменили свое правое с-рство на левое, этот Александрович был всегда левым, даже весьма левым с-ром, находившимся в резко-оппозиционном, можно сказать в революционном настроении по отношению к собственному партийному большинству. С этой фигурой, не интересной и не значительной политически, но любопытной психологически, мы еще встретимся много раз. Сейчас я не буду на нем останавливаться и только отмечу, что позицию тогдашнего эсеровского рабочего Петербурга представлял именно он, Александрович, в отличие от интеллигентских с-ровских кружков, которые быстро монополизировали партийную марку при помощи культурных сил, нахлынувших в партию после революции из радикального лагеря.

Эти новые, «мартовские» соц.-революционеры и старые «бывшие люди», наводнив партию с-р, опираясь на отсталую солдатско-крестьянскую массу, очень быстро придали эсерству вполне законченный мелко-буржуазный характер и сделали из этой партии достойный пьедестал Керенскому и будущим «коалициям». На такую позицию

не замедлили стать не только такие лидеры партии, как искони правый оборонец Зензинов, но и такие, как «циммервальдцы» Гоц и отчасти Чернов, вечно умывающий каучуковые руки.

Эти об'единенные лидеры соц.-революц. вскоре стали «представлять» огромную разбухшую партию, включившую в свой состав все мелкобуржуазные, межеумочно-интеллигентские и просто тяготеющие ко всякому большинству слои—до либеральных помещиков (тот же Ржевский) и боевых генералов включительно. Левое и, в частности, циммервальдское (без ковычек) течение, представляемое петербургскими рабочими, вскоре было совершенно поглощено этим гнилым, но безбрежным большинством. Тогда же при первых шагах Совета Рабочих Депутатов, когда его эсеровскую фракцию составляли одни столичные рабочие, от имени «П. С.-Р.» в нем действовал неистовый и непримиримый циммервальдец.

Именно он, Александрович, а не сидевший тут же Зензинов, по инициативе с.-ровских рабочих, через несколько часов был избран в Исполнительный Комитет.

* * *

Зал заседания наполнялся. Бегал, распоряжался, рассаживал депутатов Н. Д. Соколов. Он авторитетно, но без видимых к тому оснований, раз'яснял присутствующим, какой кто имеет голос, совещательный или решающий, и кто вовсе голоса не имеет. Мне, в частности, он раз'яснил, что я и м е ю голос—теперь я уже не помню какой. Но никакого практического значения эта юрисдикция будущего сенатора, конечно, и не имела.

Я столкнулся с Тихоновым, и мы рядом с ним заняли места у стола, в почтительном отдалении от его головы, где размещались официальные лица—депутаты Чхеидзе и Скобелев, члены самочинного Временного Исполнительного Комитета, Гвоздев, кооператор Капелинский, один из лидеров петербургских меньшевиков Гриневич, в котором я узнал вчерашнего посетителя Горького.

Самого деятельного члена Вр. Исполн. Комитета, Б. О. Богданова, почему-то не было теперь на лицо, — он появился, кажется, лишь через сутки. Там же по близости, за столом возвышалась солидная фигура Стеклова, напоми-

нающая скорее саженного среднерусского бородатого землероба, чем одесского еврея.

Там же, у головы стола, с чем-то приставал ко всем и каждому Хрусталев-Носарь, бывший председатель и руководитель Совета Рабочих Депутатов (вместе с Троцким) в 1905 г. Там же хлопотал Н. Д. Соколов, который ровно в 9 часов вечера и открыл заседание Совета, предложив избрать президиум... На минуту появился Керенский. Я уже не испытывал тоски по «центрам» движения, не ощущал оторванности от живого дела. Я был в самом горниле великих событий, в лаборатории революции.

* * *

К моменту открытия заседания депутатов было около 250 человек. Но в зал непрерывно вливались все новые группы людей,—Бог весть с какими мандатами, полномочиями и целями...

Какой должен был быть порядок дня этого полномочного собрания представителей демократии в решающий час революции? Было ясно, что выдвинуть на первую очередь политическую проблему, форсировать задачу образования революционной власти ни в каком случае нельзя. При общей неопределенности положения, при вышеописанных настроениях в правом крыле Таврического Дворца, поставить эту проблему в порядок дня можно было лишь с одной целью,—чтобы немедленно решить ее в смысле об'явления Совета Рабочих Депутатов высшей государственной властью. Поставить в порядок дня вопрос о власти, при таких условиях, естественно было предоставить другим — сторонникам немедленной диктатуры Совета. Таковыми могли быть большевики, возглавляемые Шляпниковым, и с-ры, руководимые Александровичем.

Но, как бы то ни было, и те и другие были слабы, не подготовлены, не инициативны и не способны ориентироваться в положении. Ни те ни другие не выдвинули этого вопроса. Между тем обстоятельства выдвигали совершенно неотложные дела в области техники самого процесса революции.

Мои случайные собеседники о порядке дня были, конечно, правы—каждый по своему и все вместе: движение будет раздавлено без экстренных экономических

мероприятий, т. е. без организации продовольствия столицы, без немедленных мер по охране города и пресечению анархии и без мобилизации сил местного гарнизона и рабочего населения для отпора возможным нападениям на Петербург, т. е. для стратегической обороны революции... Какова бы ни была в конечном счете власть,—всей этой «техники» революции не мог выполнить никто, кроме Совета Рабочих Депутатов; и все эти задачи были необходимы, все они были неотложны для окончательной победы над царизмом...

Что касается «стратегических» мероприятий, оборонительных и наступательных, то, как известно, ими занималась «военная комиссия», ядро и большинство которой составляли в эти часы «советские» элементы. Вообще выносить «стратегию» в общее собрание Совета было нелепо. Но необходимо было сделать другое—взять под контроль Совета действие этой военной комиссии, утвердившейся—территориально—в правом крыле дворца.

Всем этим определялся необходимый и вполне рациональный порядок дня первого заседания. По всем перечисленным вопросам надо было принять решение и затем поручить выполнить их особо избранному исполнительному органу Совета... Но надо сказать, что самый вопрос о создании Исполнительного Комитета был поставлен лишь в конце заседания.

В президиум Совета естественно были названы и, немедленно, без возражений, приняты думские депутаты Чхеидзе, Керенский и Скобелев. Кроме председателя и двух его товарищей были избраны четыре их секретаря—Гвоздев, Соколов, Гриневич и рабочий Панков, левый меньшевик. Если не ошибаюсь, Керенский прокричал несколько ничего незначащих фраз, долженствующих изображать гимн народной революции, и моментально исчез в правое крыло, чтобы больше не появляться в Совете.

Не помню и не знаю, куда девался на это время будущий постоянный председатель Совета—Чхеидзе. Председательствовать остался Скобелев, который, среди суматохи и всеобщего возбуждения, совершенно не владел ни каким-либо общим планом действий, ни собранием, протекавшим шумно и довольно беспорядочно. Но это ни в какой мере не помешало Совету в первом же заседании сделать

свое основное и необходимое революции дело—создать сплоченный идейный и организационный центр всей петербургской демократии, с огромным, непререкаемым авторитетом и способностью к быстрым решительным действиям.

Как водится, немедленно по избрании президиума с разных концов раздались требования слова «к порядку». Председатель, желая покончить с формальностями, ставит на утверждение уже действовавшую мандатную комиссию, с Гвоздевым во главе. С какими-то предложениями «к порядку» и «к организации» Совета, поминутно ссылаясь на опыт 1905 года, выступил Хрусталев-Носарь. Он явно предлагал себя в руководители советской организации и политики и не только произвел на всех крайне неприятное впечатление, но и заставил думать о том, как отделаться от его услуг—пока через несколько дней он не исчез из Петербурга «играть» роль в других центрах.

Слова просил кто-то из продовольственников; но ничего не было удивительного в том, что деловой порядок дня был тут же сбит требованиями солдат предоставить им слово для докладов. Требование было поддержано с энтузиазмом. И сцена этих докладов была достойна энтузиазма.

* * *

Встав на табуретку, с винтовкой в руках, волнуясь и запинаясь, напрягая все силы, чтобы связно сказать несколько порученных фраз, с мыслями, направленными на самый процесс своего рассказа, в непривычной, полуфантастической обстановке, не думая, а быть может, не сознавая всего значения сообщаемых фактов, простым корявым языком, бесконечно усиливая впечатление отсутствием всяких подчеркиваний,—один за другим рассказывали солдатские делегаты о том, что происходило в их частях. Рассказы были примитивны и почти дословно повторяли один другой. Зал слушал, как дети слушают чудесную, дух захватывающую и наизусть известную сказку, затаив дыхание, с вытянутыми шеями и невидящими глазами.

— Мы от Волынского... Павловского... Литовского... Кексгольмского... Саперного... Егерского... Финляндского... Гренадерского...

Имя каждого из славных полков, положивших начало революции, встречалось бурей оваций. Но не меньше волнения вызывало и название новых частей, вновь вливающихся в народно-революционную армию и несущих ей победу.

— Мы собрались... Нам велели сказать... Офицеры скрылись... Чтобы в Совет Рабочих Депутатов... велели сказать, что не хотим больше служить против народа, присоединяемся к братьям-рабочим, заодно, чтобы защищать народное дело... Положим за это жизнь. Общее наше собрание велело приветствовать... Да здравствует революция! — уже совсем упавшим голосом добавлял делегат под гром, гул и трепет собрания.

Страшные винтовки, ненавистные шинели, странные слова!.. Теоретически это уже известно, известно с утра. Но на практике не поняты, не сознаны, не переварены события, где все «поставлено на голову»...

Было тут же предложено и принято при бурных аплодисментах,—слить во-едино революционную армию и пролетариат столицы, создать единую организацию, называться отныне Советом Рабочих и Солдатских Депутатов... Но многих и многих полков еще не было с нами. Были ли там колебание или сознательный нейтралитет, или готовность к бою против «внутреннего врага»?

Положение еще было критическим. Была возможность кровавой схватки организованных полков с командным составом. Еще могли голыми руками взять революцию.

* * *

«Продовольственник» Франкорусский получает, наконец, слово и, обрисовав вкратце положение продовольственного дела в Петербурге и все возможные последствия голода среди масс, предлагает избрать продовольственную комиссию, обязав ее немедленно приступить к работам и снабдив ее соответственными полномочиями. Никаких прений, конечно, не возникает. Комиссия немедленно избирается из социалистических работников продовольственного дела с В. Г. Громаном во главе. Только и ждав этого момента, все избранные немедленно удаляются для работы.

Во время этой процедуры ко мне подходит М. А.

Броунштейн, бывший, кажется, в числе избранных продовольственников, и настаивает, чтобы я немедленно взял слово для предложения об охране города. Я не видел никакого преимущества в моем выступлении в сравнении с его собственным и предложил выступить лишь в его защиту. М. А. Броунштейн получает слово и очень удачно, при полном внимании и сочувствии собрания, описывает положение дела со всеми возможными его последствиями.

Он предлагает немедленно дать директивы в районы через присутствующих делегатов—о назначении каждым заводом милиции (по 100 человек на тысячу), об образовании районных комитетов и о назначении в районы полномочных «комиссаров» для руководства водворением порядка и борьбой с анархией и погромами *). Предложение не встретило возражений, его рациональность была очевидна; но оно вызвало некоторые теоретические недоразумения и практические поправки. В частности, намечаемой организации приписывались функции наступательных действий против оставшихся сил царизма. Я выступил в защиту предложений Броунштейна, информировав собрание о деятельности «Военной Комиссии» и предостерегая от смешения функций и полномочий. Предложение, в общем, было принято, но еще не было органа, который взял бы на себя конкретное выполнение работы; не было ни границ районов (будущие советские и муниципальные районы или полицейские участки?), ни сборных пунктов, ни кандидатур «комиссаров»...

В связи с вопросом об охране города, естественно, возникло предложение о воззвании к населению от имени Совета. Вообще информация столицы, а по возможности и провинции, и элементарные директивы населению были насущнейшей (хотя и сравнительно простой, легко выполнимой, не требующей специальных забот собрания) задачей минуты. Кем-то из моих соседей было предложено избрать «литературную комиссию» и поручить ей немедленно составить воззвание, представив его затем на утверждение Совета... Однако, эта «органическая работа», занявшая уже около часа, вновь была прервана.

---

*) Между прочим, М. А. Броунштейн у нас первый ввел в употребление это слово „комиссар“, которым без нужды так злоупотребляли впоследствии.

* * *

Сквозь неплотные заграждения у дверей в эту минуту бурно прорвался молодой солдат и выбежал на середину залы. Он не просил слова и не дожидался разрешения выступить с речью. Подняв над головой винтовку и потрясая ею, захлебываясь и задыхаясь, он громко выкрикивал слова радостной вести:

— Товарищи и братья, я принес вам братский привет от всех нижних чинов в полном составе лейб-гвардии Семеновского полка. Мы все до единого постановили присоединиться к народу против проклятого самодержавия, и мы клянемся все служить народному делу до последней капли крови!..

Явно прошедший школу партийной пропаганды — в пафосе, граничащем с исступлением, юный делегат восставших семеновцев, в банальных фразах, в трафаретных терминах, действительно изливал свою душу, переполненную грандиозными впечатлениями дня и сознанием достигнутой вожделенной победы... В собрание, оторванное от деловой насущной работы, вновь хлынула струя энтузиазма и романтики. Никто не помешал семеновцу довести до конца затянувшуюся речь, сопровождаемую гулом рукоплесканий... Притом всем было ясно значение принесенной вести: Семеновский полк был одной из самых надежных твердынь царизма. В зале не было человека, который не знал бы «славных» традиций «молодцов-семеновцев» и, в частности, не помнил бы московских подвигов в 1905 г... Всего этого не было больше... Смрадный туман рассеялся в один миг при свете нового ослепительного солнца.

Оказалось, что в зале имеются делегаты от новых восставших частей. Они не решались потребовать слова и выступили теперь, когда семеновец открыл им дорогу. Вновь перед собранием прошли рассказы целого ряда воинских частей,—какого-то из казачьих полков, кажется, броневого дивизиона, электро-технического батальона, пулеметного полка—только что страшных врагов народа и отныне крепко спаянных друзей революции. Революция росла и крепла с каждой минутой.

Продолжались выборы в литературную комиссию.

Называют кандидатов. Избраны: Соколов, Пешехонов, Стеклов, Гриневич и я. Возражающих нет; борьбы фракций и партийных кандидатов не замечается совершенно... Между тем, никаких директив комиссии не дается, и всем ясно (или могло быть ясно), что воззвание будет выпущено в том виде, в каком оно будет представлено комиссией. Так был совершен первый акт Совета, способный иметь политическое значение.

* * *

Мы немедленно выходим из собрания и ищем места, где бы пристроиться, чтобы составить воззвание. Кроме Гриневича, все члены комиссии друг друга довольно хорошо знали, и было ясно, что при нашем большом политическом диапазоне, справа налево, мы можем существенно разойтись и проработать довольно долго...

Один за другим мы пробирались через густую толпу чающих попасть в заседание и уже проникших в комнату № 11. Еще теснее сгрудилась толпа у дверей этой комнаты в Екатерининской зале. Десятки тысяч людей всех возрастов и состояний пришли встречать революцию к самому сердцу ее... В залах было уже столько народу, сколько вмещал дворец. Говорили, что на улице стоит еще больше и караулы «Военной Комиссии» едва сдерживают толпу.

Мы не находили, куда деваться для нашей работы, и через переполненный вестибюль добрались до правого крыла, надеясь пристроиться в одном из кабинетов Государственной Думы. Мимо нас, попрежнему, проходили вереницы задержанных полицейских и других «политических» совершенно нового и невиданного сорта. Избранных направляли в министерский павильон, превращенный в «общую камеру» высших царских сановников. Мелкоту, заполнив ею два-три думских аппартамента, помещали на хорах большого «Белого» зала, где они и находились в течение следующих дней.

В Екатерининской зале и в вестибюле солдаты с ружьями в руках стояли группами и—кем то для порядка расставленными, но легко разрываемыми цепями. Другие сидели на полу, поставив ружья в козла и ужинали хлебом, селедкой и чаем. Третьи, наконец, уже спали,

растянувшись на полу, как спят на вокзалах третьекласс-ные и теплушечные пассажиры...

Картина Таврического дворца—довольно обычная за время революции. Мы потом вспомним ее и 4—6 июля, и 22 июля, в ночь «коалиционного» заседания в Зимнем дворце, и 5 января 1918 г., в ночь тихой смерти Учредительного Собрания.

Подходя к правому коридору, мы увидели, что с улицы в вестибюль и в ближайшие комнаты направлялись, крича и расталкивая толпу, усталые солдаты, перенося какие-то тяжести, складывая часть поклажи тут же у входа. Это были в огромном количестве ящики со снарядами, с винтовками, с револьверами, а также ленты для пулеметов. Самые пулеметы, охраняемые часовыми, также виднелись там и сям.

В двух шагах от выходной двери была навалена куча мешков с мукой. Около них также стояло двое послушных часовых, таких же, каких ставило царское начальство, не обнаруживавших никакого признака понимания того, что происходит вокруг... Кому именно и почему именно они повинуются?—мелькнуло в голове...

— Вон она, появилась, крупчатка-то!—весело крикнул около меня солдат, основательно двинувший меня ящиком.

Ноги скользили по полу, где грязь смешивалась со снегом. Был беспорядок. В дверь с улицы немилосердно дуло. Пахло солдатскими сапогами и шинелями,—знакомый запах «обыска», который оставляли городовые в квартирах царских «верноподданных».

Мы не замедлили растеряться. Кого-то оттиснула толпа. Остальные, пробираясь дальше, не нашли себе места для работы—вплоть до того самого кабинета товарища председателя Государственной Думы, где я три часа назад разговаривал с Коноваловым и Милюковым.

Что произошло за это время в правом крыле?

* * *

Этот кабинет был пуст или почти пуст. Мы расположились за письменным столом, на котором стоял телефон и были письменные принадлежности. Пока не все были в сборе, я хотел сбегать напротив, в помещение «Военной Комиссии», узнать о положении дел.

Перед дверью в комнату № 41 и в самой комнате было негде упасть яблоку. Было много военных из «прапорщиков», предлагавших свои услуги комиссии. Другие пришли с предложениями и за указаниями по разным местным делам.

Но ничего добиться было явно невозможно. Большинство же толпилось без определенного дела и только мешало всякой работе. Комиссия уже перебралась (убегая от посторонних) в следующую комнату, куда я не пробрался. Говорили, что комиссия пополнилась авторитетными стратегами, что работа идет на всех парах, и что там Керенский, вдохновляющий эту работу. Но говорили и другое, скептически посмеивались, безнадежно махали рукой.

Мне было интереснее собрать последние об'ективные сведения из города. Они имелись, и не маловажные. Петропавловская крепость пала—это первое. Падение этой вековой цитадели царей, было, как известно, «мирным завоеванием» революции: крепость сдалась революции без выстрела, вместе с командным составом. Но в тот момент это известие было преждевременно. Падение крепости произошло лишь после присоединения к революции думского Временного Комитета, после его переговоров с комендантом крепости.

Затем,—вторая новость: царское правительство заперлось в Адмиралтействе; его охраняют с артиллерией верные ему части; революционные войска, также с артиллерией, по приказанию «Военной Комисси», «штурмуют» Адмиралтейство.—Этот «штурм», как известно, также не оправдался: на деле, «верные» войска на следующий день разбежались, и царские министры ненадолго скрылись в других убежищах... Но, во всяком случае, это сообщение, свидетельствовавшее о наличности активных царских войск, было довольно тревожным.

Оно, правда, поглощалось третьим сообщением: Кронштадт целиком присоединился к революции... Сомневаться в этом сообщении ни у кого не было оснований. Репутация Кронштадта была слишком определенной и вполне заслуженной.

Но это важное и радостное известие меркло перед новым, четвертым по счету. Войска, посланные против революционной столицы, движутся на Петербург; уже при-

был 177-й пехотный полк, стоящий на стороне правительства; он уже занял Николаевский вокзал, и сейчас между его частью и отрядом революционных войск идет сражение на Знаменской площади...

Потом мы убедились, что все попытки направить войска на усмирение Петербурга были бесплодны. Поход Иуды Иванова и других генералов кончился позорным провалом. Все «верные» части сохраняли свою верность и слушались начальников только до вокзалов, а затем немедленно переходили на сторону революции, и начальники слушались их.

Десятки раз напоминал я потом об этом окружающим в дни корниловщины, не веря ни секунды, что Корнилов может дойти до Петербурга и «усмирить» его. Но в те критические минуты все это представлялось совсем в другом свете... Последнее сообщение о перестрелке на Знаменской площади, при очевидной дезорганизации революционных сил, при явной технической беспомощности ее против «кадровых войск»—было в высшей степени «грозным». Всякому было очевидно огромное расстояние от полковой резолюции о присоединении к народу до готовности вступить в кровавый бой за свободу, до способности победить в бою с регулярными, быть может, фронтовыми войсками...

— Погибнем мы, погибнем!—восклицал, хватая себя за голову, слушавший обо всем этом Гриневич, на которого я наткнулся в корридоре. Я повлек его в кабинет товарища председателя Думы—составлять воззвание Совета Рабочих Депутатов.

Все эти сообщения о текущих событиях касались техники, стратегии революции. Что произошло за это время в сфере «высокой политики»?

* * *

Вернувшись в кабинет товарища председателя Думы, я мог только узнать, что Родзянко уже довольно давно и вполне благополучно вернулся из своей экскурсии, предпринятой в целях «последних предупреждений», в целях последних попыток составить «единый фронт» царизма и буржуазии против народной революции. Но Родзянко, во всяком случае, опоздал.

Во-первых, народная революция не хотела ждать, пока

мобилизуются враждебные силы, и настолько далеко ушла вперед, что даже слепым стала очевидна бесплодность кабинетно-кружковых контр-революционных «комбинаций». Во-вторых, последний царский «кабинет министров» не мог быть к услугам Родзянки: он отсиживался в Адмиралтействе и думал не о «комбинациях», а о личной безопасности. Не знаю, кого отыскал и с кем совещался Родзянко от имени Государственной Думы и всех имущих классов. Но во всяком случае за эти часы стало ясно, что тактика одоления революции «единым фронтом» с силами царизма уже стала, пожалуй, более рискованной, чем тактика одоления демократии путем попытки использовать и обуздать революцию, «присоединившись» к ней и «став во главе ее»...

Бесплодная экскурсия Родзянки в связи с тем, что происходило в двух шагах от его кабинета, в Совете Рабочих Депутатов, сдвинула, наконец, каменную Магометову гору и поставила ребром вопрос о перемене тактики. Наступил роковой момент, когда лисий хвост должен был окончательно сменить волчьи зубы на авансцене буржуазной политики,—сменить надолго, на весь ближайший период революции...

Кто-то из радикальных депутатов, ворвавшись в кабинет, где мы сидели, с таинственным видом и горящими глазами, сообщил «политическую» новость: Родзянко после совещания с думским комитетом, заперся в своем кабинете (соседнем с нами) и просил дать ему несколько минут на размышление... Никаких комментариев радикальный депутат сделать не мог: он слышал звон...

Нам было некогда. Наше воззвание не ждало, и мы усердно работали... В кабинет входили, громко разговаривали, на нас косились, нам мешали. Мы забрались в чужие владения, но деваться было некуда. Приходилось мириться с положением непрошенных гостей и с косыми взглядами.

Работа шла довольно туго. Сидя за письменным столом, вокруг которого расположилась наша «комиссия», я записывал отдельные фразы под совместную диктовку товарищей. Мы решили из'ять из воззвания всякую политику и посвятить его лишь элементарному выяснению событий, оповещению о создании центра революционной

демократии, в виде Совета Рабочих Депутатов, и призыву к организации и поддержанию порядка. Лишь в конце было упомянуто об Учредительном Собрании, как воплощении демократического строя, который об'являлся целью революции *).

Мы работали минут 15. Было около полуночи. На столе зазвонил телефон. Я взял трубку.

— Это Государственная Дума?.. Нельзя ли попросить кого-нибудь из членов Временного Комитета? Нельзя-ли П. Н. Милюкова?..

Какой-то несомненный «интеллигент» говорил настойчивым и приподнятым тоном. Но где же взять Милюкова или думских лидеров, когда нам дорога минута?.. Я указал на мое затруднение и просил назвать нумер своего телефона.

— Так передайте, пожалуйста, что звонят из Преображенского полка. Полк в полном составе присоединяется к народу, находится в распоряжении Государственной Думы и ждет приказаний от Временного Комитета...

В эту минуту из кабинета Родзянки в комнату вошел Милюков. Увидев нашу группу, он прямо направился к нашему столу. У него был торжественный вид и сдерживаемая улыбка на губах.

— Состоялось решение, — сказал он, — мы берем власть...

Я не спрашивал, кто это—«мы». Я ничего больше не спрашивал. Но я, как говорится, всем существом почувствовал новое положение, новую благоприятную кон'юнктуру революции и новые задачи демократии, встающие на очередь с этой минуты. Я почувствовал, как корабль революции, бросаемый в эти часы шквалом по полному произволу стихий, поставил паруса, приобрел устойчивость, закономерность в движениях среди страшной бури и качки, и между мелями и рифами взял определенный курс на далекую, невидимую в тумане, но хорошо известную точку. Теперь снасти в порядке, машина заработала, надо только умело провести корабль.

Закрепление переворота я считал теперь обеспечен-

*) Это воззвание, которое перепечатывать здесь не стоит, было опубликовано в № 1 „Известий ПБ. Совета“.

ным. Непрерывная работа всего государственного механизма полным ходом при таких условиях была гарантирована: переворот не будет задавлен голодом и разрухой. Легкая и безболезненная ликвидация старого строя на всем необ'ятном пространстве страны была несомненна. Попытки сорвать переворот со стороны плутократии, фронтовых генералов и всех наличных сил царизма были заведомо обречены на неудачу.

Но перед демократией теперь возникала новая задача, новая программа действий, новая линия поведения: не допустить, чтобы совершенный переворот лег в основу буржуазной диктатуры, и обеспечить, чтобы он стал исходной точкой действительного торжества демократии. До сих пор надо было обеспечить власть, необходимую в интересах переворота. Теперь необходимы такие формы общественности после переворота, такие условия работы революционного правительства, какие нужны не для плутократии, использующей революционный народ, а для самого революционного народа...

В моих руках все еще была телефонная трубка. Я передал ее Милюкову. Выслушав офицера Преображенского полка, лидер будущего нарождающегося правительства тут же ответил, быстро входя в новую роль:

— Хорошо, сейчас от имени Временного Комитета Гос. Думы к вам приедет полковник Энгельгардт, который примет командование полком.

Этот полковник Энгельгардт, — думский депутат, кажется, октябрист, — получил на самом деле иное назначение: он стал во главе «Военной комиссии», на которую теперь, в новых обстоятельствах, поспешил официально наложить свою руку Временный Комитет Гос. Думы.

Думской буржуазии было необходимо: во-первых, продемонстрировать, вселить в сознание народа, что силами революции движет Государственная Дума, что она отвоевывает новый строй у царизма; а во-вторых—«правой» половине Таврического дворца было необходимо фактическое подчинение ей всего военного аппарата, взятого в целом.

Здесь завязывался узел всей политики первого революционного правительства и намечалась его линия пове-

дения по отношению к демократии, воплощенной в Совете Рабочих Депутатов.

* * *

Нам было некогда. Кабинет, в котором мы работали, настолько оживился, что мы вынуждены были искать себе нового пристанища. Мы двинулись дальше, по правому коридору, и окончили наше воззвание в какой-то канцелярии, наполненной пишущими машинами.

Поставив, наконец, точку, большинство нашей комиссии вернулось в заседание Совета, в то время как мы с Гриневичем взялись окончательно проредактировать и переписать воззвание на машинке. Вскоре сбежал в заседание и я, не окончив диктовки и оставив Гриневича за машинкой, в пустой, освещенной одной лампой, канцелярии.

Из ее окна был виден сквер перед Таврическим дворцом: толпа была уже совсем не многолюдна. Сквер имел вид скорее лагеря. Около костров стояли группы солдат, пыхтели военные автомобили, на которых виднелись красные флажки, стояли пушки и пулеметы.

Был ли грозен, был ли опасен этот лагерь, хотя бы для одной дисциплинированной роты? Был ли он сколько нибудь надежной защитой революции, душа и тело которой было сосредоточено в Таврическом дворце? Об'ективно говоря, — едва ли. Суб'ективно — я убежден, что нет. Проверить это теперь невозможно, а доказывать это тогда не пришлось. Благодарение судьбе! царизм был беспомощен: для него не нашлось дисциплинированной роты...

* * *

В это же время составлял свои воззвания Временный Комитет Государственной Думы. В одном из них он призывал к воздержанию от эксцессов и поддержанию порядка и спокойствия. В другом он об'являл о своем решении образовать правительство в соответствии с желаниями народа и просил поддержки у населения...

Толпа немного поредела и в залах. Работа в заседании Совета была в полном разгаре, но я застал уже некоторые признаки разложения. Некоторые депутаты стояли,—переговаривались, проявляли нетерпение. Толпа посторонних уже не держалась у стен, а надвинулась на

собрание вплотную, смешиваясь с депутатами... Было около двух часов ночи. Все измотались, уже плохо понимали и плохо держались на ногах от физической и духовной усталости за этот беспримерный день.

Я до сих пор в точности не знаю, чем занимался Совет во время отсутствия нашей «литературной комиссии». Никаких протоколов не осталось и не велось. Мне случайно рассказывали после, что долгие споры возбудил вопрос о том, входить ли членам Совета и его президиума во Временный Комитет Государственной Думы.

Для Керенского этот вопрос не возбуждал сомнений, но Чхеидзе поставил его еще днем перед Временным Исполнительным Комитетом и сильно упирался, не желая украшать своим присутствием, освящать авторитетом социал-демократии орган «прогрессивного блока». До сих пор он состоял в Думском Комитете, во-первых, по категорическому, кажется ультимативному, настоянию его большинства, а во-вторых,—по требованию большинства членов Временно-Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов (в лице К. А. Гвоздева, Б. О. Богданова и др.). Но он вошел в Думский Комитет под условием аппеляции к Совету в первом же его заседании («до вечера»).

Тогда Думский Комитет, как мы знаем, имел или, вернее, официально приписывал себе лишь технические функции,—«для сношений с организациями и учреждениями». Теперь он взял на себя функции государственной власти. Я не знаю, было ли это принято во внимание в заседании Совета при обсуждении вопроса о вхождении в Думский Комитет Чхеидзе и Керенского. Сейчас, когда я пишу эти строки, я не знаю даже, было ли доложено Совету о состоявшемся решении думского большинства принять власть. Но мне рассказывали, что вопрос о вхождении Чхеидзе возбудил продолжительные прения и был, наконец, решен в положительном смысле.

Понятно, насколько характерны были эти прения для тогдашних группировок и течений в Совете; и я очень жалею, что не слышал их; но надеюсь, они найдут своего историка.

Несмотря на усталость, было необходимо решить ряд важных дел. Было прочитано наше воззвание, довольно

слабое, и было утверждено без прений и поправок. Затем был поставлен вопрос о печатном органе Совета. Было постановлено издавать ежедневные «Известия», и завтра же утром (т. е. через несколько часов) выпустить первый нумер. Избранной Советом «литературной комиссии» было поручено редактировать «Известия» или образовать редакцию.

В связи со всем этим возник вопрос о печати вообще. Краткие летучие прения, возникшие по этому поводу, были также очень характерны. Я помню выступления (небольшие реплики) двух сторон—Стеклова и Соколова. Первый отстаивал запрещение прессы на ближайшие дни, указывая на опасность печатной черносотенной агитации для переворота. Соколов аппелировал к принципу свободы, отмечая, что немедленное восстановление нормальных условий жизни лишь укрепит революцию.

Я был всецело на стороне последнего мнения, и на всем протяжении революции, во все самые критические моменты, отстаивал полную и неограниченную свободу печати, отвечающей лишь перед судом: я исходил при этом столько же из принципа, сколько из практической целесообразности такого порядка; но я не только обычно оставался в меньшинстве, а в своей крайней позиции—часто в единственном числе. В данном же случае я нимало не сомневался, что ни один орган уже не осмелится выступить против революции, в защиту старого порядка.

В ночь 27—28 февраля по этому поводу было принято компромиссное решение:—разрешить выход газет в зависимости от их «индивидуальности». Какие бы сомнения у кого ни возникли по поводу этого решения, но характерно вот что: ни у кого не возникло сомнений, что этот вопрос должен решить Совет Рабочих Депутатов, который один только и может осуществить это решение; ни у кого не возникло сомнений в том, что этот акт защиты революции нет нужды, нет оснований предоставлять на усмотрение нового правительства из правого крыла, нет нужды испрашивать его санкции и даже доводить до его сведения.

Реальную силу здесь имел только Совет, располагавший, в частности, всей армией типографских рабочих. В исходе революции Совет был также заинтересован, пе-

зависимо от позиции буржуазии, в этом вопросе; и он не задумался решить его по собственному усмотрению. Это также крайне характерно для намечавшегося места в революции «правого» и «левого» крыльев Таврического дворца, для слагавшихся взаимоотношений между Советом и первым революционным правительством.

* *

Далее, было необходимо приступить к выборам Исполнительного Комитета. Чтобы не прерывать рассказа, я не буду сейчас останавливаться на характеристике этого учреждения и его личного состава, — учреждения бесспорно заложившего основы всей революции и всецело определившего ее политику на весь ее период до самого падения первого революционного правительства. Я это сделаю после. Сейчас упомяну только о самой процедуре выборов, также представляющей небезынтересный штрих для будущих исследователей революции.

Картина этих выборов была совершенно необычна для всех последующих избраний Исполнительных Комитетов. Первый исполнительный орган Совета не был составлен на основании пропорционального представительства фракций,—ибо не было самих оформленных фракций, и не были достаточно известны платформы фракций, которые позволили бы «сочувствующим» голосовать за кандидатов близ лежащих групп. Поэтому партийные депутаты голосовали только за своих, и, наоборот,—за партийных кандидатов голосовали только свои, благодаря чему они собирали сравнительно по небольшому числу голосов.

Большее число голосов получили н е ф р а к ц и о н н ы е кандидаты, так или иначе лично известные собранию или особенно активно выступавшие на нем. Но и за них голосовало по небольшому абсолютно числу депутатов: рабочие представители, явившиеся от своих станков, в большинстве все же их не знали (и не могли знать в условиях царизма), а партийные—берегли голоса для «своих», ибо кандидаты проходили в порядке числа поданных голосов, а избрать было решено всего 8 человек.

В результате, за нефракционных кандидатов—Стеклова, Капелинского, меня—было подано максимальное чи-

сло голосов,—всего 37—41, а за партийных кандидатов, большевиков и с.-ров. Шляпникова и Александровича— минимально-необходимое в 20—22 голоса. Кроме того, в Исполнительный Комитет было постановлено включить ранее избранный президиум (председателя, двух товарищей и четырех секретарей), а также пригласить с решающим голосом представителей центральных и местных организаций социалистических партий.

Оставалось еще важное дело: надо было определить отношение к «Военной комиссии». Было постановлено: требовать допущения в военную «комиссию» всего состава избранного Исполнительного Комитета. Было послано спросить о согласии на то действовавшего состава военной комиссии, и немедленно был получен ответ:—«просят пожаловать».

Тем временем надо было озаботиться выпуском «Известий»... Пешехонов исчез и вообще несколько дней не появлялся (он представлял в Исп. Ком. партию н. с.-ов), но в эти дни ему пришлось взять на себя трудную и неблагодарную местно-административную роль—«Комиссара Петербургской Стороны».

Другие члены литературной комиссии, которой было поручено это дело, все вошли в Исполнительный Комитет и при всей важности задачи не могли отлучиться из Таврического дворца. Я отправился на поиски подходящих журналистов, естественно обращаясь мыслями к редакции и сотрудникам «Летописи». Помню, уклонился от этого дела Ерманский, но охотно согласился Тихонов. Он взялся добыть отсутствовавшего Базарова; к ним присоединился Авилов; и эта будущая «Новожизненская» компания, составив первую фактическую редакцию советского органа, немедленно отправилась в типографию «Копейка», занятую «по праву революции» и коекак оборудованную силами союза печатников... Утром, в 10-м часу, первый нумер «Известий» раздавался в стенах Таврического дворца, а также в сотнях тысяч развозился в автомобилях и разбрасывался по городу.

* * *

Я направился в «Военную Комиссию». Заседание Совета еще продолжалось, но уже окончательно расползалось, расплывалось и переходило в беспорядочную, хотя

и строго деловую, беседу: речь шла о важных организационных и агитационных задачах каждого депутата в своих районах на завтрашнее утро...

Шел четвертый час... В преддверии Военной комиссии и в комнате № 41 была та же толпа, та же духота и еще большая, казалось, неразбериха. Никто ничего не мог ни понять, ни добиться. Все невыносимо устали, а большинство уже перестало чего-либо добиваться. Только активнейшей группе, с самого начала вступившей в работу, сознание взятой на себя роли взвинтило нервы на все ближайшие дни. Невозможно сказать, на сколько продуктивна оказалась и была об'ективно необходима ее техническая работа. Но ее огромное моральное значение было бесспорно, и суб'ективно эти работники, несомненно, оказались на высоте.

Сквозь чрезвычайные препятствия, чуть ли не баррикады, воздвигнутые комиссией в помощь энергичнейшим церберам,—я пробрался в комнату верховного штаба революции. Но и в святилище все же было много народа, явно постороннего и бездействующего. Был беспорядок и те же признаки разложения. Кроме обычной мебели было две-три садовых скамейки. Но все было занято, большинство стояло. Вместе с другими членами Исполнительного Комитета я присоединился к группе, окружавшей письменный стол.

За столом сидел полковник Энгельгардт. Перед ним на столе лежала какая то карта,—кажется, план Петербурга. Облокотившись на руку, он глубокомысленно рассматривал эту карту, иногда делая замечания и куда-то показывая. Общий вид его не оставлял сомнений: он не знает, что делать со своей картой, и, вообще, не знает, что надо делать и что можно сделать... Офицеры, бывшие в комнате и вновь прорывавшие фронт церберов, обращались к нему с «экстренными» вопросами, заявлениями и требованиями. Эти «экстренные» и «неотложные» вопросы, эти «внеочередные заявления»,—жестокий, смертельный бич всякой планомерной работы,—казалось, принимались главой «комиссии» не только без досады, но даже с удовольствием. Видно было, что, кроме этой текущей работы, едва ли что-либо делается и может быть сделано...

Рядом с Энгельгардтом сидел морской офицер—с-р Филипповский, которого в течение нескольких дней и

ночей в любое время я заставал на этом же месте бодрым и работоспособным. Тут же находился Пальчинский, сидел Мстиславский, сменивший теперь свою дневную, конспиративную штатскую одежду на военную форму...

Отмечу здесь: мне совершенно неизвестно, какие именно разговоры предшествовали назначению Энгельгардта начальником «Военной комиссии», ядро которой образовалось днем в левом крыле и главными работниками которой были социалисты. Такой порядок был, очевидно, сочтен естественным, после «присоединения» к революции Думского Временного Комитета... Думский Комитет, уже начавший за это время, в качестве власти, «органическую» административную работу, назначил также и продовольственную Комиссию, которая об'единилась и вела работы совместно с советской. Однако, насколько помню, Громан оставался во главе этой об'единенной комиссии...

— Ну, кака же дела?—спросил я Мстиславского.

— Весьма не важно,—ответил он,—полный разброд среди войск, нет никаких организованных частей... Без командного состава управиться невозможно. Командный же состав сейчас дискредитирован, а, главное, исчез почти поголовно. Этим он больше всего и дискредитирован. Без него же части не сплачиваются, добровольно сходятся в отряды, добровольно же и расходятся. Ничего сколько-нибудь серьезного сделать с ними нельзя.

— А что делает неприятель?

Ничего определенного никто не знал. По-прежнему, говор—или об осаде Адмиралтейства, о взятии Петропавловской крепости, и о движении каких-то войск на Петербург. Пехотный 171 полк, действительно, прибыл и высадился на Николаевском вокзале, но уже он давно рассосался и побратался с гарнизоном. Быть может, перестрелкой с ним мы были обязаны горячности и инициативе революционного отряда.

Говорили, что полки идут на Петербург из Царского, Ораниенбаума и других окрестностей столицы. Что за полки, с какими намерениями?.. Было очевидно, что от этого, и ни от чего больше, зависит судьба революции. Видимость сопротивления, какую могли оказать силы «Военной комиссии», пожалуй, была бы достаточной—в силу своего морального эффекта. Но что—

если морального эффекта будет мало и потребуется реальное сопротивление?—Конечно, тогда в поражении нельзя было сомневаться.

Определенных сведений никаких не было. Кризис продолжался, и, выполняя «текущие дела», «Военная комиссия», как и все мы, полагались, в конечном счете, лишь на волю Божию. Делать здесь было решительно нечего.

* * *

Между тем, у Исполнительного Комитета еще оставалось неотложное дело по организации охраны города, согласно постановлению Совета. Надо было спешить. Оставив двух или трех своих членов в «Военной комиссии», как представителей Исполнительного Комитета, мы отправились обратно в Совет, чтобы заняться этим делом.

Было около четырех часов. Заседание Совета было только что закрыто, следующее было назначено в 12 часов наступающего дня. Депутаты расходились, но зал был еще занят группами совещавшихся рабочих. Мы задержали представителей районов, через которых только и могли действовать, лишенные всякого технического аппарата.

У Исполнительного Комитета еще не было не только никакой организованной техники,—хотя бы добровольческого персонала в несколько человек,—но не было и никакого убежища для работы... В Екатерининской зале, на концах ее, в эпоху Думы, стояли полукруглые столы с креслами. В полутемной и значительно опустевшей зале на этих креслах сидели, полулежали и спали уставшие солдаты и рабочие. Нам охотно очистили место и мы пристроились было за одним из этих столов. Но нас тут же так облепила всякого рода публика, что работа была невозможна и пришлось сняться с якоря. Сами измученные, в досаде на нелепые препятствия, мы попробовали было пристроиться на хорах большого зала и, теряя и собирая друг друга, направились туда. Но хоры и кулуары их оказались занятыми арестованными; караул не пустил нас, и мы потянулись обратно.

Наконец, мы нашли пристанище в самом зале думских заседаний. Огромный темный зал был почти пуст. По амфитеатру кресел было рассыпано несколько одиночек и пар, еле заметных фигур. Одни спали, другие тихо

разговаривали. Мы вошли в ложу журналистов, напротив думской «левой», и здесь состоялось первое заседание Исполнительного Комитета.

Темные фигуры со всего зала стали потихоньку стягиваться к нашей ложе. Стали по-близости и слушали. Мы не обращали внимания... Проработав с час, мы выработали директивы районам относительно милиции, наметили адреса сборных пунктов и кандидатов в «комиссары». Затем, мы сообщили об этом представителям районов, которые немедленно отправились в путь. Наше постановление было опубликовано в приложении к № I «Известий», выпущенном после полудня 28 февраля.

Мы ограничили им порядок дня первого заседания Исполнительного Комитета. В перспективе предстоявшей работы, надо было подумать об отдыхе, хотя бы на два-три часа. Близ живущие члены Исполнительного Комитета стали появляться в шубах и шапках... Надо было забежать только в «Военную комиссию».

В ее владениях было уже несколько просторнее. Но, в общем, мы застали прежнюю картину. Меньше сновало офицеров в походной форме, с боевым видом, было меньше крика, распоряжений, кутерьмы, возбуждения. Было как будто затишье. Энгельгардта не помню. Остальные были на своих местах. Ничего нового, кажется, не случилось. Кризис революции и ее стратегия были в прежнем состоянии. Глубокая ночь и утомление, чувство беспомощности в работе, как будто, сковали энергию. К сознанию опасности, как будто, притерпелись... Таврический Дворец, мозг и сердце революции, окруженный кольцом грозных орудий без прикрытия и тощими группками солдат, без пастырей и дисциплины, — ждал воли Божией...

В комнате «Военной комиссии» нас, трех-четырех «забежавших» членов Исполнительного Комитета, ждал приятный сюрприз. По средине комнаты, на садовой скамейке, стоял какой-то огромный жестяной жбан,—он был наполовину полон котлетами, остальную половину уписывали окружающие. Возле жбана лежал каравай хлеба и огромный заржавленный перочинный нож. Мы не спрашивали, кто, откуда и для кого достал все эти замечательные предметы...

* * *

Кто близко жил, или имел ночлег, отправился в город, чтобы утром вернуться к работе. Я, конечно, не мечтал о своей Петербургской Стороне. Выжав, что было можно из «Военной комиссии», я отправился на поиски свободного дивана, кресла, скамьи. В залах была полутьма, в них оставались почти одни солдаты. Тихая беседа сидевших на полу групп и отдельные громкие чьи-то распоряжения — лишь подчеркивали наступившую относительную тишину. Я обошел все доступные комнаты, но мои поиски были совершенно бесплодны. Знакомые кабинеты правого крыла были заперты предусмотрительными и ретивыми служащими, поседевшими в «хорошем обществе» и шокированными невиданным нашествием санкюлотов...

В других комнатах было занято решительно все. Я прошел через залу советского заседания, в маленький кабинет, принадлежащий бюджетной комиссии; на столе «покоем», на диванах и креслах, на подоконниках, везде, где только можно,—лежали, сидели и спали.

Я вернулся в Екатерининскую залу, но нечего было и думать уснуть или забыться среди ее лагеря. Я побрел в «белый зал» заседаний, чтобы расположиться в депутатском кресле. Побродив между рядами, я дошел до угловой ложи Государственного Совета. Кресла были совсем неудобны. В углу ложи я увидел пустое пространство, бросил на пол шубу, на нее шапку и лег на них...

Был давно шестой час. Через стеклянный (некогда провалившийся!) потолок, зала тихо наполнялась молочным светом. Редкие солдатские фигуры бродили, переговариваясь, по зале и заглянули ко мне в ложу... Надо было уснуть. Я повернулся к стене. Из Екатерининской залы доносился мерный топот, раздавались резкие громкие выкрики команды... Как будто дворец наполняется снова?.. Как будто маршируют какие-то организованные части?..

Я заснул или, быть может, впал в забытье... Это был первый день революции.

■ ■ ■

4. РЕВОЛЮЦИИ ДЕНЬ ВТОРОЙ.

28 февраля.

Портрет последнего царя. — В „военной комиссии".—Возвращение офицерства.—Положение улучшается.—Первородный конфликт революции. — „Контакт" между солдатами и офицерами перед лицом правого и левого крыла.—Агитация Родзянки и Милюкова.—Первый проблеск „двоевластия".—Задачи Исп. К-та С. Р. Д.—Максим Горький во дворце революции.—Как я пытался составить редакцию „Известий".—Первый Исп. Ком.—Его состав.—Его „физиономия".—„Псевдонимы".—Течения и группы в первом центральном учреждении револ. демократии.—Как мы заседали.—Совет и обыватели.—Деловое и моральное значение Совета.—Опасность для переворота окончательно рассасывается.—Царские сановники.—Техника нашей работы в эти дни.—Типография и „капитан Тимохин".—Паника в Совете и Керенский во время паники.—И. И. Манухин.—Первая встреча „летописцев".—„Приказ" Родзянки и солдатское самосознание.—Аресты.—Польская делегация.—Конец второго дня.—Беззащитность Таврического Дворца.—Проблема власти: позиция большевиков и их „манифест", позиция советской правой.—Ночью на улицах.

Я проснулся или, быть может, очнулся от каких-то странных звуков. Я мгновенно ориентировался в обстановке, но не мог об'яснить себе этих звуков.

Я встал и увидел: два солдата, подцепив штыками холст репинского портрета Николая II, мерно и дружно дергали его с двух сторон. Над председательским местом думского «белого зала» через минуту осталась пустая рама, которая продолжала зиять в этом зале революции еще много месяцев... Странно! Мне совершенно не пришло в голову озаботиться судьбой этого портрета. И до сих пор я не знаю его судьбы. Я больше заинтересовался другим.

На верхних ступенях зала, на уровне ложи, в которой я находился, стояло несколько солдат. Они смотрели на

работу товарищей, опираясь на винтовки, и тихо делали свои замечания. Я подошел к ним и жадно слушал... Еще сутки назад эти солдаты-массовики были безгласными рабами низвергнутого деспота, и сейчас еще от них зависел исход переворота... Что произошло за эти сутки в их головах? Какие слова идут на язык у этих черноземных людей при виде картины шельмования вчерашнего «обожаемого монарха»?

Впечатление, повидимому, не было сильно: ни удивления, ни признаков интенсивной головной работы, ни тени энтузиазма, которым готов был воспламениться я сам... Замечание делались спокойно и деловито—в выражениях столь «категорических», что не стоит их повторять.

Перелом совершился с какой-то чудесной легкостью. Не надо было лучших признаков окончательной гнили царизма и его невозвратной гибели.

* * *

Большие часы над входными дверьми в зал показывали половину восьмого. Была пора начинать второй день революции.

Я направился в Военную комиссию, которая была естественным сборным пунктом для членов Исполнительного Комитета. В Екатерининской зале снова стояли цепи солдат, неизвестно зачем поставленных и что охраняющих. Солдат здесь были тысячи. Но с баллюстрады, на которую я вышел из «белой залы» в Екатерининскую, я увидел новую картину. Внутри цепи солдаты были построены, производилось какое-то ученье. Офицеры выкрикивали обычные слова команды, солдаты проделывали свои артикулы, вздваивали ряды и т. д. Как будто что-то приходило в какой-то порядок.

Я стал пробираться через ряды солдат к правому коридору. Было холодно. В голове стучали, Бог весть откуда вдруг всплывшие, ямбы шиллеровского Валленштейна: Die Kirchen selber liegen foll Soldaten.

По залам начинали двигаться и штатские, заночевавшие, подобно мне, во дворце революции. По дороге раза два меня остановили и вновь прибывшие, которых было не видно вчера. Они предлагали свои услуги. Это было отлично,—но как ими воспользоваться? где разыскать

их? где назначить им место сбора?.. Необходимо было Исполнительному Комитету заняться собственной организацией,—но членов его еще не было видно среди разношерстной толпы.

Хотелось проглотить чего-нибудь горячего. Но это была утопия. Мне посоветовали толкнуться к служителю и показали его каморку—далеко в правом крыле. Но каморка была пуста. Не было никаких признаков ни с'естного, ни горячего. На столе стояла лишь кружка, в которую я нацедил воды из торчавшего в стене крана, и выпил ее.

В комнатах Военной комиссии я застал приблизительно то же и тех же, что и «вчера», т. е. два часа назад. Тот же Мстиславский на мой вопрос ответил, что дела улучшаются. Во-первых, — дошли или не дошли полки из провинции и из окрестностей, но ни о каких враждебных и боевых действиях ничего не слышно. Во-вторых,—в Петербурге командный состав возвращается на свои места. В комиссию поступают массовые предложения услуг от офицерства, чего совершенно не было раньше. Кроме того, занятие Петропавловки — уже вполне достоверный факт: гарнизон в полном составе, с командиром во главе, заявил о признании власти Комитета Государственной Думы. Адмиралтейство же еще занято каким-то отрядом, не присоединившимся к революции; но кто там отсиживается, в точности, неизвестно.

* *

Возвращение в полки офицерства и его присоединение имело, несомненно, огромную важность. Прежде всего, революция в этот момент не располагала ни малейшими силами, которые могли бы заменить офицерство, предохранить армию от полного и немедленного разложения и превращения ее в источник всеобщей анархии или диктатуры темной и распыленной солдатчины. Только наличный офицерский состав,—при отсутствии сколько-нибудь прочной, привычной, властной демократической организации, — мог послужить здесь необходимой спайкой; и в данный момент он должен был быть для этого использован.

А затем была и другая сторона: нейтрализация или

отвлечение офицерства от царизма на сторону революции было необходимо,—постольку, поскольку офицерско-юнкерская масса могла послужить активнейшей силой всей буржуазии—в случае немедленной контр-революции, при попытке немедленно задавить переворот. Если ликвидация царизма не могла быть произведена без буржуазии и против буржуазии вообще, то тем более важно было в данный момент перекинуть на сторону революции силы офицерства—в частности и в особенности.

К тому же не надо забывать, что тогдашнее офицерство столицы далеко не было старым гвардейским «кадровым» офицерством: оно было переполнено «прапорщиками», т. е. всякого рода третьим элементом, готовым примкнуть к революции не за страх, а за совесть—в случае физической безопасности и при возможности так или иначе наладить отношения с недоверчивой солдатской массой... В результате всего этого, руководители демократии и, в частности, Исполнительный Комитет всеми силами стремились к тому, чтобы офицерство вернулось к своим частям и к своим обязанностям, а солдаты вновь признали бы офицерство. В этом отношении цели Исполнительного Комитета Сов. Раб. Деп. вполне совпадали с целями Думского Комитета, поставившего официально одной из первой своих задач: «установить связь между офицерами и нижними чинами».

Но это была лишь одна сторона дела, или—это была лишь небольшая часть всей задачи буржуазии и демократии по отношению к армии, или же—это была еще только форма, но не содержание задачи. С другой же стороны, в целом, по существу — стремление руководящих групп буржуазии и демократии здесь не только не совпадали, но естественно должны были послужить краеугольным камнем глубокой, упорной, принципиальной, попросту говоря, «классовой» борьбы между первым правительством революции и советской демократией. Эта борьба составит все основное содержание данного периода революции, завершившегося падением правительства Гучкова-Милюкова; а вместе с тем эта борьба послужит основным материалом для моих дальнейших записок. Поэтому сейчас мы и не будем углубляться в принципиальный смысл этого

первородного конфликта, с которым явилась на свет революция, конфликта между буржуазией и демократией на почве отношения к армии. Сейчас мы не будем говорить о внутренней стороне, о подоплеке этого конфликта, а просто уясним себе, в чем он заключался. А затем по личным воспоминаниям, я расскажу, что вспомню о том, в каких внешних формах он протекал.

* * *

Временный Комитет Государственной Думы, стремясь «установить связь между офицерами и солдатами», желал видеть эту связь совершенно такою же, какой она была при царизме. Он надеялся с полным основанием, что офицерство, примыкая к революции и отдавая себя в распоряжение Государственной Думы, делается, верным слугой буржуазии; и Временный Комитет естественно стремился к тому, чтобы «нижние чины» в руках этого офицерства были прежними безвольными орудиями, «самодействующими винтовками», а вся армия, тем самым перейдя в прежнем своем виде из рук царя в руки самоуправляющейся плутократии, стала бы основой ее диктатуры вообще и ее борьбы с демократией—в частности.

Именно в пользу такой связи между офицерством и «нижними чинами» Думский Комитет и развил на редкость деятельную агитацию с первого же момента, с описываемого утра—28 февраля. Лозунгом этой агитации были—«порядок», «подчинение», послушание, повиновение и тому подобные всевозможные модификации понятия офицерских ежовых рукавиц... И понятно, что в этой своей агитации, в этой своей задаче, буржуазия стремилась как можно шире использовать и эксплоатировать старания руководителей демократии—точно также водворить порядок и «наладить связь» между солдатами и офицерами.

Советскому Исполнительному Комитету необходим был достаточно зоркий глаз, чтобы среди бури революции, среди невозможных условий работы, разглядеть Сциллу потери офицерства, анархии и гибели переворота под прямыми ударами контр-революции — и Харибду цепких лап плутократии, добровольной уступки ей всей реальной силы, оказавшейся в руках народа, и

постепенного, но быстрого поглощения всех достигнутых и будущих завоеваний, по примеру других революций, торжествующей буржуазией. Надо было иметь зоркий глаз, чтобы нащупать тропинку между омутом и болотом; надо было иметь такт, чтобы хорошо пройти по этой тропинке; надо было иметь авторитет, чтобы заставить следовать за собой тех, кого не было времени убеждать и просвещать.

Исполн. Ком. Совета немедленно принял меры к воссозданию связи между различными элементами армии; но он не мог допустить, чтобы эта связь была прежним механическим подчинением, слепым повиновением, элементарным беспрекословным послушанием солдатской демократической массы буржуазному офицерству. Строились новые основы нашего государственного бытия; и для демократии они обязательно предполагали какие-то новые формы «связи», какие-то новые отношения внутри армии, какую-то новую ее конституцию, исключавшую, во что бы то ни стало, возможность использовать армию для завершения переворота против народа, в узко-классовых интересах плутократии.

Перед лицом трагических уроков истории эти гарантии у демократии должны были быть во что бы то ни стало. Наша же буржуазия, изменившая народу, не в пример другим, не на другой день после переворота, а еще до переворота, не начавшая революцию, чтобы своевременно обернуть фронт против народа, а притянутая к движению за волосы развернувшейся во всю ширь народной революцией, — наша буржуазия не давала оснований сомневаться в своих намерениях. Надо было держать ухо востро и следить «в оба»—если мы не хотели в то время сменить при царе Николае одного думского Протопопова на другого. Ведь лидер же, необходимый, монопольный лидер революционного правительства только что об'являл провокацией все рабочее движение в России!

* * *

В «Военной комиссии» я услышал, что, несмотря на ранний час, этот самый лидер новой власти уже отправился на Охту, в первый запасный полк, держать речь, по просьбе командного состава. В течение этого дня это-

му официальному главе новой власти пришлось не раз говорить перед полками, которые приводились офицерами в Таврический дворец, для «представления» Государственной Думе. Но еще больше агитационной работы пришлось на долю официального представителя думского комитета — Родзянки. Впрочем, ничего более полезного в эти дни этот «простой русский человек» и не мог сделать; и его действительно-руководящие друзья отвели ему эту функцию вполне основательно...

Передо мной лежит № 2-й листка, издававшегося в эти дни группой буржуазных и бульварных журналистов под названием «Известия». В этом нумере приведены речи членов думского Комитета к полкам, приходившим со своим командным составом выразить верность Государственной Думе—с утра до вечера 28-го февраля. Я процитирую некоторые «деловые» отрывки этих речей.

«Старый солдат» Родзянко, твердя «братцам» и «православным воинам», не о политике, а о «порядке», говорил, примерно, так:

— Господа офицеры, приведшие вас сюда, во всем согласны с членами Государственной Думы. Прошу вас разойтись по казармам и делать то, что вам прикажут ваши офицеры.

— Слушайтесь ваших офицеров, ибо без начальников воинская часть превращается в толпу, неспособную водворить порядок. Я счастлив, что между вами устанавливается полная связь (лейб-гренадерам).

— Чтобы вы могли помочь делу водворения порядка, за что взялась Государственная Дума, вы не должны быть толпой. Без офицеров солдаты не могут существовать. Я прошу вас подчиняться и верить вашим офицерам, как мы им верим. Возвращайтесь спокойно в ваши казармы, чтобы по первому требованию явиться туда, где вы будете нужны (преображенцам).

— Я старый человек и обманывать вас не стану,— слушайте ваших офицеров, они вас дурному не научат и будут распоряжаться в полном согласии с Государственной Думой (9-му запасному кавалерийскому полку),—и т. д.

Все это должно было попасть не в бровь, а прямо в глаз. «Старого человека» его более молодые, но более

зрелые товарищи дурному не научили, а самому насущному и необходимому. Но старый человек не мог дать больше того, чему его научили.

Любопытнее послушать того, кто учил, кто несравненно лучше понимал всю подноготную, всю философию момента, кто не в пример своей думской периферии умел смотреть в корень и хватал прямо быка за рога. Его выражения гораздо более точны, ярки и содержательны.

В офицерском собрании 1-го запасного полка, где Милюкова встретило все офицерство с командиром во главе, новый министр говорил так:

— Задача Комитета восстановить порядок и организовать власть. Для этого Временному Комитету необходимо содействие военной силы, которая должна действовать организованно. Единственная власть, которую все должны сейчас слушать,—это Временный Комитет Государственной Думы. Двоевластия быть не может...

В обращении же к солдатам оратор подчеркивал, как важно солдатам быть вместе с офицерами, которые будут вместе с Государственной Думой, и особенно настаивал, что они «должны подчиняться исключительно приказаниям, которые за подписью полковника Энгельгардта, будут направляться командирам полков...

Лейб-гренадерам Милюков твердил:

— Мы должны быть организованными, едиными и подчиненными единой власти. Властью этой является Временный Комитет Государственной Думы. Ему нужно подчиняться и никакой другой власти, ибо двоевластие опасно. Найдите своих офицеров, которые стоят под командой Гос. Думы, и сами встаньте под их команду. Этот вопрос сегодня очередной.

Милюков отлично понимал очередной вопрос. Он, правда, не имел достаточно такта, чтобы в данной обстановке воздержаться перед братцами-солдатами от замечаний насчет «зеленого змия». Но он имел достаточно проницательности, чтобы в первый же момент революции, до выяснения позиции Совета Раб. Деп., признать очередным и поставить ребром будущий роковой вопрос—о двоевластии.

Любопытно еще здесь отметить, что думский комитет имел достаточно осторожности, чтобы в данный момент воздержаться в своей агитации от сколько-нибудь

отчетливой постановки проблемы войны и мира. Глава и вдохновитель нашего империализма, для которого вся проблема переворота была проблемой «войны до конца», войны за Константинополь, Дарданеллы и еще чорт знает что,—отлично сознавал, что выдвигание на очередь вопроса о войне вызовет немедленную реакцию со стороны демократии. Реакция эта обязательно будет такой силы и такого характера, что «комбинация» с «думской» властью этим будет сорвана. А между тем корабли уже были сожжены.

Совет Рабочих Депутатов, с своей стороны, не только не выдвинул проблемы войны на первый план, но он снял с очереди, он свернул и аннулировал все военные или, точнее—антивоенные лозунги, которые были развернуты в самом начале движения и которые привели бы при своем форсировании в данный момент к неизбежному срыву правительственной комбинации. Заправилы думского блока понимали, что на это надо ответить взаимностью. Свою программу внешней политики (старую царистскую программу) Милюков решил и предпочел резвертывать хотя и неуклонно, но постепенно. Совет Рабочих Депутатов, однако, также имел в виду развертывать свою программу мира—постепенно, но неуклонно.

* * *

Итак, с утра, 28 февраля, по всему фронту правого крыла уже шла атака на гарнизон с кличем: «возвращайтесь спокойно в казармы, подчиняйтесь офицерам, подчиненным Государственной Думе, и не слушайте никого больше, опасаясь двоевластия!»...

Было ясно: нашему Исполнительному Комитету, кроме неотложных задач внутренней организации, предстояло немедленно принять меры к постановке агитационного дела, в частности — среди гарнизона, а также немедленно озаботиться производством выборов во всех воинских частях в Совет Рабочих Депутатов. Это — во-первых. Кроме того, надо было, не откладывая, продолжить мероприятия по охране города, упорядочить редакционное дело советских «Известий».

И, наконец, главное — было необходимо разрешить

политическую проблему на ближайший период революции, то-есть определить фактически и закрепить формально отношения демократии, в лице совета, к формируемой цензовой власти, а тем самым—создать некий новый временный политический строй, соответствующий интересам демократии и обеспечивающий правильное развитие революции. Некоторые мероприятия власти, в частности, всеобщая амнистия, не терпели ни малейшей отсрочки.

Так определялась в общем и целом необходимая «программа» дня для Исполнительного Комитета. Кроме того, в 12 час. должен был собраться пленум Совета. Надо было начинать работу.

* * *

Во дворец уже вливались густые ряды «штатской» публики и перемешивались с солдатами. Залы уже начинали принимать вчерашний вид. Приходившие из города рассказывали, что столица еще далека от порядка и успокоения. В разных концах разгромили магазины, склады, квартиры и еще громят то-то и там-то. Уголовные, осовбожденные вчера из тюрем, вместе с политическими, перемешавшись с черной сотней, стоят во главе громил, грабят, поджигают. На улицах небезопасно: с чердаков стреляют — охранники, полицейские, жандармы, дворники. Они провоцируют свалку и анархию.

В ответ им толпы рабочих и солдат не оставляют камня на камне от полицейских учреждений, ловят и избивают «фараонов» нещадно. Всех подозрительных по службе старому режиму хватают, и под арестом в различных местах сидят тысячи правых и виноватых. Вереницы таких арестантов по прежнему проводили через вестибюль под озлобленные крики солдат и рабочих.

В нескольких местах были пожары. Ощущается недостаток в транспортных средствах. Ломовики боятся ездить, в районах может не оказаться хлеба.

Но, с другой стороны, рассказывали, и не мало утешительного. Двухмиллионное население города, спрыснутое живой водой, стало немедленно расправлять члены от вековой спячки в оковах царизма. Город уже заработал всеми своими элементами и уже проявлял чудеса самодеятельности. Обыватель сделал чрезвычайно

много для продовольствия солдат. В районах шла на всех парах организация охраны и милиции — согласно директивам и независимо от них. Надежные отряды уже были сформированы, вооружены и действовали по всему городу, обращая на себя внимание своей энергией и корректностью.

Как по мановению руки, возникали домовые комитеты и всякие виды взаимопомощи и самопомощи. Обыватель встряхнулся. Об его огромном под'еме свидетельствовали все единодушно... Это не мешало тому, что огромная часть всякого люда нацепила на себя красные бантики «на всякий случай», а дворники, уже явно с перепугу, сбились с ног, отыскивая, что бы такое красное, под видом флага, вывесить на воротах...

* * *

В вестибюль с улицы опять таскали ящики с военными припасами. Их уже как-будто было достаточно на случай осады, если бы нашлись желающие и способные пользоваться ими в момент опасности. Носили еще какие-то тюки с бумагами, папками, книгами.

— Что это такое?—спросил я у наблюдавшего за переноской их знакомого студента эсера.

— Это архив департамента полиции. Керенский велел перевезти сюда,—раз'яснил мне студент... Я смотрел на груды упакованных дел, как Гамлет на череп.

„Где твои ябеды, кляузы, крючки, взятки!“

* * *

Члены Исполнительного Комитета понемногу собирались в зале заседания Совета. Было необходимо отыскать удобное, по крайней мере, укромное место для работы Исп. Комитета. Я наметил для этого комнату № 13, кабинет председателя бюджетной комиссии, разделенный портьерой пополам. За портьерой, где был стол, кресла, телефон, можно было заседать,—переднюю же часть отвести под секретариат и строжайше воспретить вход посторонним. Я написал в этом смысле записку и повесил ее на двери—из залы советских заседаний в комнату № 13... Эту записку я видел потом висящей в течение многих недель, когда Исп. Комитет уже

давно перешел в другое место: на записку тогда, очевидно, так же мало обращали внимания, как и во время заседаний Исп. Комитета в этой комнате, за занавеской, куда непрерывно ломилась толпа, по делам «чрезвычайной важности»,—ломилась, прорывая фронт часовых и пресекая всякую работу Исп. Комитета.

Выдворяя посторонних из реквизируемого мною помещения, я увидел в советской, еще довольно пустой зале, М. Горького. Я, по обыкновению, обрадовался ему и был рад, что в эти минуты он пришел быть личным свидетелем всего происходящего в Таврическом Дворце.

Но Горький был не в духе. Он мрачно и односложно отвечал на вопросы, видимо, удрученный какими-то впечатлениями. Я не добился источников его скептицизма и пессимизма, но ясно—что-то ему очень не нравится во всем происходящем. Он толкнулся было в дверь 13-й комнаты, но только что поставленный часовой, молодой с интеллигентным видом гренадер, решительно пресек его попытку, и Горький ретировался.

— Знаете вы, товарищ, этого человека?—спросил я часового. Тот посмотрел внимательно и ответил:

— Нет... А что?—Когда я назвал Горького, впечатление было сильнее, чем я ожидал. Солдат, казался ошеломленным, ушедшим в созерцание и в самого себя...

Я много раз потом звал Горького в заседания советских организаций, указывая, что его участие в них, в некоторых подходящих случаях, имело бы значение не только для него самого. Но Горький оставался более чем равнодушен к моим призывам.

* * *

В советских комнатах было еще не видно большинства членов Исп. Комитета. Но я заметил несколько знакомых лиц писателей из разных партий, которые казались весьма полезными для советских «Известий». Мне хотелось, не теряя времени, принять меры к упорядочению и сформированию редакции. В качестве члена «литературной комиссии», я немедленно пригласил писателей на совещание в комнату № 13. Среди них был левый меньшевик—Ерманский, большевик (впоследствии «ново-жизненец») Авилов, с.-р. Зензинов

и еще несколько человек, не помню кто... Последовала характернейшая сцена.

Было ясно, что теперь, до поры до времени,—по крайней мере, пока в Совете не образуется определенно выраженного большинства,—надо образовать «к о а л и ц и о н н у ю» редакцию, равнодействующую Совета. Но нет! Из совещания не получилось ничего, кроме самой неприятной и самой наивной демонстрации партийного шовинизма.

Б. В. Авилов, отдавая дань большевистским вышибательным традициям, первый составил список редакции. Список этот игнорировал в полной мере, как всех присутствующих (вместе со стоящими за ними течениями), так и соотношение групп в Совете и в Исп. Комитете; между тем, это соотношение групп должна была так или иначе отражать редакция официального советского органа. Авилов предложил список из одних большевиков—с бору, да с сосенки.

Настроение немедленно повысилось и обещало провал начинания. Но и другие участники совещания, выражая свое недоумение, кипятясь и возмущаясь, делали практические предложения, немногим уступающие первому в своем шовинизме.

Я лично в этом совещании снял свою кандидатуру в редакцию «Известий» и впоследствии упорно отказывался от этой работы, единственный раз посетив собрание сотрудников «Известий» недели полторы спустя: впереди была организация «Новой Жизни» и редакционная работа в ней. Об этом мы в кружке «Летописи» поговаривали еще задолго до революции; вопрос о большой газете, с основным ядром «Летописи», был уже поставлен практически, и этой литературной работы, несравненно более интересной, было для меня достаточно...

Из нашего совещания, в конце концов, ничего не вышло, и вопрос о редакции «Известий» был решен официальными выборами, произведенными Исполнительным Комитетом через два или три дня.

* * *

Уже можно было открыть заседание Исполнительного Комитета. Не только все выборные члены его были

в сборе, но собрались и представители партий, которые должны были быть допущены в Исполнительный Комитет с решающим голосом.

Я должен теперь остановиться на составе этого первого Исполнительного Комитета, заложившего основы революции и державшего судьбу ее в своих руках в течение ее первых двух месяцев. Я считаю это тем более полезным, что и состав, и позиция, и роль этого первого руководителя политики революционной демократии большей частью совершенно превратно описывается и еще более превратно толкуется даже теми, кому все это ведать надлежит. Тем же, кто стоял достаточно далеко от тогдашних центров революции, все это просто-на-просто совершенно неизвестно.

Член этого самого Исполнительного Комитета (от партии трудовиков) Н. В. Чайковский, как-то заявил впоследствии, в период борьбы за «коалицию», в одной официальной речи:

— Положение дел запуталось потому, что с самого начала революция стала на ложный путь, а это произошло оттого, что вначале во главе ее стояли большевики

Так говорил председатель правого демократического крыла, и его мнение характерно для всего будущего руководящего советского большинства в период коалиции.

Но спросите об этом у большевиков. Они, во-первых, откажутся различать деятельность первого центрального советского учреждения от последующих (до самого октябрьского переворота), а во-вторых, они об'явят первый петербургский Исполнительный Комитет социал-предательским и мелко-буржуазным, соединяя все восемь месяцев, протекшие с марта до октября, в один «соглашательский» и «оппортунистский» период революции.

Ни то, ни другое мнение, ни мнение действительных выразителей мелко-буржуазной идеологии, типа Чайковского, ни мнение большевиков—не имеют ни тени правдоподобия. — Деятельность первого Исполнительного Комитета мне предстоит довольно подробно описывать в первых двух книгах моих записок. Но о физиономии этого учреждения может дать понятие и самый его состав, избранный на первом заседании Совета

27-го февраля и дополненный представителями партийных демократических организаций.

По избранию Совета, в Исполнительный Комитет, как мы знаем, входили прежде всего члены президиума, думские депутаты:—Керенский, Скобелев и Чхеидзе,—и секретари: — Гвоздев, Гриневич-Шехтер, Панков и Соколов; а затем следующие восемь человек (в алфавитном порядке): — Александрович-Дмитревский, Беленин-Шляпников, Капелинский, Павлович-Красиков, Петров-Залуцкий, Стеклов-Нахамкес, Суханов-Гиммер, Шатров-Соколовский.

На первом месте каждого двойного имени здесь указан псевдоним, под которым его владелец был так или иначе известен в общественной или литературной работе и под которым он был избран в Исполнительный Комитет.

Эти «псевдонимы» и «анонимы», как известно, вскоре явились благодарным источником травли руководителей Совета. Буржуазная печать довольно дружно стала играть на том, что демократией, а затем чуть не Россией, правит неизвестно кто,—какие то, быть может, весьма темные и во всяком случае никому не известные лица, стоящие за спиной советской массы. Прием не новый и хорошо испытанный шакалами реакции! Во время парижской Коммуны то же самое проделывала версальская пресса с «анонимами», с «центральным комитетом» федеральных батальонов...

Наша почтенная пресса «обеих столиц» отмечала все неприличие псевдонимов, сокрытия имен и такого «безответственного» положения людей, взявших на себя огромное и ответственное общественное дело. По существу, эти указания были совершенно правильны. Но в основе такого положения дел не было решительно никакого злого умысла со стороны членов Исполнительного Комитета. Партийные клички и литературные псевдонимы при царском режиме вызывались очевидной необходимостью. После революции они в первое время были в ходу по той простой причине, что их так или иначе знали в более или менее широких кругах, а официальных имен из паспортов часто решительно никто не знал.

Что касается желания укрыться за псевдонимами, то, может быть, в самый первый момент кем-либо и ру-

ководило чувство осторожности перед лицом возможного разгрома революции силами царской реакции в ближайшие же дни. Но, конечно, главным стимулом и здесь была застарелая привычка каждого называться знакомым псевдонимом в каждом общественном деле. А затем, в последующие дни, заниматься этим пустяком просто никому не приходило в голову. Всем было совершенно не до того, и никто не видел никакого интереса в том, чтобы афишировать свои имена и во всеуслышание сообщать о себе сведения, хотя бы в пределах старого полицейского паспорта.

Но я свидетельствую, что никто никогда не скрывал активно своих официальных имен. Кто ими интересовался, всегда мог узнать и опубликовать любое имя. В тот же момент, как только грязная игра на этом буржуазно-бульварной прессы обратила на себя внимание,— все имена, вместе с псевдонимами, были опубликованы в «Известиях» по постановлению Исполнительного Комитета. Дело то, однако, в том, что правые газеты того времени именно для этой игры сознательно хранили эту видимость «закулисных тайн» в советских организациях; они на деле совершенно не интересовались нашими именами.

Здесь следует отметить, в частности, «модус», усвоенный буржуазно-бульварными журналистами, издававшими в первые дни, когда не было другой прессы, вышеупомянутый листок под названием «Известия». Эти господа, конечно, всецело предоставили себя в распоряжение Думского Комитета, служили рупором «прогрессивного блока», подбирая информацию в критический момент самым тенденциозным способом, бегая за всевозможными нечленораздельными представителями «правого крыла», рекламируя их напропалую, как соль земли и первых носителей знамени революции; все же левое крыло, всю советскую деятельность, советские организации и, в частности, советских руководителей, эти слуги бульвара и толстой сумы совершенно игнорировали, а скорее бойкотировали, ограничиваясь самыми необходимыми сведениями, без которых «нельзя было выйти» газете... Всю перспективу событий, все существовавшие отношения, они, конечно, совершенно этим искажали, а потом в созданной ими же картине искали материала для

помоев и бесчестной борьбы против Совета и демократии...

В описываемое утро, к перечисленным выборным членам Исполнительного Комитета присоединились представители партий. Они явились не все сразу; некоторые приняли участие в заседаниях только на другой день, а иные, через несколько дней, не помню в точности — когда именно. Но большинство было налицо уже 28 февраля.

Это были большевики: Молотов-Скрябин, а затем— Сталин-Джугашвили; бундисты Эрлих и Рафес, через несколько дней замененный Либером; меньшевики— Богданов и Батурский; трудовики—Брамсон и Чайковский (которого заменял Станкевич); с-ры Н. С. Русанов и В. М. Зензинов; н. с. А. В. Пешехонов и Чернолусский; с.-д. «междурайонец» (организация, впоследствии слившаяся с большевиками) И. Юренев; от латышской с.-д-ии—неразлучные Стучка и Козловский.

Может быть, я кого-либо и пропустил, а также может быть и несколько прибавил—в том смысле, что представители народнических партий в полном составе собирались в заседание крайне редко, и правое крыло Исполнительного Комитета не было так сильно, как это может дать впечатление простой перечень приведенных имен.

* * *

Теперь надо сказать о самом существенном—о соотношении течений внутри первого Исполнительного Комитета.—Несмотря на то, что при выборах его членов на первом заседании Совета никак нельзя отрицать солидной доли случайности, все же надо отметить здесь следующее обстоятельство: «выборная» часть Исп. Комитета была гораздо более левой и состояла в своем подавляющем большинстве из представителей циммервальдского течения. Правую же, оборонческую часть, не имевшую значительного веса вначале, но получившую впоследствии руководящее значение в революции, составляли представители партий, командированные в Исполнительный Комитет их центральными учреждениями.

Что касается президиума, входившего в состав Исполнительного Комитета, то Керенский немедленно ото-

рвался от Совета, улетел в правое крыло дворца, а затем сменил Таврический Дворец на Мариинский и на Зимний, и, появляясь в Исполнительном Комитете лишь в особых случаях (всего два-три раза), в его работе совершенно не участвовал. Члены же думской с.-д. фракции, вошедшие в президиум—Скобелев и Чхеидзе, в течение первого периода революции, упорно занимали позицию самого типичного и непроходимого болота,—пока с образованием прочного—с-ровско-оппортунистского, мужицко-солдатского большинства не пошли на поводу у его фактических лидеров. Об этом речь будет дальше.

Из остальных двенадцати членов Исп. Комитета, избранных в ночь на 28 февраля—четверо:—Гриневич, Капелинский, Панков (рабочий) и Соколовский—были членами меньшевистской организации и принадлежали к ее левому, циммервальдскому крылу, возглавляемому Мартовым; все трое вошли впоследствии в обособленную группу «меньшевиков-интернационалистов».

К этим троим вполне примыкали и во всех политических вопросах, стоявших перед Исполнительным Комитетом, составляли с ними единую группу—Соколов, Стеклов и Суханов, бывшие тогда (организационно) вне всяких фракций.—Из них впоследствии Соколов примкнул к руководящему «соглашательскому» большинству, оставаясь на его левом крыле. Стеклов, после долгих шатаний по группам, между оборонцами и большевиками, с октябрьской победой большевиков, примкнул окончательно к ним. Я же вошел формально в группу меньшевиков-интернационалистов в мае, вскоре после приезда из-за границы Мартова, незадолго до первого (июньского) советского с'езда.

Перечисленные семь имен составляли уже большинство выборных членов. К ним слева примыкал Павлович-Красиков, ставший формально большевиком лишь незадолго до октябрьского переворота. А дальше налево шли большевики—Шляпников и Залуцкий и с.-р. Александрович.

Правую Исполнительного Комитета из «выборных» представлял один махровый оборонец Гвоздев. Но он составлял одну группу с большинством партийных представителей, питавших главным образом праву Исполнительного Комитета. Однако, и тут на пра-

вых народников и меньшевиков (с бундовцами) приходилось двое большевиков, двое латышей и один «междурайонец».

В результате—циммервальдским течениям в первом Исполнительном Комитете было бы обеспечено совершенно прочное и устойчивое большинство, еслибы на другой же день, 1 марта, состав его не был разбавлен представителями вновь образованной «солдатской секции» Совета в количестве девяти человек. В огромном большинстве своем эти люди не имели определенной политической физиономии и при первых шагах революции представляли собой болото. При образовании эсеровского большинства, большая часть их примкнула к нему, тяготея к «крестьянской партии»... Вначале же эти девять солдат делали зыбкой почву под левым большинством; но центра тяжести Исп. Комитета они не перемещали и физиономии его не изменяли.

Как и в чем именно проявлялись течения внутри первого Исп. Комитета—об этом будет речь в дальнейшем, при описании его работы, вообще, и обсуждении в нем отдельных вопросов, в частности. Но надо сказать, предвосхищая дальнейшее изложение, что в первые недели революции борьба партий в Исполнительном Комитете проявлялась сравнительно слабо, а течения сформировались, и линии их разошлись далеко не сразу.

На первых порах, когда большую часть времени приходилось отдавать борьбе с остатками царизма и закреплению революции, Исполн. Ком. работал замечательно дружно, и при голосованиях, а также и при выборах в разного рода комиссии,—комбинации голосующих и кандидатов были часто совершенно случайны и крайне прихотливы.

Бросается в глаза еще одно свойство первого Исполнительного Комитета: он был довольно жалок по своему личному составу. В первые недели революци в него не входил ни один из признанных лидеров социалистических партий и будущих центральных фигур революции. Одни из них были в ссылке, другие—за границей.

Впрочем, в скором времени руководителям Исп. Комитета, начинавшим революцию, пришлось оказаться в меньшинстве и перейти в оппозицию. Руководящие роли

были уступлены старым и заслуженным лидерам партий. Но это были уже представители иных течений, повернувшие по-своему советскую политику. Сомнительно, что революция что-либо выиграла, сменив скромных кукушек на блестящих ястребов...

* * *

Заседание Исполнительного Комитета открылось уже около 11 часов. У меня осталось такое впечатление, что его работа в первые дни была почти непрерывной во все часы суток. Но что это была за работа! Это были не заседания, а бешеная изнурительная скачка с препятствиями...

Порядок дня был установлен примерно так, как это было указано выше, в соответствии с неотложными нуждами момента. Но не могло быть и речи,—ни в это заседание, ни в ближайшие дни вообще,—о выполнении какой либо программы работ.

Через каждые 5—10 минут занятия прерывались «внеочередными заявлениями», «экстренными сообщениями», «делами исключительной важности», «нетерпящими ни малейшего отлагательства», «связанными с судьбой революции» и т. д. Все эти внеочередные дела и вопросы поднимались большею частью самими членами Исп. Комитета, которые получали какие-нибудь сведения со стороны, либо были инспирированы людьми, осаждавшими Исполнительный Комитет. Но сплошь и рядом в заседание врывались и сами просители, делегаты, курьеры всевозможных организаций, учреждений, общественных групп и просто близ находящейся толпы.

В огромном большинстве случаев все эти экстренные дела не только не стоили перерыва работ, но не стоили, вообще, выеденного яйца. Правильное выполнение намеченной программы Исполнительного Комитета было бы, конечно, несравненно важнее для хода революции, ибо она и составлялась применительно к основным нуждам момента. Через несколько дней я лично начал упорную (но довольно бесплодную) борьбу с этими внеочередными делами, бывшими явным бичом работы. Но в первые дни эта борьба была бы не только бесплодна, а и рискованна—в виду совершенно непредвиденных опасностей, отовсюду грозивших перевороту и требовавших

немедленного вмешательства авторитетных органов демократии.

Я не помню, чем занимался в эти часы Исполнительный Комитет. Помню только невообразимую кутерьму, напряжение, ощущение голода и досады от «исключительных сообщений». Никакие преграды не действовали.

Один журналист, правый с.-д. (кажется, из «Дня») предложил взять на себя секретарские обязанности и утвердился было в первой половине 13-й комнаты, сдерживая напор посетителей и пытаясь разбирать их требования. Но из этого ничего не вышло. Вскоре он сбежал, и в первый день Исполнительный Комитет не имел никакого подобия делопроизводства.

Не было порядка и в самом заседании. Постоянного председателя не было. Чхеидзе, исполнявший потом председательские обязанности почти бессменно, в первые дни довольно мало работал в Исполнительном Комитете. Его ежеминутно требовали — или в Думский Комитет, или в заседания Совета, а больше всего «к народу», к толпе, непрерывно стоявшей и сменяющейся перед Таврическим Дворцом. Он говорил, почти не переставая, и в Екатерининской зале, и на улице,—то перед рабочими, то перед воинскими частями. Едва успевал он вернуться в заседание Исполнительного Комитета и раздеться, как врывался делегат с категорическим требованием Чхеидзе, иногда подкрепляемым даже угрозами,—что «толпа ворвется». И усталый старик, сонный грузин, с покорным видом снова натягивал шубу, надевал шапку и исчезал из Исполнительного Комитета.

Не было еще и постоянного секретаря, и не велось никаких протоколов. Если бы они велись и сохранились, то за эти часы они не содержали бы никаких «мероприятий» и «государственных актов». Они не отразили бы ничего, кроме хаоса и «внеочередных сообщений» о всевозможных опасностях и эксцессах, с которыми мы не имели средств бороться. Сообщали о грабежах, пожарах, погромах, приносили погромные черносотенные листки— увы, написанные от руки и весьма малограмотные... Мы делали распоряжения, не расчитывая, что они будут исполнены, посылали охранительные отряды, не надеясь, что они, действительно, сформируются и сделают свое дело.

Не помню, кто председательствовал на этом заседании, был ли, вообще, председатель. На письменном столе бывшего председателя бывшей бюджетной комиссии откуда-то появились оловянные кружки с чаем, краюха черного хлеба, еще какая-то еда. Кто-то о нас позаботился. Но еды было мало, или просто приступать к ней было некогда. Ощущение голода осталось в памяти...

* * *

В соседней зале становилось шумно. Собирался Совет, при чем в комнату 12-ую, конечно, просачивались всякие элементы, желавшие приобщиться к революции... Ни мандатная комиссия, расположившаяся в комнате 11-й, ни часовые, ни добровольцы-церберы не могли ничего поделать с толпой, ломившейся с улицы во дворец и из Екатерининской залы в комнату заседаний Совета.

Членов Исполнительного Комитета ежеминутно вызывали всевозможные делегаты от самых неожиданных организаций и групп, требовавших допущения их в Совет Рабочих Депутатов. Все хотели быть участниками переворота и слиться с основным ядром революционной демократии. Приходили почтово-телеграфные чиновники, учителя, инженеры, земские и городские служащие, представители врачей, адвокатов, «офицеров-социалистов», артистов—и все считали, что их место в Совете.

Несомненно, более сознательные представители буржуазной интеллигенции тяготели и тянули направо, в сторону Думского Комитета. Эти элементы несомненно чувствовали, что Совет Рабочих Депутатов — это источник «двоевластия», быть может, «анархии» и лишь «помеха» в завоевании «свободного» строя, который взялись насадить Гучков и Милюков.

Но интеллигентские массы охватил «революционно-демократический» энтузиазм; все обыватели и бывшие люди, как в 1905 году, мгновенно стали «социалистами», и среди них образовалась непреодолимая стихийная тяга к Совету... Как характерный симптом, здесь стоит вспомнить хотя бы те фимиамы, которые в первом же вышедшем нумере «Речи» воскурил в честь Совета махровый монархист Е. Н. Трубецкой...

Популяризации Совета, конечно, способствовало и то, что фактическая власть, или, вернее, реальная сила,

находилась в его руках,—поскольку какая-либо власть тогда, вообще, существовала, и это было ясно каждому обывателю.

Формально власть принадлежала Думскому Комитету, который проявлял не малую деятельность, который быстро распределил ведомства и функции между депутатами «прогрессивного блока», плюс «прогрессисты» *) и, что крайне характерно, трудовики (Дзюбинский, Вершинин и др.). Кроме того, Думский Комитет в течение ночи и дня 28-го успел издать целый ворох декретов, назначений, распоряжений, воззваний. Но это была лишь бумажная — или, если угодно, «моральная» власть; она имела авторитет для всех «государственных» и «благомыслящих» элементов; она служила довольно надежным прикрытием от царистской контр-революции; но она в эти часы кризиса, в часы конвульсий еще совершенно не могла управлять государством. И, в частности, она не имела никакой реальной силы для очередной «технической» задачи—водворения порядка и нормальной жизни в городе.

Если кто-либо располагал для этого средствами, то это был Совет Рабочих Депутатов, который начинал овладевать и располагать рабочими и солдатскими массами. Всем было ясно, что в распоряжении Совета находятся все наличные (какие ни на есть) рабочие организации, что от него зависит пустить в ход стоявшие трамваи, заводы, газеты и даже водворить порядок, избавить обывателя там и сям от эксцессов при помощи формировавшихся дружин.

Несомненно, если «сознательные» буржуазно-интеллигентские группы были всецело на стороне единовластия Думского Комитета, то нейтральная интеллигентская обывательщина и весь третий элемент тяготел тогда к Совету Депутатов. И представители их, не разбирая никаких прав и норм представительства, ломились в залу заседаний...

Я лично принял в этот день длинный ряд такого рода делегаций и, не имея для руководства никакой конституции, не имел ни сил, ни оснований отказать в до-

*) „Партии прогрессистов", как известно, незадолго до переворота выделилась из „прогрессивного блока".

пущений в Совет всякого рода делегатам, горевшим первым революционным жаром. Другие члены Исполнительного Комитета и сама наша мандатная комиссия— поступали так же. И в результате, через несколько дней число членов Совета достигло гомерической и абсурдной цифры, чуть ли не в 2.000. Это причинило не мало забот, затруднений и неприятностей Исполнительному Комитету, которому надлежало установить правильную организацию Совета и правильное представительство в него...

* * *

Надо отметить и другую характерную черту. А именно, мне—члену Исп. Ком.—до сих пор совершенно неизвестно, чем занимался Совет в течение этого дня. И неизвестно потому, что я не интересовался этим—ни в те часы, ни после. Не интересовался же я потому, что было очевидно: вся практическая центральная работа легла на плечи Исполнительного Комитета. Совет же в этот момент, в данной обстановке, при данном его количественном и качественном составе был явно не работоспособен—даже как парламент, и выполнял лишь моральные функции.

Исполнительный Комитет должен был всецело выполнить и всю текущую работу и осуществить государственную программу. «Провести» через Совет эту программу было очевидной формальностью,—во-первых; а во-вторых, эта формальность была не трудной, и никто о ней не заботился. Такое сознание незаметно, но быстро проникло во всех членов Исполнительного Комитета, и мы отдались своей работе, почти не обращая внимания на то, что делалось в соседнем зале. Кого-то отослали для «представительства» и руководства—кажется, Соколова. Остальные же почти в полном составе выходили из-за занавески и из комнаты 13-й—к толпе, к делегациям, по разным текущим делам, от которых голова шла кругом, но не в заседание Совета. Через его залу проходили, но в ней не задерживались...

— А что в Совете?—спросил я, помню, кого-то вышедшего за занавеску. Тот безнадежно махнул рукой:

— Митинг! говорит кто хочет и о чем хочет...

Мне случилось несколько раз проходить через залу

заседаний. Вначале картина напоминала вчерашнюю: депутаты сидели на стульях и скамьях, за столом, внутри «покоя» и по стенам; между сидящими, в проходах и в концах залы, стояли люди всякого звания, внося беспорядок и дезорганизуя собрание. Затем толпа стоящих настолько погустела, что пробраться через нее было трудно, и стоящие настолько заполнили все промежутки, что владельцы стульев также бросали их, и весь зал, кроме первых рядов, стоял беспорядочной толпой, вытягивая шеи... Через несколько часов стулья уже совсем исчезли из залы, чтобы не занимали места, и люди стояли, обливаясь потом, вплотную друг к другу; «президиум» же стоял на столе, причем на плечах председателя висела целая толпа взобравшихся на стол инициативных людей, мешая ему руководить собранием. На другой день, или через день, исчезли и столы, кроме председательского, и заседание окончательно приобрело вид митинга в манеже...

Говорили о том, чтобы перенести Совет в зал думских заседаний. Но там, на хорах, были арестованные охранники и «фараоны».

Когда на четвертый или на пятый день их перевели в более подходящие места или распустили по домам, то Совет уже так разросся, что «белый зал» не мог вместить его в полном составе: там происходили лишь заседания солдатской и рабочей секций Совета.

* * *

Раза два или три я заглядывал в «военную комиссию», едва пробираясь сквозь густую толпу, заполнявшую весь дворец. Исполнительный Комитет, в полном составе, конечно, не мог присутствовать в «военной комиссии» и отрядил туда трех своих представителей, обязав их там работать и наблюдать. В числе их был я, но я не удержался там, отвлекаемый другими делами и свалив на других «военную комиссию».

Ее помещение было набито битком. Теперь в большинстве были офицеры разных частей, толпившиеся в праздности, не зная, что делать, но сохраняя деловой, торжественный и боевой вид. В недрах помещения—за столом по-прежнему бессменно сидел Филипповский, а около него Пальчинский, Мстиславский, Добраницкий.

По прежнему их дергали во все стороны, а они распоряжались — без надежды на результаты своих распоряжений.

Командный состав возвращался к полкам — возвращался компактными пачками. В этом были признаки улучшения ситуации. На огромную часть возвращавшихся офицеров, разночинных прапорщиков можно было расчитывать при столкновении с царскими войсками. Но дело в том, что полки не возвращались к командному составу и не становились под начало офицеров. На солдат нельзя было расчитывать, и в этом смысле улучшения не было.

Однако, в общем, положение не только улучшалось, но становилось очевидным, что опасность разгрома революции рассеивается, как дым, с каждым часом, и что победа ее обеспечена. Новые полки приходили и приезжали в Петербург один за другим, и те из них, которые, под командой офицеров, шли с агрессивными намерениями, — или распылялись или переходили к народу и становились безопасными для революции при первом малейшем прикосновении к красной столице. Здесь было спасение—в отсутствии сил у царизма, рассыпавшегося как карточный домик. У революции же—реальной военной силы попрежнему еще не было и не появлялось.

Сообщили, что солдаты, составлявшие гарнизон Адмиралтейства, где отсиживались царские министры,— наскучив долгим неопределенным положением, поравдумав как следует,—в интересах безопасности, разбрелись кто куда попало. Министров же, одного за другим (также, пожалуй, в интересах их безопасности) стали свозить в Таврический Дворец.

* * *

В одно из моих посещений правого крыла, часу в четвертом, я наткнулся, в начале правого корридора, у кабинета Родзянки, на группу арестованных царских сановников. Они стояли у стены, сбившись в тесную кучку, окруженные вооруженными людьми. На них наседала толпа довольно агрессивно настроенных солдат, бросавших враждебные замечания. Волком смотрел Курлов. Он был бледен, но, видимо, владел собой, озираясь и прислушиваясь к замечаниям—не то с большим инте-

ресом, не то с вызывающим видом... За то крайне неприятное впечатление производил Штюрмер, с видом виноватой собаки, с дрожащей челюстью, в полной панике и растерянности. Других вчерашних вершителей судеб я в лицо не знал, и кто это были—не помню.

Их надо было отвести в министерский павильон, пройдя довольно длинный путь сквозь враждебную и притом вооруженную толпу. Расчитывать на безопасность пленников было можно, но обеспечить ее было никак нельзя: охрана конвойных, самочинно арестовавших и доставивших ненавистных правителей в Таврический Дворец, была совершенно ненадежна. Отряд все же тронулся.

Во главе его оказался мой знакомый «прапорщик», бывший сотрудник «Современника» и будущий член Исполнительного Комитета и Центрального Исполнительного Комитета, трудовик-педагог Знаменский, обладавший неожиданно огромным голосом:

— Не сметь трогать! — крикнул он, открывая шествие, во все свое могучее горло. Толпа расступилась и послушно стала по сторонам, злобно поглядывая на невиданную арестантскую партию... Она была благополучно доведена до министерского павильона, а потом до Петропавловки.

Я подумал о том, что труднее будет уберечь Сухомлинова, о котором постоянно спрашивали в толпе и против которого возбуждение было особенно сильно. Но и Сухомлинова уберегли от самосуда и участи Духонина...

Я побежал дальше.

* * *

Было необходимо обслужить одну важнейшую отрасль возникающего советского хозяйства—типографию. Еще накануне, вечером, В. Д. Бонч-Бруевич, при помощи каких-то добровольческих сил, занял типографию «Копейка», на Лиговке, где и были выпущены «Известия». Это одна из лучших типографий в Петербурге, которую надо было удержать для Совета на эти дни. Бонч-Бруевич поставил там кое-какую охрану, собрал кое-каких рабочих. Но не было ни б ю д ж е т а, необходимого для заработной платы, ни п р о д о в о л ь с т в и я,

ни безопасности. Рабочие разбегались, и Совет, в решающий момент, мог оказаться без основного орудия воздействия на население.

В Исполн. Комитет Бонч-Бруевич сначала прислал записку, составленную в самых решительных выражениях, а затем явился и сам—с требованием обеспечить типографию денежными средствами, продовольствием и вооруженной охраной. Меня отрядили устроить это дело с Бончом, и мои хождения по этому делу могли бы дать понятие об условиях работы в Исполнительном Комитете, в эти первые часы революции.

Бюджета и денежных средств не было никаких; но они должны были быть, и я дал Бонч-Бруевичу carte blanche по части условий с рабочими. Но надо было снабдить типографию провизией на 100 человек рабочего персонала и охраны, с тем, чтобы рабочие были при типографии неотлучно. Это было необходимо, по словам Бонч-Бруевича, утверждавшего, кроме того, что на «Копейку» готовится вооруженное нападение со стороны черной сотни.

Дело снабжения продуктами надо было передать в продовольственную комиссию. Но кого послать? А если найдется доброволец, то где ручательство, что он добьется до цели, что его послушаются, что дело будет обеспечено?.. Не было бланков для требований; не было известно, к кому именно обратиться. Было сомнительно, известны ли имена членов Исполнительного Комитета, и убедительно ли будет самое его имя для тех, кто поставлен продовольственной комиссией фактическим выполнителем нарядов? Имеется ли, наконец, в наличности провизия и средства переправить ее?.. Во всяком случае, приходилось идти самому—оставить на неопределенное время заседание и, работая локтями что есть сил, продираться сквозь непролазные толпы по бесконечным корридорам, со сквозняками, с полом, покрытым скользкой жижей, к складам провианта, заготовленным во дворце продовольственной комиссией.

Больше всего отравляло сознание неправильно употребляемого и безвозвратно расходуемого времени. Но утешала мелькавшая мысль, что иначе и нельзя, что иначе и быть не могло...

После долгого мучительного странствования я добрался до помещений близ кухни, где, осаждаемый толпой неизвестный человек удовлетворял требования на продукты по собственному усмотрению и разумению. После многих попыток привлечь его внимание, после бесконечных увещаний, просьб, которыми дергали распределителя со всех сторон, среди окружавшего вавилонского столпотворения, я добился выполнения моего наряда, но... за счет моих собственных транспортных средств. Я получил лишь «ордер» и заявление, сделанное уже раньше афинянами Ксерксу в ответ на его требование «земли и воды». Мне было заявлено:—«приди и возьми». Перед лицом нескольких пудов груза я явно рисковал оказаться в положении Ксеркса.

Еще по дороге, услышав в толпе случайный разговор, я остановил незнакомого мне, но любезного человека, говорившего о том, что в его распоряжении имеется автомобиль. Я «с'агитировал» его, убедив его в крайней необходимости обслужить дело печати, и он обещал доставить в типографию продовольствие. Мы условились, что он будет ждать меня в определенном месте, куда я должен принести ему ордер через неопределенное время... Все это было почти безнадежно—в атмосфере давки, неразберихи и всеобщей издерганности массой огромных впечатлений и мелких дел. Но это был единственно-возможный способ работы.

Не знаю, блуждал я час или больше. Но как это ни странно, я все же нашел этого человека в условленном месте, вручил ему ордер, и он взялся выполнить дело, захватив с собой в автомобиль для охраны двух-трех вооруженных людей... Вопрос теперь был только в том, хватит ли у него терпенья добиться чего следует по ордеру, найдет ли он на месте свой автомобиль и не случится ли чего по дороге. Как это ни странно, но продовольствие было, в конце концов, доставлено в типографию...

Но Бонч-Бруевич не ручался за нее без надежной охраны человек в 40, при помощи которых он намеревался осуществить в типографии «железную диктатуру» (и, действительно, терроризировал чуть не весь квартал, расставив караулы, даже с пулеметами, и изрядно «пересолив» подобно чеховскому герою)... Надо было по-

слать отряд, точнее,—создать гарнизон для типографии. Эта задача была значительно сложнее.

Я стал продираться в «Военную Комиссию». В некоторых пунктах цепи часовых не пропускали, отсылая в те пункты, где требовали какие-то пропуски, неведомо кем выдаваемые и предварительно не розданные членам Исполнительного Комитета. Вместе с давкой, голодом, усталостью, сознанием нелепости подобной «работы», все это мучительно раздражало...

Продравшись с грехом пополам, с великим трудом в недра военной комиссии, я, с неменьшим трудом, заставил выслушать себя кого-то из начальствующих лиц, раздираемых на части мелкими, ненужными и неосуществимыми делами. Наконец, я «с'агитировал» начальствующее лицо и убедил его в важности моего дела для всего хода революции. Но начальствующее лицо ничего не могло поделать. Оно «приказало» одному из толпившихся офицеров принять начальство над типографским гарнизоном и отправиться туда немедленно, потом «приказало» другому-третьему. Никто не повиновался, ссылаясь на что попало, на специальные миссии, на отсутствие людей, на более важные дела и т. д.

Было ясно: надо «агитировать» самому, и я принялся за это, махнув рукой на военное начальство, на этот единственный штаб, единственную «реальную силу» революции. После долгих поисков я напал на какого-то поручика или капитана зрелых лет и скромного вида, который согласился быть военным командиром типографии. Но этот «капитан Тимохин» (из «Войны и мира»), как я немедленно окрестил его, подобно прочим офицерам, не имел решительно никого в своем распоряжении. И было ясно, что собственными силами этот почтенный, но не расторопный человек никакого отряда себе не добудет.

Теперь, составляя для него отряд, приходилось вести уже не индивидуальную агитацию среди «сознательных», а «массовую» среди серых и непонимающих. Я счел для себя это дело безнадежным или, по крайней мере, уж черезчур длительным. Я отправился на поиски Керенского, единственного человека, способного решить дело одним ударом, одним агитационным выступлением перед солдатами, в Екатерининской зале... Но надо бы-

ло, во-первых, его найти, во-вторых, оторвать, в-третьих «с'агитировать».

После новых мытарств я нашел его в аппартаментах думского Комитета, в глубине правого крыла. Там были фундаментальные заграждения, которые пришлось преодолеть, и я добился Керенского, бросавшегося и метавшегося из стороны в сторону, в стремлении обслужить и обнять всю революцию, и не в состоянии сделать для нее что-либо реальное, а лишь одно «моральное»... Около него тесно сгрудилась толпа из всякой демократии и буржуазии, дергавшая его за пуговицы и фалды и перебивавшая друг друга. Было очевидно, что он в полной власти таких же мелких текущих дел, без малейшей возможности ухватить и обслужить основные пружины стратегической и политической ситуации. Было очевидно, что я нахожусь не только в необходимости, но в полном праве занять его своим типографским делом.

Взяв его, как другие, за пуговицу, я изложил ему дело тоном, не допускавшим возражений, не жалея самых громких слов о «судьбе революции». Он вслушался, немедленно согласился, сорвался с места и, расталкивая толпу, помчался в Екатерининскую залу, к солдатам, держать одну из бесчисленных речей и составлять гарнизон для типографии. Я едва успел указать ему на капитана Тимохина, который полетел за ним. Я же оставил их и обратился к дальнейшим очередным делам такого же рода и выполнял их такими же методами.

Потом оказалось, что гарнизон все же был сформирован, и «капитан Тимохин» потом чуть ли не через несколько недель встречался мне в типографии, где он мирно жил и мирно «командовал» гарнизоном, «охраняя» цитадель революции, получая «почти регулярно» продовольствие и благодаря свою судьбу...

Так приходилось работать и выполнять технические функции в первые несколько дней, пока понемногу, из ничего, не была создана огромная машина и более или менее правильная организация... Уже теперь—перед портьерой, в комнате Исполнительного Комитета и в комнате 11-й, где собрались наши жены и домочадцы, жаждавшие участия и требовавшие поручений,—уже теперь начали о чем-то трещать откуда-то появившиеся машинки.

* * *

Я вернулся в заседание Исполнительного Комитета. Туда продолжали поступать сведения об эксцессах и требования немедленной помощи, содействия, воздействия. Но было все же ясно, что охрана революционного порядка налаживается—силами и самодеятельностью районов. Организм города, предоставленный самому себе, так или иначе вырабатывал лейкоциты и, стряхнув с себя кандалы царизма, заживлял сам свои раны, полученные от встряски и борьбы... К тому же, насилия и эксцессы происходили почти исключительно по отношению к полиции, ее личному составу и ее учреждениям, а также по отношению к действительным ненавистным врагам народа и революции. Поступавшие истерические заявления о разгроме церквей, дворцов, академии наук и т. п.,—оказывались, вообще говоря, фикцией и ложной тревогой.

Советский «митинг» все еще продолжался, все еще жарко говорили,—не знаю, о чем. Настоящие митинги, на которых появлялись Чхеидзе, Керенский, депутаты правого крыла,—происходили во всех концах переполненного дворца и вокруг него, во дворе и сквере, посреди пыхтевших и молчавших неизвестно чьих автомобилей, солдатских костров, одиноких пушек и пулеметов...

Была в этот день еще такая ложная тревога. Часу в пятом во дворе раздался ружейный выстрел, или два, —довольно обычное и ныне никого не беспокоющее явление. В набитом битком зале Совета произошла довольно постыдная паника. Мгновенно по тысячной толпе пронеслось привычное «казаки!»... Откуда они могли вдруг взяться перед дворцом, и почему не слышно ничего похожего на перестрелку—никто себя не спрашивал. Одни депутаты полегли на пол, другие бросились бежать—неизвестно куда. Начиналась свалка. Помог Чхеидзе, вскочивший на стол и свирепо прокричавший несколько высокопарно-никчемных слов, усовестивших и успокоивших толпу.

Я, однако, не был свидетелем этого. Я в это время был в «Военной комиссии», где суетился и Керенский.

Комната 41-я выходила окнами в сквер, представлявший прежнюю картину—беспорядочной чересполосицы солдат, пушек, лошадей, пулеметов и всякого штатского люда. Когда раздались выстрелы, толпа офицеров и других военных, наполнявшая комнату, не полегла на пол и не бросилась бежать, но признаки паники и смятения были налицо и здесь. Никто не знал, что надо делать, где его место, как защищать революцию и ее цитадель—Таврический дворец.

Никаких сомнений не могло быть: если бы то были действительно казаки или какая либо нападавшая организованная часть, хотя бы численно до смешного ничтожная,—то никакого спасения ни откуда ждать было нельзя, и революцию взяли бы голыми руками.

Любопытен был Керенский, который решительно ничего не мог бы поделать в случае действительной опасности, но который в данной обстановке, пожалуй, сделал все, что было ему доступно. Его поведение в этом инциденте было бы, пожалуй, и правильно, если бы не было немножко смешно. Характерна терминология его выступления (задатки будущего!), которую я, с ручательством, передаю буквально.

Как только раздались выстрелы, Керенский бросился к окну, вскочил на него и, высунув голову в форточку, прокричал осипшим, прерывающимся голосом:

— Все по местам!.. Защищайте Государственную Думу!.. Слышите: это я вам говорю, Керенский... Керенский вам говорит... Защищайте вашу свободу, революцию, защищайте Государственную Думу! Все по местам!..

Но на дворе также была паника, все были заняты выстрелами. Никто, кажется, не слушал Керенского, или слышали очень немногие. Во всяком случае, никто не шел «по местам» и никто не знал их. А неприятель не показывался, никто не нападал, никто никого не пугал, кроме самих испугавшихся...

Одновременно с Керенским я вскочил на другое окно и из форточки оглядывал, что можно было видеть... Было ясно, что тревога ложная, что выстрелы случайны — вернее всего из неопытных рук рабочего, впервые коснувшегося винтовки. Было смешно и немного неловко. Я подошел к Керенскому.

— Все в порядке,—заметил я негромко, но довольно слышно в наступившей тишине.—Зачем производить панику, бо́льшую, чем от выстрелов...

Я не расчитывал на результат этого замечания. Керенский, стоя посреди комнаты, рассвирепел и громко раскричался на меня, нетвердо выбирая слова:

— Прошу каждого... выполнять... свои обязанности и не вмешиваться... когда я делаю распоряжения!..

— Совершенно верно!—услышал я кем-то брошенное одобрительное замечание.

Я усмехнулся про себя и во всеуслышание извинился с самым серьезным видом. Дисциплина и организация были нужны, как воздух. Имеяй уши слышати Керенского—хотя бы и смешного, да слышит—и не смеется.

Кто и почему стрелял—мне так и неизвестно... Нет! чувствовалось, что опасности для революции со стороны военных сил царизма уже не было. Острота общего положения смягчалась ежеминутно. — Получились сведения, что Москва уже «присоединилась», и переворот уже совершен там, при участии гарнизона, легко и безболезненно...

Полная победа была почти в руках. Революцию можно было теперь погубить изнутри, запустив анархию, дезорганизацию, не справившись с продовольствием. Но чувствовалось, что старым обессиленным врагам уже не разгромить ее.

Россия свободна, самодержавия нет, Петропавловки нет, охранки нет, нелегального положения нет, ничего старого нет, впереди все совсем иное, незнакомое, удивительное,—мелькало в голове среди текущих микроскопических и «пошлых» дел, казалось, не имеющих никакого отношения к великой победе народа... Да ведь это все феерия, это все вздор, это все сон,—чудилось мгновениями каждому из нас. Не пора ли проснуться?..

* * *

Был уже седьмой час второго дня. Толпа в залах стала быстро редеть. Совет расходился, решив на следующий день собраться снова. Ослабевала работа и в Исполнительном Комитете, который начинал довольно быстро таять и явно нуждался в отдыхе.

Продолжать работу без перерыва было невозможно, а обстоятельства позволяли сделать передышку. Стали поговаривать о том, чтобы разойтись до завтра, оставив дежурство. Пока же подошедший Тихонов с некоторыми из моих личных друзей и близких убедили меня пойти пообедать к И. И. Манухину, доктору, вылечившему Горького от туберкулеза на Капри и сохранившему с ним дружеские отношения... На дальнейших страницах мы встретимся с Манухиным не раз. Он жил в двух шагах от Таврического Дворца, на углу Сергиевской и Потемкинской. Обернуться, пообедав, можно было очень быстро.

Безграничное радушие Манухина и тягу к революции этого вообще далекого от политики человека в скором времени пришлось испытать на себе целому ряду советских деятелей. В эти же дни он положительно выбивался из сил, чтобы оказать какую либо помощь, сделать что-либо полезное (или приятное) нам в каторжной работе первых шагов революции... Впоследствии его специальностью стало опекание тюремных сидельцев, для которых он забросил свои научные занятия и которых помимо медицинской помощи он благодетельствовал всем всевозможным—в пределах лойяльности, необходимой для тюремного врача и представителя Красного Креста.

Следуя по неисповедимым путям революции, он сначала был благодетелем царских слуг и приближенных, затем большевиков и, наконец, меньшевиков и эсеров, сменявших друг друга в уготованных царем застенках и казематах... Но не только об этом могут вспомнить при имени Манухина иные «контр-революционеры» — и иные большевики...

Отправившись целой гурьбой обедать к Манухину, мы застали у него Горького и еще кое-кого из знакомых от литературы и—«Летописи». Горький продолжал быть не в духе. Его впечатления за день не улучшили, а усугубили его мрачное настроение. В течение битого часа он фыркал и ворчал на хаос, беспорядок, на эксцессы, на проявления несознательности, на барышень, раз'езжавших по городу, неизвестно куда, на неизвестно чьих моторах,—и предсказывал верный провал движения, до-

стойный нашей азиатской дикости. Два-три человека из присутствовавших добавляли иллюстрации в той же теме и поддакивали Горькому...

Факты были фактами, и впечатления были верны по существу—в тех пределах, в каких они вызывались данными фактами. Но это были впечатления беллетриста, не пожелавшего идти дальше того, что можно наблюдать глазами,—впечатления, подавившие своей силой теоретическое сознание и исказившие все об'ективные перспективы.

Политические выводы из них были не только вздорны, но просто смешны для меня. Для меня было, напротив, очевидно, что дела обстоят блестяще, что революция развивается как нельзя лучше, что победу теперь можно считать обеспеченной и что эксцессы, обывательская глупость, подлость и трусость, неразбериха, автомобили, барышни—это лишь то, без чего революция никаким способом обойтись не могла, без чего все происходящее теоретически немыслимо, без чего ничто подобное никогда и нигде не бывало. Все это было для меня совершенно очевидным.

И, придя голодный и усталый в радостном возбуждении, я пытался возражать лишь в первые минуты, пока не увидел, насколько мое настроение не попадает в тон начавшейся раньше беседы. А затем, пренебрегая направленными в меня стрелами, я упорно молчал, почувствовав нестерпимую скуку и не давая себе труда скрывать ее, предоставляя кому угодно принимать ее за усталость... Вместо торжества победы первая встреча «летописцев» в своем кругу произошла в унынии, депрессии и взаимном непонимании.

Обед был, наконец, кончен, и я поспешил обратно в Таврический дворец. О ночлеге дома не приходилось думать и сегодня. Мы условились, кто из нас будет ночевать у Манухина, квартира которого с тех пор стала служить для этого постоянно, и расстались. Тихонов пошел со мной, чтобы взять, какой окажется, материал для завтрашнего нумера «Известий», выпускать который он должен был вскоре отправиться во владения Бонч-Бруевича, снабженного и рабочей силой, и продовольствием, и «капитаном Тимохиным» с отрядом бравых добровольцев...

* * *

Был, вероятно, десятый час. Дворец уже наполовину опустел и был полуосвещен. В полутемной зале Совета сидели и рассуждали часовые и немногие темные штатские фигуры. В комнате № 13 сидели одни обрывки Исполнительного Комитета. Никаких общих вопросов ставить не приходилось, но технических мелочей попрежнему набралась масса...

Помню, пришел посланный Керенским Иванов-Разумник предлагать свои услуги по литературной части (но тут же исчез и более не появлялся на советском горизонте). Приходили какие-то офицеры каких-то автомобильных частей с предложением организовать автомобильное дело для Исполнительного Комитета; нужда в этом была чрезвычайной, но Исполнительный Комитет пробавлялся милостью частных лиц, в руки которых почему-то попали моторы... Приходили владельцы типографий и газет, с жалобами на разорение, с апелляцией к свободе печати и с требованиями пустить в ход их предприятия. На ряду с этим приходили представители партий—большевики, меньшевики, эс-ры с требованиями предоставить партиям право на те или иные типографии, которые они уже присмотрели для партийных газет. Ничего этого сделать было, при данных обстоятельствах, нельзя. Надо было создать особый орган, специальную комиссию, которая ведала бы это дело...

Слухов об эксцессах не помню,—вероятно, волны взбудораженного города к ночи так же стихали, как то было и в пределах дворца.

Но снова разогрел атмосферу около Исполнительного Комитета возбужденный рассказ ворвавшейся группы солдат—о том, что среди революционного гарнизона царит сильное волнение по поводу приказа Родзянки возвращаться в казармы к своим обязанностям и привычным делам и нести обратно взятое оружие.

Не помню—был это официальный печатный приказ или ляпсус изустной ораторской деятельности Родзянки за этот бурный день,—но ничего хорошего для авторов и вдохновителей приказа из этой бестактности не вышло. Настроение гарнизона в результате ее стало резко ползти

налево. Родзянко дал сильный толчок развитию «солдатского самосознания», оформлению солдатских лозунгов и солдатской организации. Все это проявилось на следующий день в заседании солдатской секции Совета...

Неудачное выступление Родзянки настолько испортило его собственное дело «контакта» между солдатами и офицерством, что на следующий день полковник Энгельгардт в особом приказе должен был исправлять бестактность своего коллеги, обещая за попытки обезоружить солдат «самые решительные меры»—«вплоть до расстрела»... Вечером 28 в Исп. Комитете пришлось лишь обещать специально расследовать это дело и поставить солдатский вопрос на очередь в ближайшем заседании Совета.

Агитация против офицерства в это время, хотя и в слабой степени, несомненно, велась некоторыми мало разумными левыми партийными элементами. Но гарнизон и без того не доверял им, имея к тому основания. Это не только поддерживало распыленное и возбужденное состояние гарнизона, но грозило ввести эксцессы в систему и послужить источником действительно безудержной анархии. Было необходимо преодолеть стихийный дух протеста, озлобления, мести, боязни за мелькнувший призрак свободы и новой жизни; и было необходимо собрать солдатскую рассеянную по городу пыль в прежние кадры, в прежние организации (за неимением иных), чтобы начать планомерную организованную борьбу за профессиональные солдатские интересы, за гражданскую свободу армии и за действительно новую жизнь.

* * *

Вечером 28 февраля до этих спокойных берегов было еще очень далеко... Являлись представители все новых и новых частей, явившихся в Петербург с разных концов «тыла». Многие тысячи вновь прибывающих солдат растеклись по городу, теряя свои части и своих офицеров, отыскивая кров и пищу на свой страх и риск. Столица и без того была под риском настоящего голода. Было необходимо остановить этот поток. Но ведь части шли во славу революции, шли предложить ей свое оружие и приветствовать красный Петербург!..

Далеко от конца была буря и среди громадного населения столицы. Боязнь нападений с тыла еще в полной мере владела массами. Новых авторитетных «близких к народу» органов власти еще не было. Самозащита масс и революции носила партизанский характер. Ни старого, ни нового аппарата управления и общественной безопасности еще не существовало. Среди самочинно возникавших организаций возникала неизбежная чересполосица функций и даже конкуренция «инициативных групп».

Как раз в эти часы собралась и заседала городская Дума, принужденная немедленно сменить городского голову (Лелянова на Глебова) и поставившая на очередь создание городской милиции. Но, конечно, эти старые отцы города и все, что от них исходило, не могло быть фактором порядка, вообще, и необходимого отныне порядка, в частности... Лейкоциты петербургской демократии действовали самопроизвольно и защищали эмбрионы нового порядка по своему усмотрению и разумению.

Самочинные группы, одна за другой, подносили членам Исполнительного Комитета в течение дня—и продолжали делать это и сейчас, поздним вечером,—написанные ими приказы об арестах, как невинных, так и действительно опасных, как безразличных, так и на самом деле зловредных слуг царского режима... Не дать своей подписи в таких обстоятельствах, значило, в сущности, санкционировать самочинное насилие, а быть может и эксцессы по отношению к намеченной почему-либо жертве. Подписать же ордер означало в одних случаях пойти на встречу вполне целесообразному акту, в других—просто доставить личную безопасность человеку, ставшему под подозрение. В атмосфере разыгравшихся страстей нарваться на эксцессы было больше шансов при противодействии аресту, чем при самой процедуре его. Но я не помню ни одного случая (я даже могу утверждать, что такого не было), когда тот или иной арест состоялся бы по постановлению Исп. Комитета или по инициативе его *).

С первого момента революция почувствовала себя

*) Впоследствии Исп. Ком. постановил арестовать лишь Николая, когда были получены сведения, что он бежит в Англию. Это—единственный известный мне случай в этот период революции.

слишком сильной для того, чтобы видеть необходимость в самозащите подобными способами. Методы самодержавия стали вновь культивироваться лишь впоследствии при «коалиции» и расцвели невиданно-пышным цветом при большевиках.

Я лично подписал единственный, подсунутый мне, ордер об аресте за всю революцию. Моей случайной жертвой был человек, во всяком случае достойный своей участи более, чем многие сотни и тысячи. Это был Крашенинников—сенатор и председатель петербургской судебной палаты, высокодаровитый человек и убежденный черносотенец, возможный глава царистской реакции и вдохновитель серьезных монархических заговоров. Он был освобожден чрез несколько дней. Потом в петербургский период большевистской власти, переехав с Карповки на Шпалерную, я обнаружил, что мы—соседи, живем на одной площадке, состоим в единой домовой организации и ежедневно рискуем вместе скоротать ночные часы во время установленных поголовных дежурств по охране дома. А в московский период большевизма Крашенинников, как я прочитал в газетах, был—не знаю кем и при каких обстоятельствах—расстрелян на Кавказе...

Благодаря деятельности самочинных групп и инициативе новых организаций, население министерского павильона все увеличивалось. К вечеру 28-го он был плотно населен несколькими десятками всяких сановников и высших полицейских чинов. К ним присоединили и доктора Дубровина. Иные арестовывались сами, являясь в Таврический дворец и представляясь первому попавшемуся деятелю, или же прося по телефону арестовать их и доставить во дворец. Это было, действительно, лучше для их безопасности, — хотя эти дни не были омрачены самосудом ни над одним представителем гражданской власти; и жертвами собственной свирепости явились лишь несколько военачальников.

Даже особо ненавистный Сухомлинов пережил бури революции целым и невредимым. Между прочим, по собственной просьбе, был доставлен в Таврический дворец министр юстиции Добровольский. А в 12-м часу описываемого вечера в Екатерининской зале появился и последний опереточно-распутинский временщик, Протопопов, и робко попросил первого встречного арестовать

его. Этим популярным министром интересовались довольно сильно и не раз спрашивали из толпы, где же Протопопов и арестован ли он.

* * *

В комнату Исполнительного Комитета, по обыкновению, торжественно и шумно влетел Н. Д. Соколов.

— Пришла польская делегация, — об'явил он, по обыкновению, нарушая ход работ.—Она хочет приветствовать русскую революцию в лице Исполнительного Комитета. Необходимо выйти к ней и ответить на приветствие!..

Соколов был тесно связан с польскими кругами (как, впрочем, и со всеми кругами); часто являлся инициатором всяких польских вопросов в Исполнительном Комитете и всячески опекал их. Я не помню, от каких именно польских групп была делегация, но было несомненно, что сам Соколов и привел ее, вселив в нее непреодолимую жажду приветствовать Исполнительный Комитет и Совет Рабочих Депутатов.

Налицо было всего три—четыре его члена; всем было некогда, все отказывались от декоративных функций. Но Соколов был неумолим и вытащил меня и еще кого-то в советский полутемный зал, где в это время служители разрушали «покой» стола, готовясь к завтрашнему советскому «митингу». Там и состоялся первый торжественный прием...

* * *

Работа окончательно затихала. Кто-то вызвался остаться в Исполнительном Комитете до утра и уже укладывался на диван близ телефона. Можно было уходить, и я около часу ночи отправился неподалеку на ночлег в знакомый дом. Тяготила необходимость рассказывать о положении дел жаждавшим новостей и изнывавшим без надлежащей информации знакомым. Но мысль о постели была, до крайности, соблазнительна...

Я вышел из дворца один. Сквер был уже совершенно пуст. Не помню, стояли ли пушки, пулеметы, но ни их, ни дворца революции уже никто не охранял.

Чувствовалось и верилось, что это уже не опасно. Но все же это было знаменательно. Самое сердце революции

было беззащитно. Для охраны его не хватило организации и не выискалось горсти добровольцев.

Я пошел по Таврической и Суворовскому. Голова была занята очередными делами. Весь день я стремился поставить в Исполнительном Комитете на очередь политическую проблему, — о будущей власти и об отношении к ней революционной демократии. Но это была утопия. Между тем откладывать и запускать это дело было нельзя — во избежание существенных осложнений и даже опасностей: каковы общие тенденции правого крыла было ясно, но каковы его конкретные планы было в точности неизвестно. Вопрос о власти надо было упорядочить немедленно. Тот или иной временный революционный статус надо было создать; необходимый демократии временный политический строй надо было установить и его нормы зафиксировать, положив в основу его интересы страны и ее демократического развития, интересы международного социалистического движения и правильно понятые задачи эпохи.

Беспокоила мысль о том, что для решения проблемы еще ничего не сделано. Удастся ли завтра поставить ее и правильно разрешить в Исполнительном Комитете? Во всяком случае, я настоял на том, что завтра с утра она будет поставлена на первую очередь. Общее согласие на то было получено. Но каковы будут условия и обстоятельства работы? И как удастся преодолеть неправильные, на мой взгляд, тенденции внутри Исполнительного Комитета—и попытки отдельных групп его дать неправильный первоначальный толчок революции?..

Днем 28-го вышло прибавление к № 1 «Известий», в котором был напечатан «манифест» большевистского Центрального Комитета. Большевики развернули в этом «манифесте» самую широкую циммервальдскую и аграрную программу и возложили ее выполнение на «временное революционное правительство, долженствующее стать во главе нового нарождающегося республиканского строя». Что же это за правительство?

«Рабочие фабрик и заводов, а также восставшие войска,—говорилось в «манифесте», — должны немедленно

выбрать своих представителей во временное революционное правительство, которое должно быть создано под охраной восставшего революционного народа и армии»... Все это было весьма мало вразумительно, но довольно опасно...

С другой стороны, представители правого фланга Исполнительного Комитета, в частных разговорах, настаивали на образовании коалиционного правительства—из цензовых и советских элементов. Задача, следовательно, состояла не только в том, чтобы поставить проблему власти в Исполнительном Комитете, тщательно разработать ее там и отстоять принятое решение перед лицом буржуазного мира,—но и в том, чтобы поставить ее на надлежащие рельсы, найти и защитить ее правильное решение в самом руководящем учреждении революционной демократии.

* * *

Я шел по безлюдным улицам, обдумывая проблему по существу. Я впервые остался один и впервые шел по свободному городу новой России. Мои деловые рассуждения то и дело пронзались светлыми снопами острой радости, торжествующей гордости и какого-то удивления перед тем необ'ятным, лучезарным и непонятным, что совершилось в эти дни. Неужели же я не проснусь на моей нелегальной постели, над картой Голодной степи, над корректурными гранками «Летописи», залитыми красными чернилами царских цензоров?..

Кое-где, не часто, постреливали. Проносились легковые и грузовые автомобили—Бог весть откуда и куда. Иногда проходили и стояли у костров группы солдат с винтовками. Мысль радостно перебивала привычные ощущения нелегального человека,— ощущения, заставлявшие инстинктивно сторониться подобных встреч: теперь это друзья, а не враги, опора революции, а не распутинского режима.

Иногда, вместе с солдатами или без них, встречались штатские вооруженные отряды—рабочих и студентов: это была новорожденная милиция, а скорее самочинные добровольцы, которым так много обязан Петербург быстрым восстановлением порядка и безопасности. Редкие

прохожие шли смело и весело, демонстрируя, что на улицах взбаломученного города ночью было, действительно, безопасно, и черносотенным провокаторам было не под силу создать атмосферу погрома и паники...

Все ли эти встречные люди, все ли эти попадавшиеся солдатские группы и одиночки были, действительно, свои? Трудно сказать, но любопытно попробовать. В глухом квартале «Песков», в конце 8-й Рождественской, несколько военных возились около поломанного автомобиля. К ним подходил какой-то патруль.

— Товарищи, слушайте,—закричал я им через улицу.

Все насторожились и смотрели на меня.

— Протопопов арестован и сидит вместе со своими товарищами на запоре в Таврическом дворце.

Из толпы послышались возгласы одобрения и особого удовольствия:

— Спасибо, товарищ!—кричали мне вслед,—благодарим за приятную новость.

Да, дело революции было безвозвратно выиграно! Вспоминались солдаты, сдиравшие утром портрет Николая. Николай еще гулял на свободе и назывался царем. Но где был царизм? Его не было. Он развалился одним духом. Строился три века и сгинул в три дня.

В доме, куда я шел, меня уже ждали нетерпеливые хозяева, чай, ужин и постель. Наскоро утолив жадное любопытство, я лег спать. В голове шла своим чередом будничная работа и деловая подготовка к завтрашнему дню. А все существо праздновало великий праздник. И не только панорама будущего, которая мерещилась сквозь «магический кристалл», но и обрывки самых реальных, только что виденных картин заставляли биться сердце, щекотали в горле и не давали спать.

■ ■ ■

5. ДЕНЬ ТРЕТИЙ.

1 марта.

Утром на улицах.—Царский поезд.—Керенский-кандидат в министры.—Проблема власти в Исп. Комитете.—Немного публицистики. — Цели буржуазии в революции. — Позиции советской демократии: правое крыло; левое крыло.—Мои соображения на этот счет: цели „комбинации"; условия передачи власти правительству Милюкова.—Расширение и с'ужение программы слева и справа.— Капитуляция и „неурезанные лозунги".—Условия поединка.—Три основных условия.—Заседание Исп. Ком.—Дело о поезде Родзянки. — Обморок сильнее здравого смысла. — Условия работы.— В аппартаментах Гучкова.—Избиение офицеров.—„Градоначальник".—Солдатские делегаты в Исп. Ком.—Вопрос о власти в Исп. Ком.—„Вхождение в правительство".—Семь пунктов.—Вопрос о „поддержке".—Эмбрион формулы „постольку-поскольку". — Личный состав правительства.—Заседание Совета. — Солдатские вопросы. „Армия и флот".—Сухомлинов.—„Приказ № 1". — Перед „учредительным" совещанием.—Ночь на 2-е марта.—Обстановка.— Переговоры.—Речи.—Родзянко налево—Милюков направо. — Монархия и династия в глазах Милюкова.—Лестные комплименты.— Последняя „высочайшая аудиенция" Родзянки. — Прокламация Гучкова.—Мы пишем декларации.—Керенский-министр.—Наборщики делают политику.— Воззвание советских „левых".—Керенский терроризован; Гучков изнасилован; „комбинация сорвана".— Декларация „рокового человека" из Совета. — Роковой человек из „прогрессивного блока" исправляет ее. — Власть „почти создана".—Подвиги „новожизненской" редакции Известий.

На другой день я подходил в десятом часу к Таврическому дворцу. На улицах стояли обычные хвосты, но было необычное оживление. По углам висели прокламации Исполнительного Комитета и Временного Комитета Думы, около которых толпился народ.

В хвостах говорили о том, что подешевело масло. Его таксировала продовольственная комиссия по рецепту Громана и в течение двух-трех дней таксы действовали, пока торговцы не догадались убрать масло с рынка.

Висели всюду красные или похожие на красные флаги. Со значками и бантами разного фасона, но более или менее красными, шли группы народа, которые становились все гуще и переходили в небольшие манифестации по мере приближения к Таврическому дворцу. У ворот виднелись знамена, и уже происходило что-то вроде митингов

Я вошел с бокового крыльца—с Таврической, попадая тем самым непосредственно в чужой лагерь, в правый корридор, во владения Думского Комитета. Здесь еще сохранялся вид сравнительного благообразия, — стояли швейцары в ливреях, чистенькие и важные юнкера охраняли входы из корридора во внутренние помещения Комитета, шныряли визитки, бобровые воротники и благообразно-либеральные физиономии. Дворец был уже наполнен и оживлен.

Первый, повстречавшийся член Исполнительного Комитета сообщил: царский поезд, направлявшийся в Царское Село, задержан на станции «Дно» революционными войсками.

Дело ликвидации Романова тем самым было поставлено на очередь. Новость была отличная. Но мне представлялось все это дело второстепенным—сравнительно вопросом об образовании правительства, о создании определенных рамок для его деятельности и об установлении определенного статуса, определенных условий политической жизни и дальнейшей борьбы демократии. Я даже немного опасался, как бы вопрос о династии не вытеснил в «порядке дня» проблему власти, разрешавшуюся совершенно независимо от судьбы Романовых. В этом последнем ни у кого не было сомнений. Романовых можно было восстановить как династию, или использовать, как монархический принцип,—но их никак нельзя было уже принять за фактор создания новых политических отношений в стране.

Между тем, как выяснилось впоследствии, с царем и царским поездом происходило следующее. После известных почтительнейших телеграмм Родзянки в ставку (от утра 27), в коих председатель Думы молил Бога, чтобы «ответственность за события не пала на венценосца», — в течение всего дня царь, бывший в Могилеве, информировался о положении дел телеграммами каких-

то своих уцелевших слуг. Генерал Алексеев, докладывая царю об этих телеграммах, убеждал, как говорят, пойти на уступки; но царь не шел на это без санкции «дорогой Алис», находившейся в Царском Селе.

Около 11 часов 27-го, когда шло первое заседание Совета Рабочих Депутатов, а Думский Комитет уже почти покончил со своими колебаниями и был готов взять в свои руки государственную власть,—в царской ставке, в Могилеве, была получена телеграмма из Царского с просьбой немедленно приехать, ибо там неспокойно, и царица Александра в опасности. Поезд вышел из Могилева около 5-ти часов утра и, идя кружным путем на Лихославль и Тосно, подошел к станции «Бологое» к 12 часам ночи 28-го, когда вместо царских министров действовали уже комиссары Думского Комитета, когда Протопопов был только что водворен в министерский павильон, а я лично принимал приветствие от иностранной делегации и отвечал ей от имени русской революции.

В Бологом выяснилось, что в Царское проехать нельзя, так как дальнейший путь занят революционными войсками. Доехали до Малой Вишеры, убедились в этом воочию и повернули ко Пскову—дав телеграмму Родзянке, чтобы он приехал для переговоров в «Дно». В «Дне» поезд, в действительности, не был задержан, а ждал Родзянку и, не дождавшись, беспрепятственно двинулся во Псков, куда и прибыл к 8-ми часам вечера 1-го марта.

* * *

Я пробрался через весь дворец в комнаты Совета, где уже кипела работа нарождающегося советского делопроизводства. Мне сейчас же подсунули какие-то бумаги, но меня немедленно оторвали от них, сообщив, что меня по экстренному делу ищет Керенский, который был здесь, но сейчас неизвестно где.

Я пустился в обратный путь—отыскивать Керенского. Все говорили о царе, спрашивали, что решено с ним сделать, говорили, что н у ж н о сделать.

Керенского я застал в одной из комнат Думского Комитета, в жаркой беседе с Соколовым. Керенский обратился ко мне, продолжая эту беседу. Дело было в том,

что большинство Думского Комитета предлагало ему вступить в образуемый цензовый кабинет. Керенский хотел поговорить на этот счет, между прочим, со мной, чтобы выяснить примерное отношение к этому делу влево стоящих лиц и групп, а также руководящего ядра Совета.

Ни в Исполнительном Комитете, ни в Совете эти вопросы еще не ставились, и говорить об этом было преждевременно. Но мое личное отношение к этому делу я высказал Керенскому тут же с полной категоричностью и имел случай повторить ему мое мнение дважды за эти сутки.

Я сказал, что я являюсь решительным противником, как принятия власти Советской демократией, так и образования коалиционного правительства. Я не считаю возможным и официальное представительство социалистической демократии в цензовом министерстве. Заложник Совета в буржуазно-империалистском кабинете связал бы руки демократии,—не только в ее стремлении довести до конца великую национальную революцию, но и в осуществлении ставших перед нею грандиозных международных задач... Вступление Керенского в кабинет Милюкова, в качестве представителя революционной демократии, совершенно, на мой взгляд невозможно.

Но,—продолжал я,—если речь идет о личном мнении, то индивидуальное вступление Керенского, как такового, в «революционный» кабинет, я считал бы об'ективно небесполезным. В цензовом кабинете демократические слои имели бы заведомо левого человека. Это придало бы всему кабинету большую устойчивость перед лицом стихийно ползущих влево масс, а устойчивость первого революционного правительства на ближайший период (исчисляемый хотя бы немногими неделями) я считал крайне желательной. Вместе с тем, Керенский мог бы чрезвычайно усилить левое крыло в будущем правительстве и не дать ему зарваться в реакционной или империалистской политике при первых же шагах, что сделало бы неизбежным преждевременный кризис и уничтожило бы основной смысл создания цензового кабинета при реальной силе в руках демократии.

Индивидуальное вхождение Керенского в правительство Милюкова я считал об'ективно небесполезным.

С другой стороны,—как говорил я ему тут же,—своеобразное положение Керенского делало это вполне возможным. Керенский не связан формально ни с какой социалистической партией и лидирует всего лишь «трудовую группу», которой нет никакого дела до Интернационала, которому нет дела до нее.

Конечно, Керенского не мог удовлетворить такой ответ... Ему явно хотелось быть м и н и с т р о м. Но ему нужно было быть п о с л а н н и к о м д е м о к р а т и и и официально представлять ее в первом правительстве революции. Он отошел от меня более чем неудовлетворенный. Я же повлек Соколова открывать заседание Исполнительного Комитета, где надо было, не откладывая, поставить вопрос о власти, об ее программе и об отношении к ней Совета.

Пробираясь через толпу, мы наскоро обменивались с Соколовым мнениями на этот счет. Соколов, видимо, представлял себе дело так, что будет и должно быть образовано к о а л и ц и о н н о е правительство, но защищал позицию крайне слабо, явно не продумав еще вопроса, и очень быстро сдался. При систематическом обсуждении и при практическом создании первого кабинета—он не был в числе защитников коалиции и голосовал против нее.

* * *

Исполнительный Комитет собрался в 11-м часу, почти в полном составе. В соседней зале было уже людно и шумно. Памятуя о вчерашней давке, делегаты собирались спозаранку, чтобы занять места. На очереди в Совете стояли, главным образом, с о л д а т с к и е в о п р о с ы,—в связи с позицией, занятой Думским Комитетом, и в связи с вчерашними выступлениями Родзянки.

Не помню, кого отрядили в Совет для председательства и руководства: этому не придавали большого значения. Но в Исполнительном Комитете приготовились к большой работе по большому вопросу и ожидали первого серьезного столкновения мнений на принципиальной почве.

Кто председательствовал, не помню,—но кажется это

был не Чхеидзе, измученный и издерганный бессонницей, непрерывными речами и мелкими делами.

Как же стояла и как, на мой взгляд, должна была быть решена в данной обстановке политическая проблема революции?

Здесь было бы, по меньшей мере, неуместно предпринимать историко-публицистический, а тем более социологический трактат о характере и целях революции, связанной с ликвидацией царизма, и о задачах демократии, оказавшейся хозяином положения в России в данной национальной, хозяйственной и международной обстановке. Но совершенно очевидно, что решение политической проблемы вытекало из предпосылок именно общего, историко-социологического свойства — наряду с учетом реального соотношения сил и конкретного состояния национально-хозяйственного организма. Совсем без экскурсий в область общих рассуждений обойтись, поэтому, нельзя.

Я уже упоминал о тех конкретных обстоятельствах, которые, на мой взгляд, не позволяли демократии, возглавляемой авангардом циммервальдски - настроенного пролетариата, взять власть в свои руки в данной обстановке. Эти обстоятельства, во избежание провала революции, в целях закрепления победы над царизмом и установления необходимого режима политической свободы—заставляли победивший народ передать власть в руки своих врагов, в руки цензовой буржуазии. Но, если для каждого последовательного носителя классовой пролетарской идеологии было очевидно, что власть передается в руки врагов, — то передать ее было можно лишь на определенных условиях, которые обезвредили бы врагов.

Надо было поставить цензовую власть в такие условия, в которых она была бы ручной, была бы неспособна повернуть вспять революцию и обратить свое классовое оружие, использовать свое положение против демократии и рабочего класса. Этого мало: необходимо было поставить цензовую власть в такие условия, чтобы она не могла поставить серьезных препятствий необходимому развертыванию и продвижению революции. Словом, если народ сам добровольно выбирал и ставил

себе власть, то он естественно делал то, что ему нужно, а не его классовым врагам, которые, по его соизволению, становились официально во главе государства.

Перед революционной демократией стояла задача сделать попытку использовать своих врагов — конечно, для своих целей. Народ, став фактическим хозяином положения, в силу особых обстоятельств, уступал, отдавал в чужие руки свои определенные функции; но он не мог отдать в чужие враждебные руки самого себя и добровольно перестать быть хозяином положения.

* * *

Каковы были тенденции, стремления, цели буржуазии, принимавшей власть? Как должна была она стремиться использовать ее? И, с другой стороны, какие условия общественно - политической жизни были необходимы для демократии?—Это зависело от того, как обе стороны понимали и должны были понимать смысл, цели и ход происходящей революции.

Что касается цензовой России, империалистской буржуазии, принимавшей власть, то ее позиция и ее планы не могли возбуждать сомнений. Цели и стремления Гучковых, Рябушинских, Милюковых, сводились к тому, чтобы ликвидировать распутинский произвол при помощи народного движения (а гораздо лучше — без его помощи), закрепить диктатуру капитала и ренты на основе полусвободного, «либерального» политического режима—«с расширением политических и гражданских прав населения» и с созданием полновластного парламента, обеспеченного буржуазно-цензовым большинством. На этом цензовая Россия должна была стремиться остановить революцию, превратив государство в орудие своего классового господства, а страну в олигархию капиталистов,—подобно Англии и Франции, которые именуются «великими демократиями Запада». Движение, идущее дальше диктатуры капитала, цензовая Россия, принимавшая власть, должна была стремиться подавить — всеми имеющимися налицо средствами.

А наряду с этими общими целями в революции, у нашей буржуазии были особые специальные задачи —

по обслуживанию национального и м п е р и а л и з м а, российской великодержавности—в происходящей войне. «Война до конца» и «верность доблестным союзникам» —ради Дарданелл, Армении и прочего вздора, были необходимыми лозунгами цензовой России. Эти лозунги, конечно, были в кричащем противоречии с развитием революции, — и потому революция должна быть остановлена, обуздана, приведена к покорности, покорена под нози великодержавности,—как частному и специфическому проявлению диктатуры капитала.

Вся эта позиция цензовой России, все эти задачи буржуазии, принимавшей власть из рук восставшего народа,—не могли внушить сомнений ни одному последовательно мыслящему марксисту вообще и циммервальдцу, в частности. Все это вытекало с железной необходимостью из об'ективного положения дел.

Другое дело — позиция с о в е т с к о й, солдатско-крестьянско - рабочей, мелкобуржуазно - пролетарской д е м о к р а т и и. Ее задачи были далеко не так очевидны и весьма спорны. Ее понимание должного хода революции могло быть и было весьма различно.

Е е п р а в о е крыло (в котором нам интересны не обыватели-народники из н. с—ов и трудовиков, а мыслящие марксисты из лагеря Потресова и комп.) утвердилось в мысли, что наша р е в о л ю ц и я е с т ь р е в о л ю ц и я б у р ж у а з н а я. Этой мысли наши правые марксисты не оставили до самого своего исчезновения с политической сцены. Как теоретическое положение, это м о г л о б ы быть, вообще говоря, и не особенно вредно.

Но очень вредно было то, что эти группы делали из данного положения логически совершенно необязательные, а фактически совершенно неправильные выводы. А они делали те выводы, что при таком условии все выше отмеченные планы, тенденции, стремления буржуазии—вполне з а к о н н ы, что установление у нас диктатуры капитала (как «в великих демократиях Запада») есть основная задача нашей эпохи и единственная цель революции; что империализм новой революционной России, а, стало быть, и война в единении с доблестными союзниками, суть неизбежные и закономерные явления, требующие поддержки демократии, во

избежание «национальной катастрофы»; что рабочий класс и крестьянство, в связи с этим, должны сокращать свои требования и программы, которые иначе будут «неосуществимы» и т. д.

Все это означало не что иное, как планомерную и сознательную капитуляцию перед плутократией. К этому сводилась вся политическая мудрость, вся программа и тактика потресовско-плехановских групп; а за ними в скором времени поплелись и прочие оборонцы, которых быстро перещеголяли в этом отношении иные «циммервальдцы».

Такова была фактическая позиция правых элементов Совета, а следовательно—это была одна из возможных позиций всего Совета, олицетворявшего всю революционную демократию. Из этой позиции, в сущности, просто вытекала уступка власти Гучкову-Милюкову без всяких условий,—на предмет осуществления ими их либерально - империалистской программы и установления ими у нас «правового» порядка на свой классовой лад и на западный образец.

Противоположную позицию занимало левое крыло Совета; его большевистско-лево-эсеровские элементы, а следовательно—было возможно, что Совет в целом займет эту противоположную позицию. В основе ее лежало признание, что в результате мировой войны совершенно неизбежна мировая социалистическая революция, и что, всенародное восстание в России кладет ей начало, знаменуя собой не только ликвидацию царского самодержавия, но и уничтожение власти капитала. При таких условиях, революционный народ, в руках которого оказалась реальная сила, должен использовать ее до конца, взять в свои руки государственную власть и безотлагательно приступить к реализации программы максимум, вообще, и ликвидации войны — в частности. Согласно этому взгляду, цензового правительства вообще быть в революции не должно, и ни о каких условиях передачи ему власти речи быть не может...

Надо сказать, однако, что представители таких взглядов были крайне слабы в Исполнительном Комитете—и количественно и качественно. Они лишь глухо «поговаривали» и «пописывали» на этот счет—больше для демагогии и для очистки совести; но они и не думали

вступать в сколько-нибудь реальную борьбу за эти принципы—ни в Исполнительном Комитете, ни в Совете, ни среди масс.

При обсуждении вопроса эти элементы были почти незаметны; они не выступали с самостоятельной формулировкой своей позиции и, при практическом решении вопроса, составили единое большинство с представителями третьего течения, к которому примыкал и я.

* * *

Мне лично дело представлялось так. Мировая социалистическая революция действительно не может не увенчать собой эпохи мировой империалистской войны. Историческое развитие Европы вступает в эпоху ликвидации капитализма, и ход нашей собственной революции мы должны рассматривать при свете этого факта. Культ идеи буржуазной революции в России, культ политического и социального минимализма, поэтому не только вреден, но близорук и утопичен *).

Наша революция, хотя и совершенная демократическими массами, не имеет, правда, ни реальных сил, ни необходимых предпосылок для немедленного социалистического преобразования России. Социалистический строй мы создадим у себя на фоне социалистической Европы и при ее помощи. Но о закреплении в настоящей революции буржуазной диктатуры — не может быть и речи.

Мы должны расчитывать на такое развитие нашей революции, при котором народные требования могли бы быть развернуты и удовлетворены во всех областях, независимо от рамок, поставленных им современными западными плутократическими государствами. Эпоха ликвидации царизма в России, совпадая с определенной эпохой в мировой истории, при данном характере совершившегося переворота, необходимо должна быть насыщена огромным и еще невиданным доселе социаль-

*) Об этом я написал статью, направленную против московского потресовского журнала „Дело“, для февральского нумера „Летописи“. Но этот нумер не успел выйти до революции. Написанная ультра-эзоповским языком, чтобы „не понял цензор“ (а вместе с ним, конечно, и львиная доля читателей; да,—так и работали), статья была пропущена цензурой. Но, понятно—ее в таком виде уже нелепо печатать после революции, и она доселе лишь в гранках хранится у меня

ным содержанием. Революция, не дав России немедленного социализма, должна вывести на прямой путь к нему и обеспечить полную свободу социалистического строительства в России. А для этого необходимо немедленно установить соответственную политическую предпосылку: обеспечить и закрепить диктатуру демократических классов. В этом конечная цель начавшегося исторического периода и данного этапа развернувшейся революции...

Каким образом вообще необходимо вести по этому пути нашу революцию—другой вопрос. Но в данный момент, в процессе самого переворота—демократия не в состоянии одними своими силами достигнуть этих целей. Империалистская буржуазия должна послужить фактором в ее руках; должна быть использована ею для окончательной победы над царизмом, для завоевания и закрепления самого полного и глубокого действительного демократизма в стране.

Советская демократия должна вручить власть цензовым элементам, своему классовому врагу, без участия которого она сейчас не совладает с техникой управления в отчаянных условиях разрухи и не справится с силами царизма, с силами самой буржуазии, обращенными целиком против нее. Но эта власть, вручаемая классовому врагу, должна быть такой властью, которая обеспечит демократии полнейшую свободу борьбы с этим врагом, с самим носителем власти. А условия ее вручения должны обеспечить демократии и полную победу над ним в недалеком будущем.

Вопрос, следовательно, заключается в том, захочет ли цензовая Россия принять власть при таких условиях. И задача, следовательно, состоит в том, чтобы заставить ее принять власть, заставить ее пойти на рискованный опыт, как на наименьшее зло.

При выработке условий передачи власти, предусматривая немедленную борьбу с буржуазией, борьбу на самом широком фронте, борьбу не на живот, а на смерть и даже открывая уже эту борьбу (из-за армии),—не надо отнимать у буржуазии надежду выиграть эту борьбу. Надо остерегаться таких обращенных к ней требований и условий, при которых она могла бы счесть

опыт нестоющим и обратиться к другим путям закрепления своего классового господства.

Надо стараться всеми силами не «сорвать комбинации». И в соответствии с этим — ограничиться минимальной, действительно необходимой программой.

От этой «комбинации» требовалось лишь одно: создать такие условия политической жизни, при которых демократия могла бы немедденно (по установлении их) развернуть свою программу—в области внутренней, внешней и социально-экономической политики. Этого было достаточно, чтобы обеспечить правильный дальнейший ход революции. Более ни для чего участия буржуазии не требовалось, и ни на какое иное «использование» она более не пошла бы.

* * *

Какие же именно конкретные условия передачи власти могли создать такого рода статус, необходимый для революции и демократии? То-есть, на каких же именно конкретных условиях должна быть вручена власть правительству Милюкова?

В сущности, таким условием я считал только одно: обеспечение полной политической свободы в стране, абсолютной свободы организации и агитации...

Сейчас, рассуждал я, демократическая Россия совершенно распылена, лишена всяких внутренних скреп, всякой упругости и способности к сопротивлению; сейчас это не живое тело, а песок земной. Но с революцией народные массы будут спрыснуты живой водой и мгновенно возродятся к органической жизни. Демократическая Россия в течение немногих ближайших недель, несомненно, покроется прочной сетью классовых, партийных, профессиональных, муниципальных и советских организаций. Она сплотится во-едино и будет непобедима перед лицом об'единенного фронта капитала и империализма.—Это одна сторона дела: создание нового тела революционной демократии.

Другая сторона, другая задача состоит в том, чтобы вдохнуть в живое тело надлежащий живой дух. Если первая задача будет решена при отсутствии всяких пре-

пятствий к организации народных масс, то вторая обеспечивается полной свободой агитации.

Освобожденные массы, встряхнутые и просветленные великой бурей, охваченные сознанием, что жизнь строится заново,—не могут в процессе этого строительства остаться чужды своим исконным лозунгам, своим собственным интересам. Предводительствуемые пролетарским авангардом, стоящим под знаменами Циммервальда, они не могут отдаться в руки помещиков и плутократов, не могут превратить новое государство в орудие их классового господства и капитулировать перед жупелами имущей клики. Лишь бы ничем не стеснялась та лихорадочная работа по просвещению масс, которая немедленно будет развернута передовыми группами демократии, партиями и советами.

Свободу агитации в данной совокупности обстоятелств я считал достаточной для того, чтобы не дать империалистской буржуазии закрепить диктатуру капитала, чтобы не дать затвердеть у нас формам европейской буржуазной республики, чтобы открыть простор дальнейшему движению и углублению революции и в ближайшем будущем привести страну к политической диктатуре рабоче-крестьянского большинства—со всеми вытекающими отсюда последствиями...

Я рассуждал при этом так же, как, в сущности, рассуждали большевики несколько месяцев спустя. При образовании одной из «коалиций», когда анти-демократический характер власти Керенского уже определился вполне, когда вместе с тем всякая реальная сила «коалиции» уже иссякала и переходила на сторону большевиков,—большевики махнули рукой на правительство Зимнего дворца и, предоставив ему делать, что оно желает, требовали для себя гарантию только одного: свободы агитации.

Это основное условие передачи власти буржуазии представлялось мне, во-первых: совершенно обязательным, без всяких ограничений; а во-вторых—создающим достаточные гарантии, закладывающим вполне достаточный фундамент для выполнения всей дальнейшей необходимой программы демократии.

С другой стороны, это условие не могло бы не быть принято противной стороной. Всякие иные требования,

несомненно, менее важные по существу,—могли «сорвать комбинацию». На многие и многие из них Милюков и К° не могли бы пойти перед лицом своего классового, группового, персонального положения, перед лицом всего своего прошлого, перед лицом общественного мнения Европы. Но этого требования—не покушаться на принципы свободы—они не могли не принять, если они вообще были готовы принять власть в данных обстоятельствах с соизволения советской демократии. Пойти на данный опыт—значило пойти на это условие, значило поднять перчатку, бросаемую революционной демократией, значило — попытаться осуществить свою программу, закрепить свою диктатуру путем единоборства на открытой арене при условии полной политической свободы.

Но этим основным пунктом все же нельзя было ограничить условия передачи власти цензовым элементам. Во-первых, — это ясно само собою, — была необходима полная и всесторонняя амнистия. Во-вторых, революция должна была дать не только хартию вольностей, но и конституционную форму, способную воплотить в себе идею народовластия, народной воли и народного права. Надо было санкционировать и закрепить в законных формах работу временного—катастрофического периода и сделать новый статус постоянным, «органически»-развиваемым, углубляемым, доводимым до логического конца. Надо было обеспечить скорейший созыв полновластного и всенародного Учредительного Собрания, на основе демократичнейшего избирательного закона. Тень столыпинской Государственной Думы, жаждущей получить какие-то формальные права на революцию, была лишним фактором, заставлявшим немедленно поставить во весь рост идею Учредительного Собрания.

Эти три условия: декларация полной политической свободы, амнистия и немедленные меры к созыву Учредительного Собрания, — представлялись мне абсолютно необходимыми, но вместе с тем исчерпывающими задачами демократии при передаче правительственных функций в руки цензовой буржуазии. Все остальное приложится...

И я, в соответствии с этим, вполне сознательно пре-

небрегал остальными интересами и требованиями демократии, как бы они ни были несомненны и существенны, как бы непреложно ни было предрешено их осуществление при сколько-нибудь правильном и удачном ходе революции. Я оставлял в стороне и считал ненужным обусловливать цензовую власть такими несомненными пунктами, как земля, без которой теоретически немыслима победоносная революция.

Я считал излишним требовать от этого правительства даже и таких актов, как немедленное об'явление республики. В связи с вопросом об образовании власти, меня не интересовала судьба Романовых. Я был убежден (и высказывал это), что республика, как и земля—в руках у демократии, что они обеспечены «стихийным ходом вещей», если только путем «использования» буржуазии, при помощи кабинета Львова-Милюкова, удастся благополучно завершить переворот, ликвидировать царизм и перейти к новым условиям нашего общественного бытия.

Я считал ненужным и невозможным вводить в цикл требований и еще один пункт: демократическую внешнюю политику—политику мира... Иные потом признавали это ошибочным. И, в частности, Мартов, с которым я, в общем, единомыслил (резко расходясь в отдельных случаях) на всем протяжении революции до сего времени *)—упрекал впоследствии первый Исполнительный Комитет, что он не обусловил правительства Львова и Милюкова требованием должной «военной политики», а это запутало дело мира в революции. Я решительно не согласен с этим и до сих пор считаю правильной позицию, занятую тогда Исполнительным Комитетом.

Прежде всего—это маниловский теоретический non sens подходить к Милюкову с требованиями Циммервальда. Что-нибудь одно: либо считать цензовый либеральный кабинет вредным и ненужным для того момента, либо не навязывать ему таких функций, какие противоречат в корне самой его природе и каких он заведомо выполнить не может.

Во-вторых, спрашивается, каковы именно могли быть

*) Пишу это в октябре 1918 г.

конкретные требования мирной политики от кабинета Милюкова?.. Их принижение, сужение, сведение к минимуму—было бы чрезвычайно вредно со всех точек зрения: это означало бы выставление урезанных мирных требований перед всем миром в качестве международной программы революции. Если же Милюкову предложить действительную программу революции, то понятно—этой марки он бы не выдержал, и практически его кабинет был бы невозможен.

В-третьих, самый такой метод подхода к образуемой цензовой власти я считал неправильным и вредным. От этой власти требовалось не соглашение с революционной демократией на той или иной программе, платформе, а лишь предоставление революционной демократии свободы действий, свободы беспрепятственного развертывания своей программы—как бы ни относился к ней кабинет Милюкова. Соглашение на какой-либо материальной почве — будь то республика, будь то аграрная или «военная» программа,—предполагало некое сотрудничество и требовало «контакта»... Так и смотрели на дело правые и обывательские элементы Исполнительного Комитета.

Между тем для меня была ясна, была естественна и необходима перспектива не сотрудничества и контакта, а борьбы, самой законной, правомерной и исторически неизбежной классовой борьбы между революционной демократией и цензовым правительством.

«Соглашение» в данный момент, т.-е. декларированное условие вручения власти, должно было поэтому свестись к ничтожному, почти формальному минимуму: к тому, чтобы уравнять условия этой борьбы, чтобы вырвать у плутократии ядовитый зуб—против самодеятельности и классового самосознания народных масс.

Это были два принципиально различные понимания момента и ситуации. Те, кто настаивал на расширении требований (если делали это с полным сознанием), предполагали, что данную программу выполнит правительство Милюкова, что оно должно ее выполнить. Для меня же было ясно, что образуемое временное правительство, при благополучном завершении переворота, окажется весьма временным, что оно не выдержит разверты-

вания народной программы и неизбежно лопнет под напором народных сил. Этому правительству — революция, при данном всенародно-армейском характере ее, конечно, окажется не под силу, не по плечу, не по природе. При действительной победе революции оно окажется ее жертвой в недалеком будущем.

И я на том же заседании говорил для тех, кто стремился расширить платформу соглашения с цензовой буржуазией: необходимо не соглашение на «платформе», а свобода борьбы—нелепо и ненужно пред'являть неприемлемые и невыполнимые для нее требования; надо независимо от нее развертывать свою программу; при помощи этого правительства мы должны лишь завершить и закрепить переворот, а через несколько недель, через два месяца мы будем иметь другое правительство — правительство большинства страны, скажем—мелкобуржуазное правительство Керенского; к нему мы будем пред'являть другие требования, ему предложим иную программу, соответствующую его иной классовой природе.

Пред'явление цензовому правительству, на предмет выполнения, демократической программы и стремление подменить единственное необходимое условие передачи ему власти соглашением с ним на определенной платформе — это одна сторона разногласий в Исполнительном Комитете. Не менее любопытна была другая.

Казалось бы, на основании всего предыдущего, что сторонники расширительной программы должны были находиться от меня направо. Но ориентироваться в данной обстановке было не так легко, и программу усердно расширяли слева. И из этого расширения необходимо вытекал практический вывод. А именно, программа, разработанная демократией для цензового правительства, должна была выполняться им естественно «в контакте», при поддержке, при содействии, при участии демократии.

И опираясь на расширение программы слева, правая часть довольно последовательно могла требовать официального участия советской демократии в правительстве, то-есть создания «коали-

ционного» министерства. Его, действительно, и требовала право-обывательская часть, утвердившаяся в мысли, что революция у нас буржуазная, что наша задача состоит в создании свободных условий буржуазного развития и в насаждении его основ—в контакте, в согласии и в сотрудничестве с цензовыми элементами. Видя в перспективе органическую работу над урезанной (применительно к требованиям буржуазного строя) программой,—оборонцы и народники отстаивали участие демократии в образуемом правительстве.—Те же, кто вместе со мной, пытаясь «использовать» буржуазию, видел в перспективе борьбу за неурезанную программу и стремился сохранить для нее развязанными руки советской демократии,—те были решительно против всякой «коалиции» и против участия в первом революционном кабинете...

В этом последнем пункте мы нашли поддержку у тех, кто по недоразумению расширял условия передачи власти цензовому правительству, а также и у тех, кто «поговаривал» об образовании демократической, рабоче-крестьянской власти.

Так стоял вопрос, так представлял себе я положение дел и так, примерно, насколько позволяло время, я высказывался 1-го марта в Исп. Комитете при обсуждении политической проблемы революции.

* * *

Обсуждение началось. В зале Совета шумела толпа, которая просачивалась и в комнату 13-ю, волнуясь, чего-то требуя, пред'являя какие-то бумаги секретарям и всяким добровольцам. Часовые и новые служащие с трудом сдерживали напор ломившихся в заседание комитета, по «чрезвычайным» и «неотложным» делам.

Обсуждение началось довольно дружно и толково. Очень быстро определилось настроение—против участия в правительстве, причем на эту тему внезапно раскричался Чхеидзе—без нужды волнуясь и грозя ультиматумами.

Чхеидзе, вообще, как огня, боялся всякой причастности к власти, не только сейчас и не только для советской демократии, но и впоследствии, и для себя лично и для своих ближайших друзей.

Сильной, принципиальной и толковой защиты коалиции сейчас не было. Впрочем, не было тогда налицо более интересных ее сторонников — Богданова, которому было поручено взять на себя организацию канцелярии, Пешехонова, «комиссарствующего» на Петербургской Стороне.

Как бы то ни было, центр обсуждения был перенесен в разработку условий передачи власти временному правительству, образуемому думским Комитетом. Что же касается самого факта образования цензового правительства, то он был принят, как нечто уже решенное, и против него, в пользу демократического правительства, насколько я помню, тогда не было поднято ни одного голоса. Между тем, с самого начала в заседании присутствовали: официальный большевик Залуцкий, неофициальный Красиков, а затем, через некоторое время — Шляпников, порхавший туда и сюда по партийным делам, представил Исполнительному Комитету нового большевистского представителя — Молотова... Я, конечно, не говорю о таком «большевике», как Стеклов: он не только в это время, но и до самого октября не имел ничего общего с большевиками; в те же времена, он подобно мне, представлял центр Исполнительного Комитета.

Направо были бундовцы (партийные представители) и не помню кто из «народников»... Протокола, по-прежнему, не велось.

* * *

Обсуждение, однако, продолжалось недолго. Вероятно, не более, чем через полчаса, оно было прервано довольно шумным появлением из-за занавески какого-то полковника, в походной форме, в сопровождении гардемарина с боевым видом и взволнованным напряженным лицом. Все с досадой и возгласами негодования обернулись на них. В чем дело?

Вместо точного ответа, полковник, вытянувшись, стал рапортовать о том, что сейчас Исполнительный Комитет есть правительство, обладающее всей полнотой власти, что без него ничего сделать нельзя, все от него зависит, что ему повинуются и должны повиноваться все добрые граждане—и дальше в этом роде. Подобострастный тон полковника, привычный ему в обращении с на-

чальством, его нелепая болтовня, а, главное, произведенное им нарушение занятий, понятно, произвели неприятное впечатление и привели в раздражение большинство.

— В чем дело, говорите толком и скорее!—закричали ему со всех сторон. Многие встали, мгновенно воцарился беспорядок. Охватило сознание беспомощности, ощущение тоски и нудности... Но полковник не унимался и стал говорить о своей преданности революции, о том, как он «и раньше всегда» и т. п.

Мы окончательно потеряли терпенье. Пришлось, повысив тон, приказать полковнику об'яснить, в чем дело или удалиться. Оказалось, что глупый офицер был послан из думского Комитета от имени Родзянки и все предыдущее было дипломатическим приемом, который он же счел необходимым для своей миссии.

Дело было в том, что Родзянко, получив от царя телеграмму, с просьбой выехать для свидания в «Дно», не мог этого сделать, так как железнодорожники не дали ему поезда без разрешения Исполнительного Комитета. Полковник был прислан просить этого разрешения. Приходилось немедленно обсудить это, прервав начатое дело. Полковника просили пока удалиться. Он успел уже вновь начать свою речь о своей преданности революции, подкрепляя это ссылками на факты из своей биографии, но его перебил возбужденный гардемарин.

— Позволяю себе,—начал он,—спросить от имени моряков и офицеров, какое ваше отношение к войне и к защите родины?.. Повинуясь вам, признавая ваш авторитет, мы должны знать...

Это было уже слишком. Обоим было решительно приказано удалиться. Но, уходя, гардемарин, все же продолжил свое заявление.

— Я считаю необходимым сказать, что мы все стоим за войну, за продолжение войны. С нами вся армия—и здесь, и на фронте... «Рабочий Комитет» может на нас расчитывать только в том случае, если он также...

Гардемарина прервали.

— Вопрос о войне и мире в Совете еще не обсуждался. Когда будет принято решение, вы о нем узнаете. Сейчас, будьте любезны, не мешать очередной работе...

Да, вопрос о войне и мире еще не обсуждался. Он был снят с очереди первым планомерным вмешательством в

стихийный процесс революции. Исполнительный Комитет еще не имел ни малейшей возможности занять ту или иную позицию по этому вопросу, а главное—не в расчетах его руководящего большинства было форсировать проблему мира. Напротив, было необходимо выжидать, сколько возможно. В Совете же этого вопроса не затрагивали и сами рабочие, инстинктивно чувствуя, что он может оказаться весьма больным, крайне сложным и чреватым подводными камнями. Но было ясно: продолжать эту фигуру умолчания можно и должно лишь до известных пределов. Не нынче—завтра проблема должна стать на очередь. И выступление гардемарина, напомнившее нам и об остроте проблемы и о ее опасности, было крайне симптоматично.

Вопрос о поезде Родзянки был решен очень быстро одним дружным натиском. Мы говорили об этом, стоя на ногах, как были во время борьбы с полковником и с гардемарином...

Я говорил: Родзянку пускать к царю нельзя. Намерений руководящих групп буржуазии, «прогрессивного блока», Думского Комитета, мы еще не знаем и ручаться за них никто не может. Они еще ровно ничем всенародно не связали себя. Если на стороне царя есть какая-либо сила—чего мы также не знаем, то «революционная» Государственная Дума, «ставшая на сторону народа», непременно станет на сторону царя против революции. Что Дума и проч. этого жаждут, в этом не может быть сомнений. Весь вопрос—в возможности этого. И нельзя создавать эту возможность образования контр-революционной силы под видом об'единения царя с народом в лице «народного правительства»... Их сговор в ставке и успехи царя могут произвести величайшую смуту среди армии—и без того растерявшейся, сомнительной и неустойчивой. И что было не под силу одному царю, то он легко может сделать при помощи Думы и Родзянки: собрать и двинуть силы для водворения порядка в Петербурге,—не только революционном, но и совершенно распыленном и беззащитном... Ведь, каждому известна и истинная позиция думского большинства, и то, что контр-революции достаточно иметь один преданный сборный полк, чтобы погубить все движение. Кто может ручаться, что от разрешения дать поезд Родзянке не зависит судь-

ба революции? Надо благодарить железнодорожников за правильное понимание и доблестное выполнение ими долга перед революцией, и в поезде Родзянке отказать.

Не помню, высказал ли кто-нибудь мнение, что поезд дать было бы полезно. Может быть, говорил кто-нибудь, что это не принесло бы вреда. Но, во всяком случае, прения были чрезвычайно кратки; и если не единогласно, то огромным большинством, было постановлено: в поезде Родзянке отказать.

Почему-то осталось в памяти, что напротив меня в это время стоял Скобелев, который, кажется, председательствовал и голосовал в этом вопросе вместе с большинством.

Позвали полковника и, об'явив ему решение, отпустили его. Он явно не ожидал такого исхода своей миссии, но тон заявления был настолько категоричен, что преданный революции вестник Родзянки принужден был ограничиться одним «слушаюсь» и, звякнув шпорами, удалиться.

Мы обратились к очередным делам. Не помню, попытались ли мы продолжать обсуждение вопроса о власти, или же погрязли на несколько времени в «экстренных» «внеочередных» делах. Этих дел, во всяком случае, накопилось довольно. Но минут через 20 по уходе полковника,—из думского крыла, через нашего секретаря передали «члену Временного Комитета Государственной Думы Чхеидве» просьбу от имени Родзянки немедленно пожаловать к председателю Государственной Думы. После колебаний и ворчания со стороны доброй половины присутствующих Чхеидзе стал покорно собираться. Цель его вызова была очевидна.

Но в это время в комнату влетел бледный, уже совершенно истрепанный Керенский. На его лице было отчаяние, как-будто произошло что-то ужасное.

— Что вы сделали? Как вы могли! — заговорил он прерывающимся трагическим шопотом.—Вы не дали поезда!.. Родзянко должен был ехать, чтобы заставить Николая подписать отречение, а вы сорвали это... Вы сыграли на руку монархии, Романовым. Ответственность будет лежать на вас!..

Керенский задыхался и, смертельно бледный, в обмороке или полу-обмороке упал в кресло. Побежали за во-

дой, расстегнули ему воротник. Положили его на подставленные стулья, прыскали, тормошили, всячески приводили в чувство. Я не принимал в этом участия и мрачно сидел в соседнем кресле. Сцена произвела на меня отвратительное впечатление.

Что Керенский, не спавший несколько ночей, затративший нечеловеческое количество нервной энергии за дни революции, ослаб до тривиальной истерики—это было еще терпимо. Что он в важном деловом вопросе, требовавшем быстрой деловой ориентировки, подменил здравый смысл и трезвый расчет полутеатральным пафосом—в этом также еще не было ничего особенно злостного. Хуже было то, что Керенский, на второй день революции, уже явился из правого крыла в левое прямым, хоть и бессознательным, орудием и рупором Милюковых и Родзянок... Кроме того, я опасался за судьбу принятого решения насчет поезда. Керенский, понятно, явился с тем, чтобы его аннулировать, а его нажим и его истерика могли оказать влияние на многих.

И, действительно, очнувшись, Керенский произнес тут же длинную и бестолковую речь,—не столько о поезде и об отречении, сколько о долге каждого перед революцией и о необходимости контакта между правым и левым крыльями Таврического дворца. Он говорил нудно и раздраженно, подчеркивая не раз, что он, Керенский, пребывает в правом крыле для защиты интересов демократии, что он уследит за ними, обеспечит их, что он достаточная гарантия, что при таких условиях недоверие к Думскому Комитету есть недоверие к нему, Керенскому, что оно при таких условиях неуместно, опасно, преступно и т. д.

Сейчас «sub specie aeternitatis», при свете всего дальнейшего, вся эта наивная, истерично - эгоцентричная речь представляется мне чрезвычайно характерной; это зародыш будущего беспомощного истерика, вообразившего себя не «математической точкой русского бонапартизма», а действительным Бонапартом, призванным спасти страну и революцию, вообразившим себя суб'ектом диктаторской власти, а не об'ектом власти стихий и контр-революционных групп.

Керенский потребовал пересмотра принятого решения о поезде Родзянке. Несмотря на протесты меньшин-

ства, указывавшего, что нет налицо никаких новых обстоятельств, было решено пересмотреть вопрос. На этот раз прения шли довольно долго, причем размягченным ораторам правой стороны удалось вслед за Керенским запутать вопрос и растворить дело о поезде в общих разговорах о взаимоотношениях между крыльями Таврического дворца.

В результате произошло нелепое голосование: всеми наличными голосами против трех — Залуцкого, Красикова и меня—была отдана дань истерике Керенского, и поезд Родзянке был разрешен.

Родзянко, однако, не уехал. Времени прошло слишком много, а снарядить поезд было можно не так скоро. Был, вероятно, уже второй час дня. Царь не дождался Родзянки в «Дне» и выехал в Псков... Меня же, встреченный в советской зале, известный старый меньшевик Крохмаль поспешил ядовито поздравить, что в только что состоявшемся голосовании я вотировал вместе с неистовым Красиковым, не пользовавшимся репутацией вразумительного человека.

* * *

Заседание Совета уже началось. На председательском месте на столе, стоял Н. Д. Соколов, геройски не сходивший с него до самого вечера. На очередь были поставлены, исключительно или главным образом, «военные» вопросы: отношение солдат к возвращающимся офицерам, о выдаче оружия, о военной комиссии, ее составе и компетенции. На ораторской трибуне, т. е. на столе, сменяли друг друга солдаты и «прапорщики». Что они говорили—я не слышал и не знаю. Но все заседание прошло под знаком тревоги и требований отпора думскому Комитету—в связи с вчерашним выступлением Родзянки и попытками разоружить солдат.

Дело о поезде не дало нам кончить дело о власти. За это время накопилась целая куча вермишели, и правильная работа вновь была нарушена. Началась и текущая «канцелярская» работа»; пришлось подписывать десятки бумаг, разрешений, удостоверений...

Не помню, зачем было необходимо отправиться в Военную комиссию, которая перебралась в какое-то новое неизвестное помещение наверху — в отдаленном

углу дворца. Было страшно подумать об этом путешествии, через непроницаемые толпы, через сквозняки, через митинги, через шпалеры просителей, которых нет возможности удовлетворить, сквозь строй всяких делегатов с экстренными заявлениями и просто «преданных революции» обывателей,—с неотложными делами и без оных, с одним любопытством.

Сообщили, что во дворец только что пришел «конвой его величества»—выразить покорность и предложить службу революции. Ясно—вся армия отряхнула от ног своих прах царизма; и сейчас, для переворота, не страшно ни кадровое, кастовое реакционное офицерство, ни черносотенный генералитет. Всем приходилось прикинуться «преданными революции».

Во главе конвоя явился какой то великий князь—Кирилл Владимирович, тоже оказавшийся исконным революционером. Его немедленно оцепили честные служители печатного слова, буржуазно-бульварные журналисты, и долго носились с ним,—не обращая внимания на все то, происходящее у них под носом, в чем бился действительный пульс революции, что было захватывающе интересно и для истории, и для непосредственного наблюдения культурных людей...

Дворец имел вчерашний вид—непролазной толпы, невыносимой давки, бесконечных шинелей, неразберихи и под'ема. В Екатерининской зале поднимались над толпой бесчисленные знамена и фигуры ораторов там и сям.

Что было нового—это лавочки, раскинутые партийными организациями, с листками, справками, всякой литературой. Их плакаты: «Центральный Комитет партии социалистов-революционеров», или «Военная Организация Р. С. Д. Р. П. (большевиков)»,—и тому подобная «нелегальщина», вынырнувшая из подполья, непривычно красовалась на глазах тысячных толп, удивляя и пугая закоренелых конспираторов.

Партийная работа уже шла в городе на всех парах. Массы организовывались... Как и вчера, взволнованные люди добивались членов Исполнительного Комитета и сообщали впопыхах об эксцессах, столкновениях, стрельбе, погроме в той или иной части города. Исп. Комитет был тут не при чем; он ничего не мог поделать, и посылаемые отряды по прежнему не внушали никаких

надежд. Но город сам, местными силами, самодеятельностью районов залечивал свои раны, обслуживал и терапевтику, и хирургию, и санитарию революции. И чем дальше—тем больше «экстренные заявления» об эксцессах, погромах и проявлениях анархии оказывались плодом перепуганного воображения.

Я поспешно двинулся и медленно пробирался в Военную комиссию. Но меня догнали с директивой отправиться в Петропавловскую крепость, откуда донесли о каком-то важном столкновении или разгроме. Я должен был ехать вместе с Керенским в автомобиле, но выбравшись на двор, я, в указанном месте, не нашел ни Керенского, ни автомобиль и, проплутав по митингу в сквере, с величайшим трудом пропущенный обратно во дворец, —я сдал это дело встреченному случайно Гвоздеву, стремившемуся хоть немного побыть на воздухе, и охотно взявшему на себя поездку в Петропавловку. Узнав в Исполнительном Комитете, что дело в Военной комиссии все еще не сделано, я, выбиваясь уже из сил, стал снова пробираться туда.

Во главе Военной комиссии был уже кем-то назначенный Гучков, кандидат в военные министры. Вместе с тем, весь облик Военной комиссии приобретал не только чуждый, но злокачественный вид. Потратив невероятное количество энергии и времени на передвижение, я попал, наконец, в сферу Военной комиссии, в какие-то верхние корридоры, над кухней, где, нарушая все законы непроницаемости, сплошь стояли военные, ломившиеся к Гучкову. Гучков же, как говорили, заперся с великим князем Кириллом Владимировичем и был занят с ним важными делами.

Затрудняюсь сказать, почему именно, но я почувствовал, что меня охватила в этом месте атмосфера не революции, а самой доподлинной контр-революции. Офицеры были не наши и не прежние, из комнаты 41-й, а совсем иного сорта, каких я видел потом около Керенского и Пальчинского—в Главном Штабе, в эпоху корниловщины... Я не нашел никого из прежних центральных лиц Военной комиссии. Меня посылали к Гучкову, с которым я, однако, совсем не желал иметь дела.

Но, с другой стороны, к Гучкову, занятому с великим князем, не пускали, пока не узнали, что я член Испол-

нительного Комитета. Тогда вдруг все офицеры, ординарцы, приближенные—стали более чем любезны, стали просить меня «только две минуты подождать Ал—дра Ивановича», стали усиленно приглашать меня к нему и убеждали поговорить с ним, прибавляя, что он сам искал и желал повидать кого либо из «рабочих депутатов». Передо мной стали рассыпаться до того, что я почувствовал какое-то смутное подозрение,—сам не знаю, в чем. Во всяком случае, было вполне вероятно, что с Гучковым пришлось бы вести политический разговор. Я решительно отказался от этого рандеву и, назвав комнату, где можно видеть членов Исполнительного Комитета, отправился назад, ничего не добившись...

Технические условия нашей работы не стали лучше за эти сутки, с тех пор, как я снаряжал «капитана Тимохина».

* * *

Заседание Совета было в полном разгаре и имело на этот раз деловой характер, несмотря на ту страстность, какую вносили солдаты в обсуждение своих наболевших вопросов. Соколов неутомимо стоял на столе и энергично управлял бушующим под его ногами морем шинелей, совершенно подавивших черные рабочие фигуры.

Исполнительный Комитет, как таковой, не руководил этим собранием и не знал толком, что там происходит. У него не было к тому никакой возможности; но все же это было упущением, имевшим довольно существенные последствия.

Исполнительный Комитет не заседал, когда я вернулся. Все по группам, или в одиночку, были заняты текущими делами. Иных не было на лицо...

* * *

Пришло известие из Кронштадта, что там избивают офицеров, что убит адмирал Вирен и другие. Событие было чрезвычайное и могло послужить сигналом к грандиозной резне ненавистного офицерства болезненно настроенной массой. В связи с настроением, царившим в Советской зале (на почве бестактного поведения думских политиков), в связи с возможной провокацией—кронштадтские избиения могли вылиться в безудержную и гибельную стихийную бурю. Было необходимо потушить движение в зародыше... Кого-то в экстренном порядке отрядили в Кронштадт...

Приходили и другие известия о насилиях над офицерами. Было решено немедленно опубликовать воззвание к солдатам, с протестом против самосуда, с призывом установить «контакт» между солдатами и офицерами революционной армии, с указанием на «присоединение» офицерской массы к революции, на безопасность ее для солдатской вольности в новых условиях и на необходимость заменить массовую огульную месть привлечением к ответу одних лишь виновных... Я, среди шума и беспорядка, написал краткую прокламацию в этом духе, но довольно неудачно. Стеклов взялся переделывать. Наскоро прочли и отправили в типографию, чтобы расклеить по городу к ночи или за ночь...

* * *

Пришла «бумага» от нового петербургского «общественного градоначальника», назначенного Думским Комитетом. Это был вышеупомянутый Юревич, который просил Исполнительный Комитет назначить ему помощника.

Понятно, никаких назначенных градоначальников быть впредь не должно. Но временно, в процессе установления нового порядка, в градоначальстве могла быть произведена крайне полезная работа, хотя бы по разрушению старого полицейского гнезда. И авторитет Совета и его контроль в этом деле, также могли оказаться весьма целесообразными. Но работа требовала, во-первых, большой энергии и не меньшего такта, а во-вторых, специального человека. Кого послать?.. Случайно встретив в кулуарах моего старого друга и единомышленника, финансиста и государствоведа Никитского (будущего товарища петербургского городского головы), я без долгих разговоров снарядил его в градоначальство. Тут же была написана «бумага»; к Никитскому, в качестве секретаря, был прикомандирован, также случайно попавшийся, мой коллега по туркестанским делам, будущий левый с-р. Горбунов,—и места доблестных генералов от полиции—Вендорфа и Лысогорского, ныне пребывающих в министерском павильоне, были достойно замещены.

Позднее, вечером, перед открытием знаменитого ночного заседания на 2-е марта в аппартаментах думского Комитета, я сообщил, проглатывая стакан чая, Юревичу и Некрасову об этой смене чинов градоначальства,—

добавив, что я, нелегальный, подал прошение Никитскому о разрешении мне жительства в Петербурге и надеюсь на благоприятный ответ.

* * *

Часу в шестом было возобновлено заседание Комитета. Приступили к продолжению прений о власти. На этот раз Исполнительный Комитет был в полном составе,—всего с представителями партий было свыше 20 человек. На половине заседания в Исполнительный Комитет влились еще девять человек, избранных солдатской частью Совета, в качестве временных представителей петербургского гарнизона. Это были большевики—Садовский, Падерин, затем левый центр — Борисов, Барков, Баденко и дальше люди неопределенной партийности, невыясненной физиономии и невысокого уровня, вскоре исчезнувшие с горизонта... Сейчас вся эта группа, внезапно появившаяся из-за портьеры и переполнившая маленькую комнату Исполнительного Комитета, конечно, не могла войти в курс давно начатого обсуждения и, пытаясь деятельно участвовать в прениях, только мешала работе.

Порядок обсуждения был установлен такой: сначала самый характер, классовый состав первого революционного правительства — буржуазный, коалиционный или демократический; затем требования, к нему пред'являемые и, наконец, личный состав кабинета. С первым оказалось наибольше возни и разногласий. Правда, о советском демократическом правительстве никто не заикался (несмотря на вчерашний большевистский манифест, казалось-бы, к чему-то обязывавший); но зато основательный бой дали сторонники «коалиции», мобилизовавшие большие силы, чем утром.

Во главе «коалиционной» партии в этом заседании шли бундовцы—Рафес и Эрлих. К ним пристали некоторые оборонцы с-д., а главное представители «народнического» толка. Остальные дружно отстаивали невхождение в цензовое правительство. В результате было постановлено 13-ю голосами против 7 или 8: в министерство Милюкова представителей демократии не посылать и участия их в нем не требовать.

Это надо заметить: это имеет значение для оценки недоразумений с Керенским, о которых речь будет дальше.

Гораздо дружнее прошел второй пункт. Выдвинутые мною три требования от правительства были развиты и дополнены. Но идея отказа от расширения требований в перспективе свободной борьбы за неурезанную программу, идея одного лишь обеспечения свободы борьбы— эта идея так или иначе легла в основу разработки этого пункта. Дополнения не имели самостоятельного значения; они лишь комментировали и углубляли общие требования полной политической свободы и наиболее последовательного воплощения принципа народовластия в виде Учредительного Собрания.

Но все же это развитие и дополнение, эта детализация условий передачи власти буржуазии были очень важны. И я считал бы огромным упущением, если бы они не были сделаны и наши требования остались бы в том виде, в каком они рисовались мне лично до их обсуждения...

Председательствовавший Стеклов записывал отдельные пункты на листе бумаги по мере их утверждения. Насколько помню, голоса здесь почти не делились. Работа шла на редкость дружно и напряженно. Реплики ораторов были на удивление кратки. Времени было мало, и все хотели быть на высоте. Но, разумеется, избежать «экстренных сообщений» и «чрезвычайной важности дел»—было невозможно. И свои, и посторонние, несколько раз прерывали работу. Помню комическое выступление Шляпникова, ворвавшегося в разгар прений и закричавшего своим классическим владимирским говором:

— Пока вы тут занимаетесь академическими вопросами, у нас на вокзале конфисковали нашу партийную литературу. Исполнительный Комитет должен принять экстренные меры...

В развитие пункта о политических свободах был предложен и принят пункт о распространении всех завоеванных гражданских прав на солдат, которые вне строя должны быть переведены на гражданское положение. Насколько помню, предложение это было сделано одним из вновь вступивших солдатских членов Исп. Комитета.

Трудно оспаривать огромное значение этого пункта,

который в чрезвычайной степени облегчил дальнейшую работу Совета. Пункт этот, правда, сам собой разумелся и был бы проведен в жизнь независимо от торжественного обещания правительства выполнить это требование демократии. Но совершенно неоспоримо, что выделение в особый пункт этого требования и конкретное упоминание о будущей жизни армии избавило нас впоследствии от массы вредных осложнений и парализовало сопротивление буржуазии вновь созданному, чрезвычайно одиозному для нее положению армии. Борьба за армию сильно облегчилась для демократии благодаря этому, специально выговоренному условию и, благодаря ему, армия несравненно более быстро и безболезненно перешла в руки Совета.

Другой стороной того же дела, развитием и гарантией пункта о свободах, было требование уничтожения полиции и замены ее народной милицией, не подчиненной центральной власти. Ценность этого дополнения также огромна и вполне очевидна. Надо только удивляться, как могли сознательные пролетарские элементы в Германии, через полтора года, после всех уроков русской революции, упустить это необходимое и элементарное требование и оставить полицию кайзера на своем месте, в руках шейдемановско-плутократической контрреволюции. Шейдеман не замедлил воспользоваться этим незаменимым орудием в январьские дни — так же, как воспользовался бы им Милюков в апрельские, если бы демократия не вырвала этого орудия из его рук в самом начале...

В развитие требования Учредительного Собрания и народовластия были выставлены и утверждены: во-первых, возможно скорые и максимально-демократические выборы в городские и сельские муниципалитеты; а во-вторых, после интенсивных поисков надлежащей формулировки, было решено требовать, чтобы правительство «не предпринимало никаких шагов, предрешающих будущую форму правления», — с тем, чтобы Учредительное Собрание свободно решило вопрос о республике или монархии.

Муниципальные выборы, которых нельзя было осуществить без официальной власти, являлись первосте-

пенным фактором организации и закрепления демократизма в стране. Требование же насчет формы правления имело два противоположных источника: с одной стороны Милюков в одной из речей к народу уже успел предрешить отношение к этому вопросу будущего правительства и высказался в пользу регентства Михаила Романова; с другой стороны, в прениях Исполнительного Комитета—немедленное об'явление республики, не в пример другим пунктам, было выдвинуто с особой остротой.

Было найдено третье компромиссное решение, которое облегчило создание цензового министерства и вместе с тем обеспечивало республику: было утверждено полновластие Учредительного Собрания во всех вопросах государственной жизни и в том числе в вопросе о форме правления...

Следует упомянуть о довольно любопытном факте. Мы сошлись со Стекловым в мыслях по следующему предмету: мы предложили не настаивать перед «прогрессивными блоками» на самом термине «Учредительное Собрание»... Совсем недавно Милюков противопоставлял в Государственной Думе либеральную позицию демократическому лозунгу «какого-то Учредительного Собрания», указывая на всю нелепость и несообразность этой затеи. Мы считали возможным, что психологические импульсы окажутся для него непреодолимыми, и, признав неизбежным самый институт, думские заправилы не смогут переварить его названия. Мы предлагали на такой случай допустить какое-либо иное его официальное название *), категорически установив его полновластность... Но этого не потребовалось. Милюков решил, что снявши голову по волосам не плачут, и не уделил этому обстоятельству внимания. Он дал бой на другом...

Наконец, как мера гарантии, Исп. Комитетом было выставлено техническое требование — невывода из Петербурга и неразоружения воинских частей, принимавших участие в перевороте.

---

*) „Национальное", „Законодательное" Собрание или что-нибудь в этом роде.

Возник вопрос, тщательное решение которого могло оказаться очень важным, но который был скомкан и как следует, насколько помню, не доведен до конца. Вопрос о том, что может предложить Совет в ответ на требование противной стороны, взамен выполнения всех этих условий. Правая часть Исполнительного Комитета в лице тех же элементов, которые стояли за «коалицию», настаивала на поддержке будущего правительства; настаивала на том, чтобы не чинить ему оппозиции, поскольку оно не нарушает наших условий.

Я решительно восстал против этого, говоря: «если это правительство, с нашей точки зрения, есть лишь правительство закрепления переворота, если мы способствуем его образованию лишь для этой цели, то соблюдать с ними «контакт», не чинить ему оппозиции, т. е. в сущности не развертывать своей собственной демократической программы, мы можем лишь в самом процессе переворота и его закрепления. Отказаться же от всего этого вообще, или на сколько-нибудь длительный период времени, Совет не может и не должен. Это было бы самоубийством, хуже того,--это было бы убийством движения, полной капитуляцией демократии и смертным грехом перед интернационалом. Я ставил на вид, что ведь в наших условиях нет даже упоминания о мирной политике перед лицом нашего ультра-империалистского «контр-агента».

Но что до того было обывателям и оборонцам! Ведь именно здесь, в бургфридсне, пред лицом «германского милитаризма», был основной смысл той капитуляции перед буржуазией, которую они проповедывали... Вопрос был скомкан и не доведен до конца... В этом заседании появился на свет лишь зародыш будущей пресловутой формулы—«поскольку—постольку».

Вопрос мог бы оказаться в высшей степени существенным. Дипломатическая задача состояла теперь в том, чтобы также не довести его до конца при самом заключении договора, как он был смазан в Исполнительном Комитете. Но эта задача разрешилась сама собой и не доставила нам затруднений: на мудрецов Думского Комитета оказалось довольно простоты, чтобы не заметить проблемы и устремить несравненно больше внимания на сравнительные пустяки...

Последний пункт, — о личном составе правителства, — был решен без всяких затруднений. Было решено—не вмешиваться в это дело и предоставить буржуазии, как угодно, формировать министерство. Было известно, что формальным главой намечен земец—Львов, обычный кандидат в премьеры, еще в эпоху «оппозиции его величества». Вместе с тем и распределение функций между представителями думских фракций также показывало, что формируемый кабинет будет левее «прогрессивного блока» и большинства столыпинской думы... Милюков, сидевший в ней налево, должен был представлять центр, если не правый фланг будущего министерства.

Но во всяком случае, от всякого влияния на личный состав мы отказались. Было только условлено, что мы будем осведомлены о нем и отведем особо одиозных лиц, если таковые будут приглашены в правительство.

Обсуждение было закончено. Все эти решения Исполн. Комитета было необходимо провести через Совет. Повторяю, откладывать все это дело было невозможно, так как происходящее в правом крыле, позиции руководящих групп буржуазии, их планы и возможные замыслы нам были в точности неизвестны.

* *
*

Было, вероятно, около 8-ми часов. Заседание Совета все еще продолжалось, но было уже на исходе. Совет уже таял—подобно митингам и толпам в других залах дворца, затихавшего к вечеру. В Совете кончалось обсуждение солдатских дел и принимались практические решения, касавшиеся жизни гарнизона.

Было решено конституировать солдатскую секцию Совета и организовать выборы в нее: по одному на роту. —Затем было постановлено: во всех политических выступлениях подчиняться лишь Совету, «Военной же Комиссии» подчиняться постольку, поскольку ее распоряжения не расходятся с постановлением Совета.—Кроме того, было решено: дать директиву выбирать ротные и батальонные комитеты, которые заведывали бы всем внутренним распорядком жизни полков и казарм.—Далее, в виду тревоги по поводу обезоружения солдат, было постановлено: никому не выда-

вать оружия и хранить его под контролем ротных и батальонных комитетов (напомню, что полковник Энгельгардт одновременно послал в типографию приказ, в котором з а п р е щ а л отбирать у солдат оружие под страхом расстрела).—И, наконец, Совет об'являл «равноправие солдат с прочими гражданами в частной, политической и общегражданской жизни, при соблюдении строжайшей воинской дисциплины в строю».

Отголоском этого постановления и было требование представителя солдат в Исполнительном Комитете включить соответствующий пункт в цикл требований, обращенных к правительству.

Повторяю, Исполнительный Комитет, как таковой, не участвовал в принятии этих решений и не руководил заседанием. Все постановления были буквально голосом самих солдатских масс.

Совет постановил свести все эти свои решения в одном воззвании или приказе. Для составления его он избрал особую комиссию, поручив ей выполнить эту работу немедленно и представить ее на утверждение сегодня же, пока еще не разошелся Совет... Но он уже расходился, проведя в интенсивной работе много часов без передышки.

Все же, ему предстояло не только утвердить это воззвание, содержание которого было целиком ему известно и им намечено. Ему предстояло еще выслушать доклад Исполнительного Комитета по неизвестному, неразработанному в его сознании вопросу о в л а с т и и утвердить программу действий, намеченную Исполнительным Комитетом.

Было ясно, что о тщательном обсуждении этого доклада сейчас не может быть и речи. Ни для каких прений уже не было сил у непривычных к такой работе депутатов. Но надо было получить хоть предварительное одобрение общих принципов и получить санкцию на предварительные шаги, уже не терпящие отлагательства...

В Совет отправился для доклада Стеклов, сменивший на столе Соколова и захвативший с собой кого-то в председатели. Остальные члены Исполнительного Комитета поступили на растерзание текущими делами.

***

Пришло известие, что в зале «Армии и Флота» состоялось огромное собрание петербургских офицеров, выразивших готовность служить революции и высказавшихся в пользу Учредительного Собрания. Явились возбужденные офицеры, которые рассказали, что с этой революцией они отправились к Родзянке, просили принять ее к сведению и предать гласности. Родзянко обещал это сделать, но из его кабинета резолюция пошла в печать уже без Учредительного Собрания! Офицеры пришли жаловаться на злостное искажение их позиции и требовать перепечатки резолюции в ее настоящем виде...

Около 10 часов привели арестованного Сухомлинова и направили куда-то в правое крыло. Весь дворец мгновенно облетела весть об этом. Собралась толпа солдат и требовала «выдачи». Солдат успокоили и добились обещания безопасности ненавистному министру. Но они настояли на немедленном лишении его погон. Был послан делегат, вернувшийся с погонами и показавший их толпе. А затем, под конвоем членов Думы, через шпалеры выстроенных для охраны преображенцев, Сухомлинова благополучно провели в министерский павильон.

***

Стеклов еще делал доклад Совету «о власти»... Вернувшись за портьеру комнаты 13-й, где недавно заседал Исполнительный Комитет, я застал там следующую картину: за письменным столом сидел Н. Д. Соколов и писал. Его со всех сторон облепили сидевшие, стоявшие и навалившиеся на стол солдаты, и не то диктовали, не то подсказывали Соколову то, что он писал. У меня в голове промелькнуло описание Толстого—как он в яснополянской школе вместе с ребятами сочинял рассказы.

Оказалось, что это работает комиссия, избранная Советом для составления солдатского «приказа». Никакого порядка и никакого обсуждения не было, говорили все —все совершенно поглощенные работой, формируя свое коллективное мнение безо всяких голосований... Я стоял и слушал, заинтересованный чрезвычайно... Окончив ра-

боту, поставили над листом заголовок: «Приказ № 1» *).

Такова история этого документа, завоевавшего себе такую громкую славу. Содержание его целиком исчерпывается приведенными выше постановлениями Совета и, как видим, не заключает в себе ничего страшного. Вызван же он был общими условиями революции, а в частности—бестактной, провоцирующей политикой по отношению к солдатам со стороны представителей Думского Комитета.

Приказ этот был в полном смысле продуктом «народного творчества», а ни в каком случае не злонамеренным измышлением отдельного лица или даже руководящей группы... Буржуазная пресса, вскоре сделавшая этот «приказ» поводом для бешеной травли Совета, почему-то приписывала авторство его Стеклову, который неодно-

---

*) Вот этот документ полностью (из. № 3 „Известий Петр. Совета“).

ПРИКАЗ № 1. 1 марта 1917 года.

По гарнизону Петроградского Округа всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда для сведения.

Совет рабочих и солдатских депутатов постановил:

1. Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдель ных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей.

2. Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Совет Рабочих Депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым и явиться с письменными удостоверениями в здание Государственной Думы к 10 часам утра 2-го сего марта.

3. Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету Рабочих и Солдатских Депутатов и своим комитетам.

4. Приказы военной комиссии Государственной Думы следует исполнять за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и постановлениям Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

5. Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям.

6. В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане.

В частности, вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется.

7. Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т. п., и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т. д.

Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, обращение к ним на „ты“ воспрещается и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов.

Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, полках, экипажах, батареях и прочих строевых и нестроевых командах.

Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов.

кратно открещивался от него, не виноватый ни сном, ни духом... Но и Соколова никак нельзя считать автором этого документа. Этот «ра-аковой человек»,—как любил говорить Чхендзе,—явился лишь техническим выполнителем предначертаний самих масс.—Напротив, со стороны пленума Совета, это был едва-ли не единственный акт самостоятельного политического творчества за всю революцию.

* *

Пора было организовать заседание с Думским Комитетом—на предмет создания временного правительства и фиксирования его программы. Но члены Исполнительного Комитета разбрелись, не проявив достаточной заботы об этой «большой политике». Я пошел на свой страх и риск в правое крыло, чтобы условиться о встрече. Лучше всего было действовать через Керенского, и я хотел отыскать его...

Третий день революции быстро затихал, и во дворце снова пустело и темнело. Но в отдельных углах дворца предстояла рабочая ночь. Я считал необходимым настоять на немедленном совместном заседании и не откладывать его на завтра. Но голова шла кругом и мучил голод,—я, а, вероятно, и другие ничего не ели целый день.

Керенского я нашел в бывших аппартаментах Военной Комиссии, в комнате 41-й или соседней, где, по-прежнему толпились офицеры и вооруженные солдаты, но уже не было прежней тесноты. Что там происходило—не знаю. Керенский был в шубе, куда-то вызванный и готовый уехать. Около него, как всегда, была давка... Он был белее снега. Отвечал на вопросы громко, отрывисто и неопределенно.

Завладев им, я об'яснил, в чем дело. Но он плохо слушал и понимал меня. Занятый своими мыслями, он позвал меня с собой, отвел в уединенный угол комнаты и, прижав меня к стене в буквальном смысле, начал странную, мало связную речь, блуждая глазами и выкрикивая отдельные слова... Он опять говорил о доверии, или, скорее, о недоверии к нему лично со стороны руководителей демократии. Он говорил о травле, будто бы начавшейся против него, о желании поссорить его с массами,—упо-

требляя чуть ли не такие термины, как подвохи, подкопы, интриги...

Я изумленный смотрел на него. Во мне не было иного чувства, кроме удивления и жалости к человеку. Передо мной были налицо явные признаки нервного расстройства. Я пытался—не возразить, не раз'яснять, а уговорить, успокоить Керенского.

Таким я видал его впервые, но впоследствии видел таким не раз. И впоследствии мне стало очевидно, что дело тут не только в одной усталости и издерганности, что тут есть и другая сторона дела: появившаяся с первого момента уверенность Керенского в какой-то своей миссии, мгновенно возникшая готовность его защищать эту миссию, приемами «бонапартенка» и величайшее раздражение против всех, кто об этой миссии еще не догадывался... В тот вечер я видел еще только начало, только зародыши того, чему свидетелем был позднее.

По делу об организации встречи между будущим правительством и представителями демократии я так ничего и не добился. Керенский куда-то уехал, обещав скоро вернуться. А я направился в аппартаменты Думского Комитета.

Прорвав фронт юнкеров, я попал в комнату, где явно царила совсем иная атмосфера, чем у нас. Народа было уже немного. И народ этот составляли чистенькие корректные молодые люди, обслуживавшие технические нужды Думского Комитета. Затем лощеные офицеры и солидные штатские господа... Одни прогуливались по зале, другие чинно беседовали и пили чай, сервированный неведомыми в левом крыле способами, со стаканами, ложечками, чуть ли даже не сахарницами и т. п... Временный Комитет Думы заседал в другой комнате, куда доступ был прегражден еще более солидными препятствиями.

Я увидел за столом нового «общественного градоначальника»—Юревича, который разговаривал с сонным, размякшим Чхеидзе. Я подсел к ним и набросился на чай. Подошел Соколов, и мы, мимоходом, устроили маленькое совещание о положении дел в городе и о задачах нового «градоначальства».

Но надо было принимать меры к немедленному «учредительному» заседанию. В этом были согласны наличные

члены нашего Исполнительного Комитета, и я попросил от имени последнего вызвать кого-либо из членов Думского Комитета. Вышел Некрасов.

— О чем именно вы предполагаете беседовать? — спросил он, после моих об'яснений.

По тому, как он держался, я составил впечатление, что в их Комитете нашу решающую встречу также считали неизбежной. Но, не ориентируясь, в точности, в советских настроениях, там видимо предпочитали выжидательную позицию, не желая наталкивать нас на какие-либо активные шаги и предоставляя событиям идти своим естественным ходом... Может быть, в Думском Комитете полагали, что, взяв беспрепятственно в свои руки формальную власть, они без помехи и вмешательства — на свой лад завладеют и фактической властью и потихоньку закрепят ее в желательной форме, до желательных пределов, своими силами, в правом крыле. Может быть, они полагали, что вопросы общей политики между нами совсем не станут, как не стали они до сих пор.

Но во всяком случае несомненно одно: Думский Комитет стремился «потолковать» с представителями демократии по поводу «анархии» и «развала армии». Несомненно, в этом отношении он желал и собирался просить нашей «помощи», стремясь нашими руками привести к покорности себе революционную армию и пролетариат... В результате,—я затрудняюсь сказать, в какой мере я удивил и в какой мере огорчил Некрасова, ответив ему на его вопрос:

— Нам надо и придется потолковать об общем положении дел...

Некрасов отправился сообщить об этом Временному Комитету и, вернувшись, дал мне ответ:—представителей Совета Раб. Депутатов будут ждать к 12 часам.

* * *

Полночь была недалеко, до нее было не больше получаса. К этому времени должен был вернуться Керенский, и нам,—Исп. Комитету,—надлежало, не медля, сформировать наше представительство. Но Исп. Комитет к этому времени разошелся и in corpore присутствовать на сове-

щании не мог. Да в этом никакой надобности и не было. Хуже было то, что у нас не было формально уполномоченной делегации и нельзя было таковую избрать в оставшееся время. Пришлось приватно переговорить с немногими наличными членами, в результате чего ведение переговоров было возложено на четырех лиц: Чхеидзе, Соколова, Стеклова и меня.

В начале первого часа мы собрались в преддверии Думского Комитета. Нас, людей из другого мира, обступили офицеры и другие люди «правого крыла», расспрашивая о положении дел, интересуясь нашими планами и видами. У Стеклова в руках был лист бумаги,—тот, на котором он записывал решения Исполнительного Комитета и с которым он делал доклад Совету...

Вернулся Керенский. Нас пригласили в комнату заседаний Думского Комитета. Это была, очевидно, какая-то бывшая канцелярия, с целым рядом казенно-расставленных канцелярских столов и обыкновенных стульев; было еще два-три разнокалиберных кресла, стоявших где попало, но не было большого стола, где можно было бы расположиться для чинного и благопристойного заседания.

Здесь не было того хаоса и столпотворения, какие были у нас, но, все же, комната производила впечатление беспорядка: было накурено, грязно, валялись окурки, стояли бутылки, неубранные стаканы, многочисленные тарелки, пустые и со всякой едой, на которую у нас разгорелись глаза и зубы.

Налево от входа, в самой глубине комнаты за столом сидел Родзянко и пил содовую воду. У другого параллельного стола, лицом к нему, сидел Милюков над пачкой бумаг, записок, телеграмм. Дальше, у следующего стола, ближе ко входу, сидел Некрасов. За ним, уже напротив входной двери, расположились какие-то неизвестные и незаметные депутаты или другие лица, в числе 3—5, бывшие простыми зрителями... В середине комнаты от стола Родзянко до стола Некрасова на креслах и стульях расположились: будущий премьер Г. Е. Львов, Годнев, Аджемов, Шидловский, другой Львов, будущий святейший «прокурор»,—тот самый, который ездил вестником к Керенскому от Корнилова. За ними—больше стоял или прохаживался—Шульгин.

Не помню, был ли еще кто-либо и, во всяком случае, я не знаю их имен. Во время заседания не только эти остальные, но и большинство названных хранили полнейшее молчание. В частности, «глава» будущего правительства, князь Львов, не проронил за всю ночь ни слова...

Уже после начала заседания у одного из столов, стоявших вдоль другой стены, на одной линии с Милюковым, расположился Керенский. Сидя все время в мрачном раздумьи, он также не принимал никакого участия в разговорах.

Обменявшись рукопожатиями, мы уселись на стульях в ряд, в глубине комнаты: я по соседству с Родзянкой, в некотором отдалении от него, не за столом; рядом со мной Соколов, затем Стеклов и, почти у стены, против Керенского—Чхеидзе.

Председателя, формально избранного, не было: за словом приватно обращались к Родзянке. Никакого официального конституирования, открытия и ведения заседания не было. Разговор начался несколько по семейному; довольно долго он не налаживался в качестве делового и весьма «ответственного» совещания, и еще дольше не стал по существу на надлежащие рельсы, не взял быка за рога.

Однако, это не значит, что гг. члены Думского Комитета теряли даром драгоценное время. Они не знали толком, чего именно нам от них нужно, а стало быть, что им с нами делать и как «тактичнее» обойтись. Но они хорошо знали, что им от нас нужно и в полу-приватных репликах и в небольших речах, они деятельно подготовляли почву для «использования» Совета в нужных им целях.

Быть может, они надеялись, что при надлежащей их «тактичности» дело тем и кончится.

Понятно, что разговоры начались о «царившей» в столице «анархии». Один за другим — Родзянко, Милюков, Некрасов,—брали слово для того, чтобы ужасаться происходящему и нудно рассказывать об отдельных случаях эксцессов... Рассказывали о том, что было нам наизусть известно: о развале в полках, о насилиях над офицерами, о всяких погромах, столкновениях и т. д. Нас стремились «с'агитировать», чтобы потом использовать для восстановления «порядка»...

Но агитаторы не замедлили убедиться, что они ломятся в открытую дверь. Они увидели, что им не только не возражают, не только не стремятся ввести в рамки рисуемые ими картины, смягчить их тона, сказать что-либо в ограничение или в оправдание «анархии»,—но всецело присоединяются к ним в полном признании и самих фактов, и их крайней опасности для революции. Тогда лидеры Думского Комитета уже начали переходить непосредственно к пропозициям насчет «контакта», содействия и поддержки...

Мне показалось, что уже за глаза достаточно этого распыления беседы и затемнения как центрального вопроса, так и общего положения дел, а также достаточно и затемнения взаимоотношений сторон... Я впервые взял слово и указал, что в борьбе с анархией заключается сейчас основная «техническая» задача Совета Рабочих Депутатов, что борьба эта—в его интересах—никак не меньше, чем в интересах Думского Комитета, что борьба эта им ведется и будет вестись, что, в частности, об отношении к офицерству нами уже печатается специальное воззвание к солдатам,—но что во всем этом отнюдь не заключается основная цель данного совещания. Временный Комитет Государственной Думы, взявший в свои руки исполнительную власть, еще не является правительством, даже «временным»; предстоит создать это правительство, и на этот счет существуют, несомненно, определенные намерения и планы у руководящих групп Государственной Думы. Совет Рабочих Депутатов, с своей стороны, предоставляет цензовым элементам образовать временное правительство, считая, что это вытекает из общей наличной кон'юнктуры и соответствует интересам революции; но он, как организационный и идейный центр народного движения, как единственный орган, способный сейчас ввести это движение в те или иные рамки, направить его в то или иное русло, как единственный орган, располагающий сейчас реальной силой в столице,—желает высказать свое отношение к образуемой в правом крыле власти, выяснить, как он смотрит на ее задачи и, во избежание осложнений, изложить те требования, какие он от имени всей демократии пред'являет к правительству, созданному революцией.

Наши собеседники ничего не могли возразить против такого «порядка дня» и приготовились слушать. С докладом, по нашему соглашению, выступил Стеклов, торжественно вставший со своим листом бумаги. Он говорил довольно долго, последовательно излагая и подробно мотивируя каждое из наших требований. В этом собрании квалифицированнейших политиков всей буржуазной России, он, видимо, повторял свой доклад, только что сделанный на советском «митинге», раз'ясняя в самой общедоступной форме пункт за пунктом социалистической «программы-минимум».

— Популярная лекция,—думал я, слушая разливавшегося рекой оратора.

Но я не скажу, чтобы в этом собрании эта популярная лекция была излишней. Я не сомневаюсь, что большинство присутствующих политиков не имело надлежащих представлений о принципиальных основах нашей позиции, о демократической программе и, в частности, о «каком-то Учредительном Собрании». Все внимательно слушали, один Керенский был рассеян, угрюм и демонстративно пренебрежителен...

Стеклов старался связать наши требования в единое целое, агитируя, убеждая в их рациональности и приемлемости, делая исторические экскурсии и иллюстрируя практикой западной Европы. Особенно он остановился на вопросе о «переводе армии на гражданское положение»,—считая, что этот пункт вызовет неизбежную оппозицию, и стараясь доказать, что это требование вполне совместимо с сохранением боеспособности армии, которая не ослабнет, а увеличится по мере приобщения армии к революции и дарования солдатской массе всех человеческих, политических и гражданских прав.

На лицах многих из присутствовавших «цензовиков» появилось выражение беспокойства и растерянности. Но, насколько вспоминаю, Некрасов хранил полное спокойствие, а на лице Милюкова можно было уловить даже признаки полного удовлетворения.

Это было понятно тому, кто не столько следил за докладом, сколько за аудиторией, стремясь возможно правильнее ориентироваться во всей совокупности обстоятельств: ведь Милюков, несомненно, ждал требований по внешней политике; он опасался, что его захотят свя-

зать обязательством политики мира. Этого не случилось, и это не только крайне облегчило положение тогдашнего лидера цензовой России, уже познавшего вкус власти, уже завязившего в ней коготок, но доставило ему минуты душевного удовлетворения, ощущение торжества — на этом «историческом» заседании.

Стеклов кончил—выражением надежды, что мы сговоримся, что образуемый кабинет примет наши требования и опубликует их, как свою программу,—в той декларации, которая оповестит народ о создании нового первого правительства революции.

Заговорил в ответ Милюков. Заговорил от имени всего Думского Комитета, и это всеми, как бы само собой разумелось. Видно было, что Милюков здесь не только лидер, что он хозяин в правом крыле. Другие после высказывали свои мнения по разным пунктам программы. Но фактически Милюков уже за них давал нам ответ.

— Условия Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, —сказал он,—в общем приемлемы и в общем могут лечь в основу соглашения его с Комитетом Госуд. Думы. Но все-же, есть пункты, против которых он решительно возражает.

Милюков попросил дать ему лист бумаги, где была изложена наша программа и, переписывая ее, делал свои замечания... Амнистия разумеется само собою. Милюков, не делая активно ни шагу и лишь уступая, не счел приличным спорить против амнистии и терпел ее до конца, не очень охотно, но вполне послушно записывая... «по всем преступлениям, аграрным, военным, террористическим». То же самое было со вторым пунктом —политическими свободами, отменой сословных, вероисповедных ограничений и т. д. От Милюкова требовали и он уступал.

Но вот третий пункт уже вызвал решительный отпор со стороны лидера будущего министерства. Пункт третий гласил: — «Временное правительство не должно предпринимать никаких шагов, предрешающих будущую форму правления»... Милюков отстаивал монархию и династию Романовых, с царем Алексеем и регентом Михаилом.

Для меня лично было довольно неожиданно не то, что Милюков отстаивал романовскую монархию, а то,

что из этого он делает самый боевой пункт всех наших условий. Теперь я хорошо понимаю его и нахожу, что со своей точки зрения он был совершенно прав и весьма проницателен.

Он расчитывал, что при царе-Романове и, может быть, только при нем он выиграет предстоящую битву, возьмет азартную ставку, оправдает огромный риск, на который в лице его идет вся буржуазия, как господствующий класс. Он полагал, что при царе Романове остальное приложится, и не боялся, не так боялся, считая недопустимыми, преодолимыми—и свободы армии, и «какое-то» Учредительное Собрание...

Его соратники, сравнительно с ним в большинстве простые обыватели, к тому же, охваченные сейчас «революционным энтузиазмом»,—в этом деле и в этих перспективах разбирались довольно плохо («обыватель глуп»,—слышал я раньше Милюкова в разных общественных собраниях)... Прочие думцы, чуть не до Родзянки, не так цеплялись за монархию и Романовых; и Милюков из лидера оппозиции вдруг оказался на крайне правом фланге. Он потерпел крах, но он знал, что делал.

Однако, положение его было крайне затруднительно. Перед нами, он, естественно, не мог развернуть лицом свою аргументацию, не мог даже намекнуть на нее. И естественно, был крайне слаб, даже нечленоразделен в занятой им позиции «по третьему пункту»,—что, впрочем, отнюдь не уменьшало его упорства.

Он делал нам «либеральные авансы», указывая, что Романовы теперь уже не могут быть опасны, а Николай и для него не приемлем и должен быть устранен. Он был наивен, когда убеждал нас в приемлемости для демократии его «комбинации», говоря про своих кандидатов: «один больной ребенок, а другой совсем глупый человек»...

Милюкову, в его положении, конечно, не могли бы помочь вообще никакие теоретические аргументы; такая же аргументация, во всяком случае, могла только провалить дело... Но другая, настоящая, не годилась, и Милюков просто упорствовал, без аргументов, приводя в некоторое смущение даже иных коллег из «прогрессивного блока».

Чхеидзе и Соколов отмечали не только неприемле-

мость, но и утопичность плана Милюкова,—указывая в репликах на всеобщую ненависть к монархии и на острую постановку вопроса о династии среди народных масс. Они говорили, что попытка отстоять Романовых, под нашей санкцией, совершенно абсурдна, немыслима и вообще ни к чему бы не привела... Но лидер буржуазии был неумолим и, видя бесплодность спора, обратился к дальнейшим пунктам.

Он прошел всю программу до конца, приемля и выборы в муниципалитеты, и отмену полиции, и Учредительное Собрание, с его подлинным именем и всеми надлежащими аттрибутами. Он выразил, затем, удивление, как можно предполагать покушение правительства на разоружение и вывод революционных полков без настоятельной стратегической к тому потребности. Возражая, далее, против перевода армии, вне строя, на гражданское положение, он не отвергал этого пункта в принципе и говорил лишь об его опасности. И, наконец, он снова вернулся к третьему пункту, указывая, что для него он единственно не приемлем, тогда как об остальных можно столковаться.

Следующим говорил Родзянко. Насколько я помню, он остановился преимущественно на сроке созыва Учред. Собрания и выборов в него. Мы требовали немедленного приступа к работам по организации выборов и скорейших выборов, независимо ни от каких обстоятельств. Родзянко указывал на невозможность их, в частности, для армии во время войны. Но говорил он далеко не «категорически», скорее в порядке сомнений. Не помню, чтобы он поддержал Милюкова в вопросе о монархии и регентстве...

Далее произнес речь Шульгин, который перенес центр тяжести в пункт о распорядках в армии. Он говорил о войне, о победе, о патриотизме и крайней опасности нашей «военной программы». Но никакой ультимативности в его речи я тоже не помню, и насчет монархии, он, рекомендуясь монархистом, был мягче Милюкова, высказывая лишь свои общие взгляды по этому предмету.

Едва ли совсем промолчал Некрасов; но в моей памяти не осталось ничего от его выступления, если оно было.

Но ясно вспоминаю смешную, длинную, лысую, усатую фигуру будущего прокурора Львова, громко, длинно и наивно говорящего речь из своего глубокого кресла. Этот деятель,—далекий от политики, но недалекий вообще обыватель,—принадлежал в Думе к какой-то правой партии—националистов или земцев-октябристов. Но в первых словах своей речи он об'явил себя республиканцем и говорил об ужасе возможного возврата царизма, лучше которого смерть. Возврат же царизма возможен в результате военного поражения, военное же поражение может быть в результате политики Совета Рабочих Депутатов и, в частности, тех преобразований в армии, на которых мы настаиваем. В общем, этот «член кабинета» ничего существенного не прибавил к сказанному раньше.

Следующее слово было мое. Я очень кратко указал на то, что пред'явленные требования, во-первых, минимальны, во-вторых,—совершенно категоричны и окончательны. Я отметил, что среди масс, с каждым днем и часом, развертывается несравненно более широкая программа, и массы идут и пойдут за ней. Руководители напрягают все силы, чтобы направить движение в определенное русло, сдержать его в рациональных рамках, но если эти рамки, при сложившихся обстоятельствах, будут установлены неразумно, не будут в соответствии с размахом движения, то стихия сметет их, вместе со всеми проектируемыми правительственными «комбинациями». Стихию можем сдержать или мы, или никто. Реальная сила, стало быть, или у нас, или ни у кого. Выход один: согласиться на наши условия и принять их, как правительственную программу.

Обмен мнений по существу наших требований был окончен. Милюков снова взял слово:

— Это в а ш и требования,—сказал он,—обращенные к н а м. Но м ы имеем к в а м с в о и требования...

— Начинается,—подумал я, не сомневаясь, что последует попытка с в я з а т ь С о в е т о б я з а т е л ь с т в а м и п о д д е р ж к и п р а в и т е л ь с т в а, об'явившего декларацию, продиктованную представителями демократии.

Но как это ни странно, такой попытки не последовало, или, по крайней мере, она не приняла никаких от-

четливых очертаний и реальных форм. Милюков стал говорить о другом: о немедленных мероприятиях Исполнительного Комитета в деле водворения порядка и спокойствия и, в частности и в особенности, в деле налаживания контакта между солдатами и офицерами.

Милюков требовал от нас декларации, в которой было бы указано, что данное правительство образовалось по соглашению с Советом Рабочих Депутатов, что «постольку» это правительство должно быть признано законным в глазах народных масс и заслуживать доверия их; главное же он требовал, чтобы в этой декларации был призыв к доверию офицерству и к признанию солдатами командного состава.

Милюков отлично ориентировался в положении дел. Он понимал, что без «соглашения» с Советом Рабочих Депутатов никакое правительство не может ни возникнуть, ни существовать. Он понимал, что в полной власти Исполнительного Комитета дать власть цензовому правительству, или не дать ее. Он видел, где находится реальная сила, с которой неизбежно быть в контакте и в чьих руках находятся средства обеспечить для новой власти и необходимые условия работы, и самое ее существование. Милюков видел, что он принимает власть не из рук царскосельского монарха, как он хотел и на что рассчитывал в течение всего последнего десятилетия,—а принимает власть из рук победившего революционного народа. Как хорошо он понимал это и какое значение придавал он этому факту, видно хотя бы из его настоятельных просьб о том, чтобы *наши декларации были напечатаны и расклеены вместе, по возможности на одном листе, одна под другой*...

Все это не мешало потом Милюкову-министру, Милюкову-лидеру оппозиции справа, рвать и метать против того, что «*частные учреждения и группы*», в лице Советов, налагают руку на управление страной, вмешиваются в государственную жизнь и в дела правительства. В мартовские дни Милюков, равно как и его коллеги отдавали себе полный отчет в том, что такое «эти» частные группы и учреждения...

Что касается «минимальности» наших требований и общей позиции, занятой *циммервальдским* Испол-

нительным Комитетом, то на такую «умеренность» и на такое «благоразумие» Милюков не рассчитывал. Он был приятно удивлен нашей общей позицией по вопросу о власти и чувствовал величайшее удовлетворение от того, как разрешили циммервальдцы проблему войны и мира в связи с образованием власти. Он и не думал скрывать свое удовлетворение и свое приятное удивление.

В ответ на замечание, что наши требования минимальны, необходимы и наши условия окончательны,—Милюков полу-приватно бросил характерную фразу:

— Да, я слушал вас и думал о том, как далеко вперед шагнуло наше рабочее движение со времени 1905 года...

Этот комплимент Милюкова был бы не особенно лестным для нас, если бы он не был преждевременным.

* * *

В это время вошел Энгельгардт, с ординарцем, и сообщил, что Родзянку требуют из ставки к прямому проводу. Требовали, на самом деле, не из ставки, а из Пскова, куда приехал царь (через Дно), к 8 часам вечера... Беседа наша была прервана.

Родзянко заявил, что он один на телеграф не поедет.

— Пусть «гг. рабочие и солдатские депутаты» дадут мне охрану, или поедут со мной,—сказал он, обращаясь к нам,—а то меня арестуют, там, на телеграфе... Можно-ли мне ехать, я не знаю, надо спросить у гг. депутатов!..

Старик вдруг разволновался.

— Что ж! у вас сила и власть,—возбужденно продолжал он.—Вы, конечно, можете меня арестовать... Может быть, вы всех нас арестуете, мы не знаем!..

Мы успокоили недавнего думского громовержца, у которого нервы перестали выдерживать тяжесть событий, и уверили его, что особа его будет не только неприкосновенна, но самым тщательным образом нами охранена.

Соколов вышел, чтобы дать Родзянке надежных провожатых, и Родзянко отправился на телеграф, для последней беседы со своим недавним повелителем и опереточным «властелином» шестой части земного шара...

Было три часа. Как известно, во Пскове у аппарата Родзянку ждал генерал Рузский, которому председатель Думы и описал положение дел под впечатлением нашей

беседы. Необходимость, или, по крайней мере, неизбежность отречения Николая была указана Родзянкой в подлинных словах. Еще-бы! Теперь даже Милюков признавал эту необходимость...

После этого разговора, царь, информированный генералом Рузским, действительно решил отречься от престола в пользу Алексея, и об этом тут же, в пятом часу утра, была составлена и подписана царем телеграмма,— пока мы все еще заседали в «правых» аппартаментах Таврического дворца. Телеграмма эта, однако, не была отправлена.

* * *

Вопрос об условиях образования власти был предварительно выяснен. Мы перешли к последним репликам— насчет личного состава и доложили постановление Исполнительного Комитета. Нам сообщили намеченный личный состав,—не упоминая, между прочим, о Керенском. Мы помянули не добром Гучкова, поставив на вид, что он может послужить источником осложнений. В ответ нам сообщили, что он, при своих организаторских талантах и обширнейших связях в армии, совершенно незаменим в настоящих условиях. Ну, что-ж,— пусть приложит свои таланты и использует свои связи, —мы завяжем свои...

Удивлялись насчет Терещенки. Откуда и почему взялся этот господин и какими судьбами попадает он в министры революции?..

Ответ был довольно сбивчив и туманен: недоумевали, видимо, не одни мы. Но мы не настаивали на членораздельном ответе.

* * *

Во время этого разговора (чтобы не сказать **causerie**) вернулся Соколов и сообщил, что в настоящую минуту Гучков, в качестве председателя военной комиссии, от своего имени печатает прокламацию к войскам, корректуры которой, он, Соколов, только что видел. В прокламации речь идет о «германском милитаризме», о «полной победе» и о «войне до конца»...

Мы забеспокоились. В атмосфере разлагающегося со-

брания, обращаясь к Милюкову, я указал, что подобные выступления, правда, не предусмотрены нашими писаными условиями,—но ему, Милюкову, должно быть ясно, что их надо считать, по меньшей мере, неуместными, в данный момент,—в силу неписанного молчаливого «соглашения».

Ведь Думский Комитет видит, что весь Совет in corpore свернул, снял с очереди свои военные лозунги, под которыми работали советские партии до сих пор. Это сделано для того, чтобы дать возможность утвердиться новому статусу вообще, и дать возможность образоваться цензовому правительству, в частности. Разве не ясно, что такое положение для нас есть огромная жертва, что оно совершенно противоестественно и крайне тяжело? И оно может продолжаться лишь постольку, поскольку противная сторона отвечает тем же.

Положение перед массами, перед Европой, обязывает партии. Неосторожность или бестактность одной стороны неизбежно вызовет реакцию другой. И за последствия этого никто не может ручаться. Выступления, подобные гучковской прокламации, должны поэтому, в данный момент, тщательно взвешиваться и, по возможности, пресекаться. Конкретно прокламацию Гучкова надлежит задержать.

Милюков внимательно слушал и, видимо, хорошо усваивал. Мало того, я утверждаю, что в эти несколько дней в данном отношении он проявлял несомненную и большую осторожность. Лидер и идеолог неистового империализма, он, несомненно, дал директивы по своей кадетско-думской армии—«не дразнить» Совет своими военными лозунгами и таковые развертывать с надлежащей постепенностью. Но... положение его обязывало более, чем кого-либо, и эта идиллия продолжалась недолго.

Принесли и корректуру самой прокламации, которой завладел Керенский, все еще не проронивший ни слова в своем кресле. Керенский читал слишком долго. Я протянул руку за прокламацией, но Керенский не дал мне ее. Я тогда встал с места и прочитал прокламацию стоя позади кресла Керенского. Прокламация была напечатана огромными буквами, для расклейки на улицах.

Ничего особенно страшного в ней не было—в смысле

контр-революционности или провокации масс. Но она была полна самого трескучего шовинизма, вполне предопределяла отношение будущего правительства к войне и являлась документом, способным совершенно извратить соотношение сил в революции и спутать все представления о действительном отношении к войне со стороны советской демократии.

Прокламация исходила от начальника военной комиссии, состав и происхождение которой были неясны. Прокламация не могла обойтись без решительного контрвыступления Совета. А при таких условиях прокламацию было необходимо задержать. Мы, советские делегаты, решительно высказались в этом смысле и, не дожидаясь того, что скажет на этот счет противная сторона, сделали распоряжение о задержании прокламации.

Я констатирую, что это не вызвало отпора со стороны Думского Комитета. Милюков понял и согласился, что к задержанию прокламации Гучкова мы имели слишком достаточные м а т е р и а л ь н ы е основания; при наличности их не стоило поднимать вопрос о ф о р м а л ь н ы х п р а в а х.

* * *

Наше предварительное совещание было окончено. Милюков об'явил, что все выясненное в нашем совместном заседании теперь должен обсудить Временный Комитет Государственной Думы, вместе с намеченными членами Временного Правительства. Кроме того, надо было привести в окончательный вид декларацию Временного Правительства, состоящую, главным образом, в изложении продиктованной нами программы. А тем временем и мы должны были, по предложению Милюкова, заняться составлением н а ш е й декларации—в намеченном выше духе,—чтобы опубликовать их одновременно.

Мы условились встретиться снова через час, около 5 часов, в той же комнате. В среде «цензовиков» Милюков форсировал это дело так же, как я «гнал» его в левом крыле. По его словам, оно не терпело ни малейшего отлагательства: каждый час еще мог принести неожиданность. Оттяжка могла внушить населению мысль, что правительство никак не может образоваться, что у «цен-

зовиков» с демократией происходят непреодолимые трения и т. д. Положение должно было быть немедленно определено—во избежание осложнений и опасностей.

И несмотря на всеобщее изнеможение, на явную склонность к отдохновению большинства присутствовавших «думских людей», мы решили: немедленно каждой стороне сделать свои дела, затем собраться и кончать дело о власти, как можно скорее.

* * *

Было около четырех часов утра, когда мы оставили комнату Думского Комитета. В преддверии ее нас обступили штатские и военные «ад'ютанты» будущих министров—с вопросами, что вышло из нашего совещания, пришли ли к соглашению и т. д.

Чхеидзе немедленно исчез, и я в это утро больше не видел его. Стеклов и Соколов отправились в помещение Исполнительного Комитета повидать дежурных, спросить, что случилось нового и доложить о том, что делали и чего достигли мы.

Я же взялся писать декларацию Исполнительного Комитета и сел с записной книжкой тут же, в аппартаментах Думского Комитета. Но я ничего не мог сделать: голова была пуста так же, как был пуст желудок, в комнате было людно и шумно,—громко спорили, обращались с вопросами ко мне. Я написал несколько фраз о «борьбе с анархией», составивших второй абзац этого «документа», и должен был бросить работу—в полном бессилии кончить ее. Подошел Соколов, который взялся заменить меня, а я собирался отправиться в Исполнительный Комитет.

В это время из комнаты, где мы заседали, вышел Керенский, который сообщил нам, что ему предлагают портфель министра юстиции. Не только предлагают, но убеждают и просят принять. В искренности убеждающих и просящих не могло быть сомнений: заложник в лице Керенского был им весьма желателен в данной совокупности обстоятельств.

Керенский снова спрашивал, как ему поступить. Но было ясно, как он поступит. Я повторил ему то же, что говорил утром. Но это не удовлетворило его так же, как утром... Его вопрос сводился не к тому, быть ему или не

быть министром. Он хотел не совета. Цель его разговора была—узнать, поддержит ли его Совет в лице его руководителей, признает ли его своим, когда он будет министром. Он хотел поддержки.

В этом смысле я его не обнадеживал и по прежнему высказался отрицательно. Керенский был более, чем не удовлетворен: он снова стал раздражен. Он хотел быть и советским человеком, и министром, но... больше министром.

Впрочем, он выглядел гораздо лучше и спокойнее, чем несколько часов тому назад...

* * *

Во дворце было тихо и почти пусто. В вестибюле и Екатерининской зале спали на полу едва заметные группы солдат. Остальные уже разошлись по казармам и не чувствовали потребности в таком ночлеге.

Впрочем, весь город в эти дни был насквозь пропитан солдатами, стекавшимися в столицу по всем дорогам со всех сторон...

У дверей всетаки стоял караул. В корридоре я встретил Гучкова, направлявшегося только теперь в Комитет Государственной Думы. Я остановил его и оповестил о судьбе его прокламации, изложив в двух словах мотивы ее задержания. Гучков выслушал, усмехнулся и, ничего не сказав, пошел дальше. В зале Совета я заметил Караулова, который почему-то сидел там и с кем-то разговаривал; мне показалось, что вид у него не совсем трезвый.

В Исполнительном Комитете сидели за какими-то делами два-три члена. Особенного ничего не случилось. Стеклов рассказывал о нашей беседе с будущим правительством. Я поспешил к телефону, чтобы дать последние сведения в «Известия». Но № 3 уже печатался. Было поздно, и я рассказал новости лишь для редакции.

Кстати, я осведомился, напечатано ли отправленное днем воззвание к солдатам и как его думают распространить. Пошли справляться и дали ответ: были присланы два воззвания к солдатам, которые, по словам говорившего (кажется, Тихонова), противоречили друг другу. Одно из них, о правах солдат, напечатано: это был «Приказ № 1». Другое же—наборщики прочли, не согласились с ним и отказались набирать его: это было воззва-

ние против самосудов и насилий над офицерами, написанное мной и выправленное Стекловым...

Самоуправство наборщиков возмутило меня тем более, чем менее оно оправдывалось существом дела, а следовательно—было признаком их нежелательного умонастроения по части избиений офицерства. Нетерпимо было такое положение дел и с формальной стороны: в такой момент руководство высшей политикой было по меньшей мере неудобно возлагать на случайную группу наборщиков. Так недолго до непоправимого греха. Я устроил скандал в телефон, просил усугубить его кого-то из членов Исполнительного Комитета, но делать было нечего, наборщики разошлись, набрать прокламацию было уже нельзя,—а на завтра Соколов в думских аппартаментах корпел уже над другим воззванием, при котором первое было не нужно.

* * *

В это время в комнату врывается кто-то из правых членов Исполнительного Комитета, потрясая какими-то печатными листками и извергая проклятия.

Листок оказался прокламацией, которую выпустила петербургская организация с.-ров, руководимая Александровичем, вместе с «междурайонцами», т. е. автономгласившейся их обслуживать; они об'единились также и в эти дни не только на почве единства типографии, согласившейся их обслуживать; они об'единились также и на почве ультра-«левых» взглядов, которые они не умели отстаивать (и даже выразить) в Совете, но которые они,—с большим рвением, чем с искусством и здравым смыслом,—проповедывали в своих прокламациях.

Их первое воззвание, попавшееся мне в руки днем, требовало образования рабочего правительства (подобно большевистскому Центральному Комитету). Но сейчас, со второй прокламацией, было гораздо хуже: она была направлена специально против офицеров. Насколько помню,—были в ней какие-то ссылки на убийство Вирена, фразы вроде: «Долой романовских прислужников». Во всяком случае, это было одобрение насилий и призыв к полному разрыву с офицерством. И не могло быть сомнений: в данную минуту он более неуместен и опасен, чем

когда-либо,—не только по погромно-техническим причинам, но и по соображениям «высокой политики».

Вбежавший член Исполнительного Комитета (не помню кто), кричал, что это прямая провокация всеобщей резни, погрома и срыва всей революции. Он говорил, что прокламация эта уже ходит по городу в большом количестве, и целые кипы ее, заготовленные на завтра, лежат в комнате 11-й, в канцелярии Исполнительного Комитета. Товарищ был в полном отчаянии, едва ли не в слезах и требовал немедленного задержания прокламации... *). Вопрос был тут же поставлен на обсуждение наличного состава Исполнительного Комитета.

Вопрос был не только неприятный, но и не легкий: дело шло о наложении руки на свободное слово социалистической группы (при задержании прокламации Гучкова, я—должен сознаться,—этого отнюдь не почувствовал и об этом не вспомнил). Но с другой стороны, и момент, и вопрос были слишком остры, может быть решающи. При недоверии, возбуждении, тревоге, царивших в солдатской массе, которая переполняла город, при провокации во всех видах и формах, практиковавшейся со стороны «темных сил»,—каждое подобное выступление могло оказаться спичкой, брошенной в пороховой погреб, могло бы так развязать стихию, что вновь стала бы на карту победившая революция.

В частности, никакое правительство при таких условиях образоваться не могло бы; это было бы не правительство, а бессильная жертва стихии. И, наконец, тут возникал важный формальный вопрос: группа, представленная в Совете и в Исполнительном Комитете предпринимает важнейшие шаги без их ведома и в полном противоречии с их решениями. Допустимо ли это? И как же должен в таком случае поступать Совет?.. Этот вопрос должен быть завтра же поставлен во всем об'еме в Исполнительном Комитете.

---

*) Теперь припоминаю, что это был Б. О. Флеккель, правый с.-р., совсем молодой, честный, самоотверженный работник революции, в сентябре 1918 г. расстрелянный большевиками при попытке перехода через восточную фронтовую границу... Милый „Боренька"! Мои отношения с ним не были ни близки, ни приятны. Еще при царизме он „возненавидел" меня, „пораженца", как своего врага; я же никогда не упускал случая выразить ему мое „презрение" за его правоболотные взгляды и слепую преданность Керенскому. Но ничто не должно и не может омрачить светлую память этого преданного революционера и хорошего человека... В эту ночь он действительно плакал в страхе за революцию.

Влетел, как буря, Керенский, совершенно взбешенный, задыхающийся от злобы и отчаяния. Стуча по столу, он не только обвинял авторов и издателей листка в провокации, но прямо отождествлял их деятельность с работой царской охранки, высказывал недвусмысленные подозрения и грозил виновникам всякими карами. Большинство присутствовавших сдерживало пыл не в меру расходившегося «народного трибуна», но в об'ективной оценке факта в общем—сходилось с ним.

Было решено: прокламацию задержать—до завтрашнего решения Исполнительного Комитета; вопрос же завтра поставить в его полном об'еме. Я подал голос за это решение и даже отправился в комнату 11-ю, чтобы привести его в исполнение.

Там, действительно, лежали два или три тюка этих воззваний, а при них находился большевик—член Исполнительного Комитета, Молотов, который вступил со мной в довольно энергичные пререкания, но все же подчинился и отдал тюки без особого скандала... Возможно, что он просто признал нашу правоту—в вопросе, которого эти группы до того себе не ставили.

Провозившись несколько времени с этим кляузным делом, я снова направился в правое крыло. Караулов все еще сидел в зале Совета, и мне показалось, что он пустил мне вслед какое-то ругательство.

* * *

В правом коридоре я встретил Керенского, направлявшегося из комнат Думского Комитета в бывшие аппартаменты Военной Комиссии. Он был уже не столько взбешен, сколько расстроен, растерян и терроризован.

— Ну вот, дождались,—начал он,—комбинация расстроена... Соглашение сорвано... Они не соглашаются при таких условиях образовать правительство.

Керенский быстро повернул в комнату 41-ю. Я ничего не понимал и последовал за ним. В чем дело?.. Произошло что-нибудь новое или это—игра «цензовиков», способ давления через Керенского, род шантажа (к которому впоследствии правительство Милюкова и прибегало довольно систематически)?..

Я готов был также растеряться и требовал раз'яснений.

— Посмотрите, что там написал Соколов! Какую декларацию!—говорил Керенский, не то с отчаянием, не то с каким-то злорадством, видя во мне подходящий об'ект для своего негодования на «левых».—Вместо декларации, о которой он говорил, он написал погромную прокламацию против офицеров! Ее прочли и признали невозможным при такой позиции Совета строить правительственную власть!..

Дело было не так страшно, если оно было только в том, о чем говорил Керенский. Но оно было не только в этом. Кто-то потом говорил мне, что явившийся после нашего заседания Гучков устроил род скандала своим коллегам—прежде всего по поводу основ нашего «соглашения» в части, касающейся армии. Но главное—он был потрясен фактическим соотношением наших сил и тем будущим положением правительства, которое ему вырисовывалось в перспективе. Случай с его прокламацией глубоко потряс его, он был для него и неожиданным, и непереносимым. И он отказался участвовать в правительстве, которое лишено права высказаться по кардинальному вопросу своей будущей политики, и не может выпустить простой прокламации.

Выступление Гучкова произвело пертурбацию и, возможно, что оно действительно подорвало тот «контакт», который, казалось, уже обеспечил образование правительства на требуемой нами основе. Возможно, что под влиянием Гучкова наше соглашение действительно немного затрещало—хотя я не думаю этого.

Но Керенский тогда не рассказал мне о Гучкове ни слова. К его услугам подоспела декларация, написанная Соколовым, которая позволила Керенскому в разговоре со мной свалить «срыв соглашения» на «левых»...

Я хотел направиться в Думский Комитет, чтобы разузнать, как следует, в чем дело, и принять, со своей стороны, надлежащие меры. Но Керенский заявил, что там сейчас совещаются и готовят окончательное решение, которого надо подождать.

В комнате 41-й, где мы находились, было почти пусто. На диване сидела жена Керенского, Ольга Львовна, кажется, с Зензиновым. Керенский уселся рядом, поджав ноги и злобно продолжая свою речь. Он направлял свои

стрелы против руководителей Совета, хотя в том, что он говорил, они были не виноваты, ни сном, ни духом...

— Еще бы! О чем же можно сговориться, когда партии действуют вместе с провокаторами... Развал полный во всем... Никакого руководства и никакой власти... Солдатчина прет отовсюду и нет никаких сил удержать ее. Конечно, начнутся погромы, убийства, голодные бунты... Я предвижу самый страшный конец всему.

— Вот начинается!.. Слышите? — истерически продолжал он, привставши с места и прислушиваясь к шуму шагов и топоту десятков ног, начавшемуся снова в соседних залах.—Слышите? Начинается утро, опять ползут сюда какие-то толпы, какие-то люди, без всякого дела, неизвестно зачем! Опять будет праздная толпа слоняться весь день, не работая и мешая... Атмосфера разложения. И все это питают... Классовая борьба!.. Интернационалисты!.. Циммервальдцы!..

Керенский снова пришел в истерическое состояние. Я поспешил оставить его—не потому, что Керенский во всем был абсолютно не прав, а потому, что разговор на эту тему был абсолютно бесплоден.

Я направился в комнаты Думского Комитета. Там в приемной, почти опустевшей—два-три «ад'ютанта» говорили таинственным полушепотом о том, что Гучков отказался войти в правительство, и весьма тревожились по этому поводу. Я прошел дальше.

* * *

Оказалось, что Соколов за это время действительно написал проект декларации и, не ознакомив с ним нас, прочел его прямо Думскому Комитету, или, вернее, нескольким оставшимся в наличности «цензовикам».

Проект этот был действительно неудачен. Он был посвящен целиком выяснению перед солдатами «физиономии» офицерства. Как бы ни была правильно описана эта физиономия, вывод из этого описания был сделан Соколовым неправильно: он умозаключал в конце, что офицерство не надо бить, а надо поддерживать с ними «контакт»; на деле же, для беспристрастного читателя— из его декларации следовало, что никакой «контакт» с офицерами не мыслим, а пожалуй, их следует основательно бить.

Конечно, среди «цензовых» слушателей «ра-акового» человека, произошло смятение. Иные, может быть, и на самом деле были не прочь использовать этот неудачный литературный дебют для «срыва комбинации». Но едва ли: он годился максимум для того, чтобы терроризировать Керенского. В общем—на наших переговорах он, конечно, никак не отразился.

В комнате, где мы заседали, уже почти никого не было из прежних участников и зрителей совещания. Огни были потушены, в окна уже глядело утро, и были видны сугробы снега, покрытые инеем деревья в пустынном Таврическом саду... За столом, у последней зажженной лампы, сидели Милюков и Соколов.

Милюков писал, и на мой вопрос я получил ответ, что все в порядке, что Родзянко еще не вернулся с телеграфа, что декларация Соколова неудачна и подлежит радикальной переделке... Никаких следов от инцидента с Гучковым и вообще от какого-либо инцидента, повергшего в панику Керенского, я не обнаружил и не видел.

Милюков видимо рассуждал трезвее Гучкова и рассчитывал либо уладить с ним дело, либо... обойтись без него. Не знаю, как обсуждали цензовики наши требования и что решили. Но—«все было в порядке», дело двигалось вперед так, как если бы «соглашение» уже состоялось. И картина, бывшая перед моими глазами, не только свидетельствовала об этом, не только была достопримечательна, но даже умилительна.

Милюков сидел и писал: он дописывал декларацию Исполнительного Комитета—в редакции, которую начал я. К написанному мною второму абзацу этого документа Милюков приписал третий и последний абзац и подклеил свою рукопись к моей.

— В этой редакции начато лучше, яснее и короче,— пояснил он. Но Милюков уже был в полном изнеможении и, наконец, встал, прервав работу.

— Нет, не могу,—сказал он,—складывая в карман бумаги.—Завтра кончим. Пусть будет на день отложено...

И все разошлись.

Из думцев оставался уже один Милюков. Подошел Стеклов, и мы условились собраться снова после 3 часов дня для окончательного решения дела. До этого времени о результатах наших переговоров можно будет доложить

Совету и получить от него окончательную формальную санкцию действий Исполнительного Комитета.

Я не помню дальнейшей судьбы нашей декларации. Кажется, ее докончил Стеклов, приписавший к ней первый абзац. Я привожу в примечании полностью этот документ *).

* * *

Я решил отдохнуть хоть два-три часа и, распрощавшись, отправился в левое крыло за шубой. Там еще оставалось несколько человек, в числе которых помню Богданова. Когда я уходил, Стеклов еще оставался с ними и потом рассказывал мне, что без меня снова состоялось какое-то совещание с правым крылом, но кто в нем еще участвовал, в котором часу и о чем говорили—я не помню.

Помню только рассказ Стеклова о том, как в заключение беседы он расцеловался с Милюковым!..

Из этого заключаю, что ничего особенного на этом совещании не произошло, и основной вопрос оно никуда не сдвинуло. На следующий день мы продолжали, начав с того пункта, на котором остановились еще при мне...

Дворец быстро оживал. День обещал быть похож на предыдущие. Уже принесли свежие «Известия» с прика-

---

*) ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА СОЛДАТСКИХ И РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ.

Товарищи и граждане!

Новая власть, создающаяся из общественно умеренных слоев общества, об'явила сегодня о всех тех реформах, которые она обязуется осуществить частью еще в процессе борьбы со старым режимом, частью по окончании этой борьбы. Среди этих реформ некоторые должны приветствоваться широкими демократическими кругами: политическая амнистия, обязательство принять на себя подготовку Учредительного Собрания, осуществление гражданских свобод и устранение национальных ограничений. И мы полагаем, что в той мере, в какой нарождающаяся власть будет действовать в направлении осуществления этих обязательств и решительной борьбы со старой властью,—демократия должна оказать ей свою поддержку.

Товарищи и граждане. Приближается полная победа русского народа над старой властью. Но для победы этой нужны еще громадные усилия, нужна исключительная выдержка и твердость. Нельзя допускать раз'единения и анархии. Нужно немедленно пресекать все бесчинства, грабежи, врывания в частные квартиры, расхищение и порчу всякого рода имущества, бесцельные захваты общественных учреждений. Упадок дисциплины и анархия губят революцию и народную свободу.

Не устранена еще опасность военного движения против революции. Чтобы предупредить ее, весьма важно обеспечить дружную согласованную работу солдат с офицерами. Офицеры, которым дороги интересы свободы и прогрессивного развития родины, должны употребить все усилия, чтобы наладить совместную деятельность с солдатами. Они будут уважать в солдате его личное и гражданское достоинство, будут бережно обращаться с чувством чести солдата. С своей стороны солдаты будут помнить, что армия сильна лишь союзом солдат и офицерства, что нельзя за дурное поведение отдельных офицеров клеймить всю офицерскую корпорацию. Ради успеха революционной борьбы надо проявить терпимость и забвение несущественных проступков против демократии тех офицеров, которые присоединились к той решительной и окончательной борьбе, которую вы ведете со старым режимом.

зом № 1, с сообщением, что в Берлине идет уже третий день кровавая революция, с цитированным выше об'явлением Энгельгардта об отобрании оружия и с кучей всяких несообразностей...

Но хуже всего было то, что в этом № 3, крупным корпусом, черным по белому, была напечатана весьма странная передовица. Смущению и возмущению большинства Исполнительного Комитета, равно как насмешкам и злорадству меньшинства и посторонней публики—на следующий день не было границ.

Передовица, исходя из ненадежности думского демократизма, отстаивала ни больше, ни меньше как вхождение советских представителей в кабинет Милюкова. Факт появления этой статьи, совершенно противоестественный и безобразный, также достаточно характерен для невозможных, кустарных условий работы этих дней... Бог весть, чем руководствовалась наличная («новожизненская»!) редакция «Известий», печатая в официальном органе принципиальную, актуальнейшую статью и не потрудившись справиться о позиции Исполнительного Комитета!.. Автором же статьи был Базаров.

* * *

Двор и сквер дворца были пустынны в это свежее, морозное, зимнее утро. Но было солнечно и весело. Охраны не было по прежнему ни души, но исчезли со двора вслед за охраной и пушки, и пулеметы. Это была больше не крепость, а мирный дворец революции...

Победа была уже одержана. Уже были сделаны важные шаги к ее закреплению. Дело было за пустяками,—оставалось ею умело воспользоваться! Тогда не думалось, что на этих пустяках сломит себе шею не одно поколение советских деятелей. Тогда, в это морозное веселое солнечное утро дышалось легко и радостно,— даже с полнейшей атрофией в голове и ноющей пустотой в желудке...

Мимо хвостов и красных флагов я пошел к «градоначальнику Никитскому «ночевать» на Старый Невский.

— Ну что, Анна Михайловна, должно быть нет вашего «генеральского сына»?—обратился я к отворившей мне старой няньке Никитского, с которой он жил вдвоем много лет, которую с 1905 года знали и услугами которой

пользовались многие десятки революционеров, которая столько ухаживала за мной, нелегальным, во время моих постоянных ночевок у Никитского... Да, есть у нас и такие деятели революции!.. Отметить генеральское происхождение Никитского она, однако, не упускала случая.

— Нету, нету,—ответила она сокрушенно,—еще днем ушел, да так и не приходил... И не знамо где, и что с ним...

— Градоначальником назначен ваш Андрей Александрович! Баста теперь мне от полиции бегать! Пусть меня тут застанет хоть сам старший дворник, при такой-то руке в градоначальстве! Разбудите меня, пожалуйста, часа через два, к десяти...

— Господи, Господи,—твердила старуха, ведя меня к нетронутой постели своего питомца,—что же это такое делается! А вы-то кто теперь?.. Может, чего скушаете?

Я на ходу проглотил стоящий с вечера ужин и заснул, уже ничего не ощущая и не понимая... Было около восьми часов четвертого утра революции.

■ ■ ■

6. ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

2 марта.

„Смотр революционным войскам."—Как Исп. Ком. „решал дела".— Керенский in toga candida.—Демократ или „бонапартенок"?— Линия Исп. Комитета и опасности справа и слева.—Новый доклад Стеклова и мои „предохранительные меры".—Керенский наготове.—„Приказ № 1" уже используется.—Керенский бросается в бой. Его „coup d'état". Его речь. Его „победа". Его беззакония.—Другая министерская речь.—Милюков перед народом.— Глава кабинета о монархии и династии.—Глава империализма о войне до конца.—Вопрос о Романовых обостряется. Милюков отступает.—Резолюция Совета о власти.—Победа Исп. Ком.— „Юридическое положение" Керенского.—„Революция в Германии".—Второе заседание в правом крыле. Окончательное сформирование первого революционного правительства.—Экспедиция во Псков. Предательство цензовиков.—Работа советской делегации. Снова вопрос о монархии.—„Gouvernement c'est moi" Милюкова.—Вопросы „государственного права": преемственность власти, подписи.—Техника и политика переворота.—Переворот завершен.

В двенадцатом часу, войдя во дворец, через правое крыло, я спешил в Исполнительный Комитет... Прежняя картина, и прежняя атмосфера.

Остановил Станкевич, мой товарищ по редакции «Современника», безнадежный трудовик или н.-с., бывший доцент уголовного права в университете, а теперь, как я называл его, «профессор фортификации и геометрии» в каком-то военном училище,—будущий член Исполнительного Комитета и комиссар северного фронта, свидетель судьбы Духонина и довольно близкий Керенскому человек. Он орудовал в дни революции по казармам, среди офицеров, вообще по военной части, преисполненный пафоса и энтузиазма.

— Вот хорошо, что я вас встретил... У меня есть предложение. Устроим смотр войскам на Марсовом поле, пусть весь гарнизон с музыкой пройдет перед Исполнительным Комитетом. Это будет грандиозная демонстрация, невиданная в истории. На весь Петербург, на всю Россию и на всю Европу, чорт возьми!

Что же, мысль не плохая! Но это не так легко осуществить, как кажется Станкевичу, и совсем трудно провести в желательном ему духе. Тут гораздо больше политики, чем ему представляется. Идиллия, несомненно, будет разбита о такие подводные камни, которых он не хочет знать в своем пафосе и энтузиазме... Я вдруг почему-то представил себе на конях Чхеидзе, Шляпникова, себя самого. Мы посмеялись, и я побежал дальше...

Исполнительный Комитет не заседал, хотя большинство членов были в сборе. Все в одиночку или попарно занимались «текущими делами».

Передавали всякие слухи, но никто не знал толком ни о «высокой политике», ни о переговорах Родзянки с царем, ни насчет «отречения». Работа кипела, необходимая и неизбежная в своей бестолковости и практической бесплодности. Массу «государственных дел» приходилось решать единолично, или посоветовавшись с первым попавшимся товарищем—тогда как в обычное время решение каждого из них было бы поставлено на повестку и потребовало бы жарких прений.

Рядом звонит телефон.

— Это Совет Рабочих и Солдатских Депутатов?— Нельзя ли позвать кого-либо из членов Исполнительного Комитета? Говорят от имени совещания представителей петербургских банков. Мы просим разрешения немедленно открыть банки. Мы считаем, что спокойствие восстановлено настолько, что деятельности банков ничто не угрожает. Дальнейшая задержка в открытии их была бы только вредна, могла бы вызвать лишь осложнения в народном хозяйстве и содействовать возникновению неосновательной тревоги и паники...

Не выпуская трубки, я подзываю стоящего по близости члена Исп. Комитета, совещаюсь с ним две минуты («за» и «против») и спрашиваю:

— Каково отношение высших и низших служащих к открытию банков?

— Служащие все,—отвечают мне,—готовы приступить к работе сейчас же и ждут только вашего разрешения.

Я отвечаю от имени Исполнительного Комитета:

— Хорошо, разрешение дается. Если нужно в письменной форме, то составьте сами на листке без бланка и пришлите в Таврический дворец, в комнату 13-ю, для подписи и печати.

Еще звонок:

— Говорят с Царскосельского вокзала, Комиссар Исполнительного Комитета по поручению железнодорожников,—Великий князь Михаил Александрович из Гатчины просит дать ему поезд, чтобы приехать в Петербург.

Отвечаю уже без всяких совещаний:

— Пусть ему передадут, что Исполнительный Комитет поезда дать не разрешает, по случаю дороговизны угля; но гр. Романов может придти на вокзал, взять билет и ехать в общем поезде, куда хочет.

* * *

Уже начал собираться Совет. Ему предстояло сейчас в полном составе обсудить официально и решить окончательно вопрос о власти.

Сегодня заседание нельзя было, как вчера, оставить без всякого внимания и руководства со стороны Исполнительного Комитета. Напротив, надо, по возможности, подготовить и обеспечить дружное и безболезненное решение этого вопроса.

Я собирался принять с своей стороны соответствующие меры, но меня отвлек Керенский, явившийся в левое крыло в сопровождении Зензинова, ставшего его рупором, энергичным (закулисным) помощником и верным оруженосцем... Керенский выглядел сравнительно успокоенным и отдохнувшим, но возбужденным и торжественным.

Он пришел все за тем же. Он готов дать или дал уже согласие на принятие поста министра юстиции. Можно ли провести это через Совет и получить его одобрение?..

Я указал ему на решение Исполнительного Комитета, принятое вчера 13-ю голосами против 8-ми,—не вступать в правительство и не посылать в цензовый кабинет официальных представителей демократии. Я сказал, что эту

позицию Исполнительный Комитет будет защищать и в Совете. Отсюда, следует, что, если Керенский хочет обратиться к Совету за санкцией, то он должен сложить с себя звание товарища председателя Совета и действовать в качестве частного лица.

Персонально, применительно к Керенскому, я по прежнему считал небесполезным его участие в министерстве, но никак не в качестве представителя советской демократии. Кроме того, я указал, что поднимать в Совете этот вопрос я считаю небезопасным для решения вопроса о власти вообще. Если Керенскому придется поставить вопрос о том, какая по природе должна быть власть, то он, пожалуй, может получить ответ: власть должна принадлежать советской демократии. Проблема слишком трудная, слишком новая и сложная для «советского митинга»; при данном размахе движения она, нашей постановкой, слишком заострена вправо и может с чрезвычайной легкостью настолько далеко скатиться влево, что могут быть сорваны не только все «комбинации», но и самая революция.

Как бы то ни было, Керенскому, для его практической цели, предстояло—либо сложить свое советское звание и поступать, как знает, независимо от Совета; либо об'ясниться с Советом «в частном порядке» и об'явить ему, что он непременно хочет быть министром, но в силу решения Исполнительного Комитета он слагает с себя советское звание и просит одобрить такой его образ действий; либо апеллировать к Совету и добиваться иного его решения о власти, чем было принято в Исполнительном Комитете. Или, наконец, совершить «coup d'état», и, пока еще решение Исполн. Комитета не известно Совету или не обсуждалось им, обратиться непосредственно к Совету—в нарушение воли Исполнительного Комитета, игнорируя его постановление.

Видя, что Керенский непременно хочет быть министром и не откажется от министерства ни в каком случае, я настоятельно убеждал его пойти по любому из двух первых путей. Керенский отвечал неопределенно, обдумывая свой план,—и умчался в правое крыло.

* * *

До открытия Совета я хотел сделать все возможное, от меня зависящее,—для того, чтобы обеспечить верное и безболезненное прохождение в Совете всей «линии» Исполнительного Комитета. Я опасался выступлений слева, которые легко могли быть подкреплены уличными методами борьбы—в случае твердости позиции и достаточной энергии большевистских и левоэсеровских групп. Побороть это движение, если бы оно началось, «внутренними» средствами, силой влияния или убеждения,—было бы до крайности трудно, если вообще возможно.

Позиция большинства Исп. К-та (центра) была совершенно правильной, но положение его было в высшей степени шатким: отстоять «цензовиков» перед массами, перед Советом, обладавшим реальной силой, было труднее трудного вообще. При возбуждении и тревоге солдатской массы, эта трудность удесятерялась. Когда-же цензовики отказывались, в такой ситуации, даже расстаться с монархией и династией, то уже одно это способно было обречь всю «комбинацию» на гибель, — если бы движение началось.

Оставалось надеяться, что оно не начнется—в виду слабости бесшабашно-левых течений, неоформленности их позиции, невысокому уровню и не авторитетности их вождей. Но, во всяком случае, надо было сделать все, чтобы предотвратить это движение...

С другой стороны, боевые сторонники вхождения в правительство были до крайности подавлены решением Исполнительного Комитета. Меньшинство не желало слагать оружия,—и поговаривали о том, что они будут апеллировать к Совету.

Я убеждал представителей меньшинства не делать этого, говоря, что им это не поможет, но это может раздуть такой огонь слева, который не потушить, по крайней мере, так быстро, как это необходимо. Чтобы не развязывать опасного духа слева, я убеждал не перегибать палку вправо. Помню мой разговор, в частности, с Эрлихом, сторонником «коалиции», который указывал, что вопрос об участии в правительстве все равно будет поднят в Совете случайными группами и ораторами, но

обещал принять меры, чтобы не было организованного выступления меньшинства Исполнительного Комитета...

Докладчиком в Совете должен был опять выступить Стеклов. Я помню свой разговор с ним перед этим докладом. Неприятное воспоминание!—ибо в нем проявилось то политиканство, какое свойственно всякой кучке, опирающейся на надежное большинство и позволяющей себе поэтому сомнительные приемы борьбы с меньшинством и сомнительные эксперименты над массами... Я убеждал Стеклова делать доклад как можно полнее и пространнее,—чтобы затем, по возможности, принять его без прений. Я опасался осложнений или затяжки дела в случае «долгого парламента» и спекулировал на то, что доклад, сделанный с исчерпывающей обстоятельностью, прежде всего убедит «советский митинг», а затем заставит сократить прения настолько, что будет слишком трудно сдвинуть мысли и настроение массы, как влево, так и вправо.

Потом, когда мне пришлось в течение всей революции быть в положении «безответственной» и бессильной, численно ничтожной оппозиции,—мне уже не случалось прибегать к подобным приемам, а наоборот, констатировать их у других и разоблачать правящее большинство. Тем более печально воспоминание о том, как пришлось испытать на себе власть «грязного дела» политики в ту краткую эпоху, когда волею судеб я сам находился в рядах этого правящего большинства.

* * *

Совет собрался, и надо было открывать заседание. Я, по обыкновению не пошел туда и мало интересовался речами. Во-первых, сам я не имел ораторского опыта, был непривычен в обращении с массами и не имел к этому надлежащего вкуса (о чем мне неоднократно пришлось весьма сожалеть). Во-вторых, было очевидно, что не там, не в общих собраниях делается политика, и все эти «пленумы» решительно не имеют практического значения. В-третьих, были текущие дела в Исполнительном Комитете. И я оставался за занавеской в комнате 13-й. Исполнительный Комитет по прежнему не заседал, и с открытием советского заседания его помещение почти опустело.

Вскоре из залы Совета послышался голос Стеклова, приступившего к докладу. В зале было тихо, все напряженно слушали—многие во второй раз—пункт за пунктом «программу» Исполнительного Комитета, предложенную «цензовикам» и излагаемую докладчиком до крайности популярно, пространно, водянисто. Комната Исполнительного Комитета была забронирована залой Совета от наплыва посторонних и от «экстренных дел». Никто не рвался за занавеску и из самой залы Совета, где все были заинтересованы «высокой политикой», где был «большой день», где впервые за все время (если не считать вчерашней вечерней репетиции при полу-пустом зале) делался доклад от имени Исполнительного Комитета... Благодаря этому, подписав какие-то бумаги, «удостоверения» и «разрешения», я довольно быстро покончил с «текущими делами» и мог, сидя в кресле, за занавеской, наслаждаться некоторое время праздностью, простором, тишиной и сознанием исполненных обязанностей...

Подошел Тихонов и кто-то из левых Исполнительного Комитета, не могу припомнить—кто именно. Мы мирно беседовали, иногда прислушиваясь к отдельным фразам доклада, долетавшим сквозь занавеску, через раскрытую дверь.

В это время снова появился Керенский, в сопровождении того-же Зензинова, и расположился в нашей компании. Он не говорил, зачем пришел, но явно выжидал чего-то. Он рассказывал о той сенсации среди буржуазных кругов и офицерства, какую произвел там приказ № 1. Но Керенский не был настроен особенно полемически. От ночной его паники и злобы не было заметно и следа...

На вопрос о том, что происходит в правом крыле, он ответил, что там, несмотря на все трудности, создаваемые Исполнительным Комитетом, идет работа по формированию кабинета...

На Керенского напал сидевший тут же вышеупомянутый большевик или «междурайонец», который был довольно тверд и довольно прав в своей отрицательной, критической позиции, но довольно сбивчив и не тверд в своей положительной программе. Керенский отвечал в

меру запальчиво и раздраженно, без особой ярости и без особой убедительности.

Был, вероятно, третий час дня. Стеклов основательно затянул доклад и разливался рекой уже больше часа.— «Так, Стеклов, правильно!»—думал я про себя, ловя отдельные слова доклада, следя за его этапами и раздумывая о положении дел...

Входили отдельные люди, утомленные докладом и давкой и, увидев наше «заседание», поспешно ретировались. Заглянуло два-три человека военного звания, более или менее близких и причастных к делам. Они не замедлили обрушиться на «Приказ № 1», негодуя, ужасаясь, а главное, неправильно толкуя, искажая, читая в нем то, чего там не было и признака—в частности, усматривая там требования выборного начальства, тогда как там лишь об'являлись выборы комитетов, для внутреннего распорядка в частях петербургского гарнизона... Разбить лжетолкователей было, конечно, не трудно. Но было ясно, что это не поможет и что из этого «приказа» всей буржуазией будет сделано надлежащее употребление...

Стеклов все говорил... Я спрашивал себя: что замышляет и что хочет предпринять Керенский? Пока же я был доволен его столкновением с большевиком и, подливая масла в огонь спора, стремился продемонстрировать перед Керенским те настроения масс, которые, до известной степени, воплощались в словах большевика. Я полагал, что Керенскому, в котором я видел человека «правого крыла»,—ориентироваться в этих настроениях будет весьма полезно, а не знать их, игнорировать их—довольно опасно.

Вдруг, Стеклов кончил, в зале раздались аплодисменты.

* * *

Керенский вскочил, как ужаленный, и бросился в зал, снова побелев, как полотно. Остальные, и я в том числе, поспешили за ним и стали в дверях, чтобы видеть, что будет.

В противоположном конце зала, направо от двери, на председательском столе стоял Чхеидзе и что-то говорил, размахивая руками, среди затихавших аплодисментов. От нашей двери туда поспешно пробирался Керенский. Но

толпа решительно не поддавалась его усилиям и, пройдя всего несколько шагов, он взобрался на стол, тут же, в конце зала, недалеко от двери в комнату Исполн. Комитета... Отсюда он попросил слова. Весь зал обернулся в его сторону. Раздались нерешительные аплодисменты.

Керенский избрал наихудший путь к министерскому посту — «coup d'état». Он игнорировал Исполнительный Комитет и его постановление. Он не пожелал ни руководствоваться им, ни даже добиваться его пересмотра. Игнорируя его, как не заслуживающее внимания обстоятельство, Керенский предпочел опереться лишь на силу своего личного давления и авторитета. И он расчитывал, он надеялся на то, что это будет достаточно для его целей. Он предпочитал действовать личным натиском и спекулировал на неподготовленность, несознательность и стадные инстинкты своей аудитории, наполовину наполненной чисто обывательскими элементами.

Все это, вместе взятое, в высокой степени характерно для психологии особой категории людей, позднее наименованных «бонапартятами»... Однако, как бы то ни было, поскольку Керенский не заглядывал вперед, не учитывал всей совокупности обстоятельств, не проникал в глубь вещей и самого себя,—постольку его расчет был правильным, и он достиг своей непосредственной цели. И только впоследствии он мог убедиться в том, что этот «наполеоновский» метод действий лишь повредил ему, а потом и погубил его...

Керенский начал говорить «упавшим» голосом, мистическим полушепотом. Бледный, как снег, взволнованный до полного потрясения, он вырывал из себя короткие, отрывистые фразы, пересыпая их длинными паузами... Речь его, особенно в начале, была не связна и совершенно неожиданна,—особенно после спокойной беседы за занавеской...

Бог весть, чего тут было больше—действительного исступления или театрального пафоса! Но во всяком случае, тут были следы «дипломатической» работы: о ней свидетельствовали некоторые очень ловкие ходы в его речи, которые должны были обязательно повлиять на «избирателей».—Эта речь Керенского довольно известна:

ее в то время оживленно комментировали, а потом о ней часто вспоминали.

— Товарищи!—говорил новый министр юстиции in toga candida,—доверяете ли вы мне?—В зале слышатся возгласы:—«Доверяем, доверяем!»...

— Я говорю, товарищи, от всей души... из глубины сердца, и если нужно доказать это... если вы мне не доверяете... я тут же, на ваших глазах... готов умереть...

В зале пробегает волна изумления и волнения... Приемы французских ораторов, примененные, вероятно, непроизвольно и нечаянно, слишком необычны у нас и произвели довольно сильное «аффрапирующее» действие... Далее Керенский взял быка за рога и, прямо перейдя к основной цели, немедленно разрубил Гордиев узел.

— Товарищи! в виду образования новой власти(!), я должен был немедленно, не дожидаясь вашей формальной санкции, дать ответ на сделанное мне предложение занять пост министра юстиции (!)...

Теперь надо было оправдать, достойно мотивировать свой незакономерный образ действий. И, Керенский, учитывая, что он—«на митинге», что в зале найдется огромный процент людей, у которых за душой нет и не может быть ничего, кроме поклонения ему—Керенскому, как «знамени» революции, кроме революционного пафоса и политического непонимания,—учитывая все это, он ударил в самую точку.

— В моих руках,—продолжал он,—находятся представители старой власти, и я не решился выпустить их из своих рук (бурные аплодисменты и возгласы: «правильно!»). Я принял сделанное мне предложение и вошел в состав Временного Правительства в качестве министра юстиции (аплодисменты далеко не столь бурные и возгласы «браво», характерные отнюдь не для «массы»). — Первым моим шагом было распоряжение немедленно освободить всех политических заключенных и с особым почетом препроводить наших товарищей-депутатов с.-д. фракции Государственной Думы из Сибири сюда.

Теперь, в конце 1918 г. этот «особый почет» борцам пролетариата вошел в обиход и стал явлением привычным, само собою разумеющимся,—так же как всякий прижим имущих классов вообще и представителей старой власти в частности и в особенности. Но надо войти в психологию

тех дней, когда процесс превращения прежних властей в арестантов только начинался, когда самая амнистия еще не перестала быть «пунктом программы», когда психология масс совершенно еще не успела переварить новых явлений, понятий, отношений,—надо войти в психологию тех дней, чтобы представить себе тот энтузиазм, который способны были вызвать подобные заявления, так ярко фиксирующие достигнутую народную победу. Ведь тогда мы не привыкли еще даже к звукам марсельезы, и я помню, как долго волновали меня эти звуки, военный оркестр и военные почести «нелегальному» гимну свободы!

Заявление Керенского о возмездии царским властям и о почете царским арестантам, произвело, несомненно, большой эффект и подняло настроение до энтузиазма. После такой артиллерийской подготовки, Керенский мог уже идти в атаку.

— В виду того,—продолжал он,—что я взял на себя обязанность министра юстиции раньше, чем я получил от вас формальное полномочие, я слагаю с себя обязанности председателя Совета Рабочих Депутатов. Но я готов вновь принять от вас это звание, если вы признаете это нужным (возгласы: «просим, просим», и недружные аплодисменты).

Далее Керенский говорил о своем демократизме, о защите народных интересов, ради которой он идет в правительство, о дисциплине, о поддержке, о революции вообще. Это была уже лирика. Деловое содержание речи ограничилось изложенным, in extenso, по памяти и по газетному отчету.

Керенскому устроили овацию. Под крики приветствия и бурю рукоплесканий Керенский, спрыгнув со стола, ретировался снова в комнату 13-ю—в сознании, что он победил, в уверенности, что он получил «формальную санкцию» на вступление в министерство и, сохранив свое звание товарища председателя Совета Рабочих Депутатов,— стал министром от демократии.

Между тем, это было не так. Выступив в Совете до обсуждения и до решения вопроса о власти, Керенский, на свое предложение пустить его в министры получил лишь аплодисменты, которые и меньшинство могло сделать достаточно шумными; а в ответ на свое предложение

оставить его в советском звании, получил лишь возгласы: «просим, просим». Никакого формального постановления не было. Мало того, Керенский уклонился и от обсуждения вопроса,—не только не потребовав его, но удалившись из залы заседания.

Были ли протесты, при отсутствии которых решение без голосования, par acclamation, все же сохраняет подобие законности? — Протесты были заявлены немедленно.

Это были, правда, единичные голоса из среды самого Совета. Лидеры Исполнительного Комитета понимали, что развертывать прения во всю ширь, в данной обстановке, специально о Керенском, значило бы идти на такой риск свалки, неразберихи, затяжки вопроса и «срыва комбинации», который был нежелателен для обеих сторон. На этой почве большинство также не считало нужным принимать бой, как Керенский не счел нужным предлагать его. Но протесты все же были. «Решение» par acclamation было опротестовано—всем последующим ходом заседания и резолюцией, принятой в конце его. Ими была устранена всякая тень законности в действиях Керенского. Речь об этом будет дальше.

* * *

Первые же фразы Керенского вызвали во мне ощущение неловкости, пожалуй, конфуза, тоски и злобы. Махнув рукой, я отошел от двери, сел на диван в глубине комнаты и, мрачно слушая речь, переговаривался с двумя-тремя товарищами о том, что предпринять и что из всего этого выйдет. Было ясно—на этой почве, лично о Керенском, боя давать не следовало. Но отстоять общую линию Исполнительного Комитета было необходимо во что бы то ни стало.

Керенский, вернувшийся после речи, был окружен группой почитателей, проникших за ним из залы. В числе их я помню каких-то двух или трех английских офицеров, почтенного и именитого вида, которые, впрочем, не столько атаковали Керенского, сколько немедленно были атакованы им.

Они плоховато понимали друг друга, но проявляли огромный взаимный интерес. Керенский увлек их за за-

навеску и обнаруживал явное желание, чтобы (в чужом помещении) никто не мешал их интимной французской беседе.

— Вот, вот,—думал я, злобно глядя на нового министра,—пора заняться с доблестными союзниками!..

* * *

В Совете начались прения. Бой, всетаки, начался. Но пока выступали с обеих сторон не официальные представители течений, совершенно тогда не оформленных, и не члены Исполнительного Комитета, а приватные ораторы, мало известные аудитории и неспособные оказать большое давление на нее. При этом преимущество было явно на стороне «линии» Исполнительного Комитета и его позиции, выраженной в докладе.

Ораторов большевиков, левых с.-ров, левых меньшевиков (в числе их, помню выступавшего Ерманского), всетаки знали и признавали своими партийные рабочие группы. Напротив, сторонники «коалиции» и Керенского были посторонние и случайные для рабочих люди, —всякие «трудовики», сотрудники «тоже социалистической» прессы (вроде «Дня»), и т. п. интеллигенты, ничего не говорящие рабочей аудитории.

Больше всего могли здесь сделать именно авторитетные и просто известные массе имена. И я особенно уповал на выступление думских депутатов:—Скобелева и Чхеидзе, яростного противника коалиционного правительства.

Левая опасность, в общем, очень мало давала себя знать. Ораторы левой, выступавшие «против буржуазии вообще», были поддерживаемы только своими, т. е. каждый—незначительной частью собрания. Но они были слишком слабы и не могли спорить с авторитетом Исполнительного Комитета, к тому же, покрытого ореолом некоторой таинственности в глазах большинства, влившегося в Совет уже после выборов.

Мои опасения оказались напрасными, и уже в первой половине долгого собрания стало очевидным, что большинство обеспечено за линией Исполнительного Комитета. Все это я наблюдал урывками, мимоходом, среди «текущих дел», в течение нескольких часов.

* * *

Это история одной министерской речи. Как раз в это время произносилась другая. Пока Керенский апеллировал к Совету, Милюков обращался «к народу», в Екатерининской зале. Милюков выступал перед случайной толпой не с агитацией, но с информацией.

Может быть, его отвлекла от дел и извлекла из думских аппартаментов сама публика. Но вполне вероятно, что, составив министерство, его фактический глава желал получить представление об отношении к нему народных масс. И, в частности, быть может, он желал проверить свое решение самого острого для него вопроса, способного послужить источником конфликта не только с Советом Рабочих Депутатов, но и с его собственными, более левыми, товарищами. Это был, конечно, вопрос о монархии и династии. Милюков, вероятно, был заинтересован в том, чтобы получить непосредственное впечатление от реакции случайной, но многотысячной аудитории на его навязывание революции романовского разбитого корыта...

В четвертом часу появился Милюков в Екатерининской зале, чтобы представиться народу, в качестве почти министра, и представить своих коллег по образуемому кабинету. Он начал с довольно демагогических выпадов против старой власти, об'явил о создаваемом первом общественном кабинете и, призывая его к поддержке, снова подчеркнул необходимость связи между солдатами и офицерами.

При этом в его словах зазвучали новые ноты, видимо, благоприобретенные в ночном заседании. Милюков требовал от офицерства, чтобы оно берегло в солдате чувство человечности и гражданского достоинства. Однако, он воздерживался от изложения и комментирования принятого пункта программы—насчет перевода армии вне строя на гражданское положение.

Разнокалиберная аудитория не скупилась на шумные приветствия. Но значительная часть ее была настроена явно оппозиционно. Из толпы то и дело слышались иронические вопросы и полемические возгласы, через которые оратору пришлось пробираться не без труда.

— Кто выбирал вас?—был задан довольно трудный вопрос, на который пришлось ответить,—что не выбирал никто, что выбирать было некогда, что выбрала «революция»... Когда Милюков назвал премьера—Львова воплощением Российской «общественности», гонимой царским режимом, то из толпы раздался возглас: «цензовая общественность!» И Милюков ответил на это характерным и правильным замечанием, идущим по линии тех-же рассуждений, какими руководствовалось большинство Исполнительного Комитета, передавая власть цензовой буржуазии. Он сказал: — «Цензовая общественность это единственная организованная общественность, которая даст возможность организоваться и другим слоям русской общественности».

Относительно Керенского, Милюков, при громе аплодисментов, сделал заявление, характерное для главы правительства, составляющего кабинет:

— Я только что,—сказал он,—получил согласие моего товарища, А. Ф. Керенского, занять пост министра юстиции в первом общественном кабинете, в котором он отдаст справедливое возмездие прислужникам старого режима, всем этим Штюрмерам и Сухомлиновым.

Напротив, при представлении Гучкова, которого к этому времени снова уломали, дело не ограничилось аплодисментами, а не обошлось без неприятностей, на что, впрочем, расчитывал и сам Милюков.

— Я назову вам имя,—продолжал он,—которое вызовет здесь возражения,—А. И. Гучков был моим политическим врагом в течение всей жизни Государственной Думы (крики: «другом!»). Но теперь мы политические друзья. Я—старый профессор, привыкший читать лекции, а Гучков—человек действия. И сейчас, когда я в зале говорю с вами, Гучков на улицах столицы организует нашу победу. Что сказали бы вы, если бы вместо того, чтобы вчера ночью расставлять войска на вокзалах, к которым ожидалось прибытие враждебных перевороту войск, Гучков принял участие в наших политических прениях, а враждебные войска, занявшие вокзалы, заняли-бы улицы, а потом и этот зал. Что сталось бы тогда с вами и со мной?

Вот к каким маленьким увerткам и маленьким искажениям действительности должен был прибегнуть Милю-

ков, чтобы заставить свою невзыскательную аудиторию претерпеть Гучкова. Но если с этим вышел маленький грех, то большой смех вышел с Терещенкой. Откуда, в самом деле, почему и зачем взялся этот господин?

— Россия велика,—ответил на это лидер кабинета.— Трудно везде знать лучших людей...—И оратор поспешил перейти к Шингареву.

От Милюкова потребовали программы кабинета. Он начал было излагать по пунктам программу, продиктованную ему в нашем ночном заседании, сославшись на то, что не может прочесть бумажки, находящейся сейчас на окончательном рассмотрении Совета Рабочих Депутатов. Он указал, что эта программа является продуктом соглашения цензовиков с советской демократией. Но изложение программы было прервано нетерпеливыми и настойчивыми криками:

— А династия? А как с Романовыми?

Милюков храбро бросился в бой, впрочем, не упуская случая прикрыть, где можно, свою наготу, плащом защитного цвета.

— Я знаю,—говорил он,—что мой ответ не всех вас удовлетворит, но я его скажу. Старый деспот, доведший страну до полной разрухи, сам откажется от престола или будет низложен. Власть перейдет к регенту, великому князю Михаилу Александровичу. Наследником будет Алексей.

Милюков не сослался здесь на авторитет Совета Рабочих Депутатов, но и не обмолвился ни словом, что в данном пункте он делает пробу—не пройдет ли его программа, вопреки требованиям советской демократии и в противоречии с намеченными ночью основами «соглашения».

Это, если угодно, также была попытка совершить «coup d'état», окончившаяся, конечно, полным крахом... На другой день Милюкову пришлось «раз'яснять» печатно, что заявления насчет монархии и династии выражают его «личное мнение». А еще через несколько дней и от этого «личного мнения» ничего не осталось. Но уже и сейчас, во время самой речи, Милюкову пришлось в беспорядке отступать на позиции, заранее приготовленные Исполнительным Комитетом.

Шум, протесты, крики:—«Долой династию!» — стали

явно угрожать, что оратор кончит свою речь не добром. И, когда он вновь получил возможность говорить, он продолжал в таком духе:

— Господа, вы не любите старую династию. Ее, быть может, не люблю и я. Но сейчас дело не в том, кто что любит. Мы не можем оставить без решения и без ответа вопрос о форме государственного строя. Мы представляем его себе, как парламентскую и конституционную монархию. Быть может, другие представляют себе иначе. Если мы будем об этом спорить, вместо того, чтобы сразу решить, то Россия очутится в состоянии гражданской войны и возродится только-что разрушенный режим. Это мы сделать не имеем права, ни перед вами, ни перед собой...

Аудитория, однако, решительно не видела оснований, почему же, избегая спора, проволочек и гражданской войны,—надо решить вопрос именно так, как Бог положит на душу Милюкову, —т. е. в пользу Романовых, ненавистных и населению, и (sic!) самому оратору. Шум и протесты, не унимаясь, заставили Милюкова сделать ловкую диверсию по форме и капитулировать по существу.

— Это не значит, — продолжал оратор, — что мы решили вопрос бесконтрольно. В нашей программе вы найдете пункт, согласно которому, как только пройдет опасность и водворится порядок, мы приступим к подготовке созыва Учредительного Собрания (громовые рукоплескания), собранного на основе всеобщего, явного и тайного голосования. Свободно избранное народное представительство решит, кто вернее выразит общее мнение России — мы или наши противники...

Придя с готовым решением и вступив за него в бой, Милюков был выпужден спрятаться вместе со своей программой за «какое-то Учредительное Собрание». Понятно, что отсюда было рукой подать до «третьего пункта» Исполнительного Комитета, который требовал предоставления Учредительному Собранию, и лишь ему одному, права решить вопрос и лишал правительство Милюкова права предрешать его в той или иной форме.

Как бы то ни было, это «программное» выступление Милюкова было ему полезным уроком. Он получил представление, обогатился впечатлением насчет того, как

реагирует народ на попытки завершить переворот монархией и как остро стоит в его глазах вопрос о романовской династии... Это место речи Милюкова, затмившее все остальные ее красоты, мгновенно облетело не только весь дворец, но и всю столицу. Оно комментировалось на все лады, оно крайне обострило вопрос о «третьем пункте», вызвало возмущение против Милюкова и пошатнуло престиж всего «правого крыла», рискнувшего в великий праздник поманить воспрянувший народ гнилым зловонным рубищем проклятого презираемого деспотизма.

Все это Милюкову пришлось намотать себе на ус. И все это дало себя знать уже в ближайшие часы, когда лидер всего тогдашнего монархизма в России, не изменив своих убеждений, был вынужден изменить свою тактику, и не только забыть о рискованных попытках «coup d'état» но и снять, наконец, с очереди свое «решение вопроса».

Однако, в этой речи не менее интересно и не менее характерно другое. В ней не было ни слова о внешней политике, ни слова о «войне до конца» и «полной победе», о германском империализме и милитаризме, —обо всем том, что составляло неот'емлемую программу Милюкова-министра, что составляло душу его, как общественного деятеля, его природу, как лидера российской цензовой буржуазии и вдохновителя отечественного империализма...

Даже на прямой вопрос из публики, что будет делать в новом правительстве сам Милюков, он ответил буквально следующее:

— Мне мои товарищи поручили взять руководство внешней русской политикой. Быть может, я на этом посту окажусь и слабым министром, но я могу обещать вам, что при мне тайны русского народа не попадут в руки наших врагов...

И все... Да, прямолинейный до шовинизма, фанатический до ослепления, рыцарь Дарданелл и «великой России», готовый принести им в жертву подлинную Россию, заведомо обрекший им в жертву великую революцию и сам павший жертвой собственной прямолинейности и шовинизма,—этот человек, все-же, умел кое-что мотать на ус. И тогда, в этот день он показал, что коечему он научился за прошедшую ночь.

* * *

Без недоразумений по поводу династии с этих пор уже не обходились митинги и публичные речи.

Пришлось в этот день столкнуться с этим и лично мне. Не помню—зачем, я пробирался, часу в шестом, через ту-же несметную толпу, в правое крыло. На меня бросилось несколько незнакомых людей, заявивших, что у дворца стоит толпа в несколько десятков тысяч человек, что сами они проникли во дворец в качестве ее делегатов, чтобы вызвать Керенского или, в крайнем случае, кого-нибудь из членов Исполнительного Комитета. Если-же никто не выйдет, то они «ручались», что толпа силой ворвется во дворец.

— Поймите,—убеждал меня один из них,—ведь население ничего не знает о положении дел, город совсем без информации....

— «Известия»?—это капля в море,—их не хватает, об этом говорят все...

Разыскать Керенского было невозможно. Да и не мог же он говорить речи народу целые дни. Меня подхватили под руки и потащили на улицу. С крыльца, на которое мы едва выбрались, я увидел толпу, какой не видел еще ни разу в жизни. Лицам и головам, обращенным ко мне, не было конца: они сплошь заполоняли весь двор, затем сквер, затем улицу, держа знамена, плакаты, флажки.

Уже вечерело, шел снег, меня сразу охватил мороз. Мне подняли воротник пиджака, падели на голову чью-то папаху и подняли на плечи, пока один из моих провожатых рекомендовал меня толпе. Я стал рассказывать о положении дел. Не знаю, какая часть толпы слышала мой слабый голос, но все, на сколько хватал глаз, напряженно тянулись и хранили мертвую тишину.

Я рассказал о том, как решил Исполнительный Комитет проблему власти, назвал предполагаемых главных министров и изложил программу, продиктованную Советом правительству Львова-Милюкова. Названное мною имя министра Керенского возбудило «живейший» восторг, но—вскоре меня стали перебивать вопросами о м о н а р х и и и д и н а с т и и.

Вопросы и возгласы раздавались дружно с разных концов несметной толпы. И я, лично не придававший до тех пор этому вопросу кардинального значения, впервые здесь обратил внимание на то, как остро стоит он в глазах масс.

Я рассказал в ответ на крики, что насчет монархии и династии существует еще не ликвидированное разногласие между «цензовиками» и Исполнительным Комитетом. Я высказал уверенность, что весь народ выскажется в пользу демократической республики. Идти дальше и призывать к поддержке Исполнительного Комитета я счел неудобным, да и излишним. После моей речи у слушающих и без того появился актуальный лозунг— произошла грандиозная, но вместе с тем мирная манифестация против династии—за республику.

* * *

Из города все еще являлись вестники, впопыхах и в ужасе рассказывавшие об эксцессах, стрельбе и столкновениях. Но веры им было все меньше, а надежды на то, что со всем этим справятся и без нас—было все больше.

События «входили в норму», а вместе с тем и наша «текущая» работа приобретала более общий, более планомерный, более «государственный», менее случайный характер. К тому-же, основное дело—организация власти, создание нового революционного статуса, уже заканчивалось, и можно было подумывать о новых общих задачах советской организации.

Но прежде всего было необходимо сколько-нибудь упорядочить самую организацию. Надо было распределить функции членов Исполнительного Комитета, создать постоянные отделы, или комиссии, подумать о финансах, о постоянных штатах сотрудников, о постановке планомерной агитации и литературной части, об автомобилях и т. д. Я не помню, было ли заседание Исполнительного Комитета в эти часы, — пока в Совете еще шли прения о власти. Вернее, что мы, по прежнему, в одиночку и группами, «решали дела», с которыми обращались всевозможные делегаты, курьеры и инициативные добровольцы и которые стояли на очереди, по разумению самих членов Исполнительного Комитета.

Около семи часов заседание Совета подходило к кон-

цу. Уже ставилась на голосование резолюция Исполнительного Комитета—о власти и ее программе. Я не помню и не знаю, что именно было пущено в ход в конце заседания, чтобы склонить чашу весов; не помню, кто выступал от имени Исполнительного Комитета, и говорил ли докладчик заключительную речь. Но результат голосования был, во всяком случае, блестящий:—«линия» и программа Исполнительного Комитета была одобрена всеми голосами (несколько сот) против 15...

Невозможно сказать, из каких элементов собралось это подавляющее большинство—по его партийному составу и степени сознательности. Не знаю и того, в какой мере ничтожная оппозиция была «правой» и была «левой», вероятно, было больше правых—коалиционистов, чем левых—большевиков. Но как бы то ни было, победа «линии» Исполнительного Комитета, линии, несомненно, самой трудной для усвоения неподготовленными элементами, линии наибольшего сопротивления для масс, линии передачи власти цензовикам, невхождения в правительство и минимальнейшей программы — победа этой линии была решительной и полной.

Здесь надлежит специально отметить следующее обстоятельство. Постановление Исполнительного Комитета о неучастии в кабинете цензовиков состоялось накануне. Не взирая на него, Керенский обратился 2-го марта к Совету, с просьбой делегировать его в министерство с оставлением в звании товарища председателя Совета Рабочих Депутатов, и покинул трибуну, а вместе с тем и залу заседания без формального постановления Совета. Он счел себя министром, оставленным в советском звании, основываясь на устроенной ему овации. Это было вначале заседания, до резолюции.

Между тем, в том-же заседании было принято постановление против 15-ти голосов —в силу которого, официальные представители советской демократии не могут входить в правительство. Вывод ясен: Керенский, оставшись министром после этого постановления,

или нарушил волю Совета, за что подлежал ответственности в особом порядке, или механически перестал быть с этого момента товарищем председателя Совета Рабочих Депутатов.

Более, чем вероятно, что Керенский искренне заблуждался в своем положении, считая, что все советские решения суть не стоящая внимания вещь, которую он в мгновение ока повернул по своему,—придя, увидев и победив. Признаками этого искреннего заблуждения могут служить его речи в тот же вечер, где он весьма невинно ссылался на только что принятую резолюцию, рекомендуясь министром и представителем демократии...

Впрочем, надо сказать, что Керенский, хорошо оценивая для себя значение советского клейма, все же совершенно пренебрегал своим советским званием, просто забывая о нем при своих сношениях с «публикой»: его настоящая сфера, где он чувствовал себя как рыба в воде, была далека от демократии и ее организаций. Весьма характерно для его психологии, что о своих формальных отношениях к Совету он упоминал лишь в особых случаях, присвоив себе в это время столь же наивное, сколь нелепое постоянное звание:—«министр юстиции, член Государственной Думы, гражданин Керенский»...

Все это я говорю к тому, что в дальнейшем, когда поведение Керенского—министра понемногу становилось невыносимым, шокирующим и подозрительным, в Исполнительном Комитете возникал не раз вопрос о формальном положении Керенского и о том, что предпринять по отношению к нему. П р а в а я часть Исполнительного Комитета тогда настаивала на полной формальной и фактической лойяльности Керенского. Но, в частности, она забывала, или, подобно «большой публике», не знала самого «генезиса» положения, т. е. вышеизложенных фактов *).

* * *

Резолюция о власти была принята, «соглашение» Исполнительного Комитета с цензовиками было одобрено,

---

*) В одном из таких заседаний мне пришлось воспроизвести всю вышеописанную картину событий, связанных с вступлением Керенского в правительство. Всеми, не исключая правых, она была признана совершенно точной; и по этому поводу мне было тогда-же пожаловано звание „советского историографа"—с поручением составить соответствующую историческую записку. Поручения я тогда не исполнил. Сим, через полтора года, исполняю его.

и надо было кончать дело с образованием правительства. Завтра с утра, во что-бы то ни стало, на улицах должны висеть плакаты нового Временного Правительства, извещающие об окончательном установлении новой эры в истории государства российского. И без того дело было на сутки задержано...

В восьмом часу вечера я спешил собрать нашу делегацию для окончательного решения дела в правом крыле. Соколова, насколько помню, не оказалось во дворце, и он совсем не участвовал в этом совещании. Стеклов был на лицо. Я искал Чхеидзе.

Заседание Совета уже совершенно разлагалось, но еще продолжалось, и зала была еще полна. Там шли какие-то «дополнительные сообщения» и «внеочередные заявления», перед тем, как разойтись до-завтра.

Вдруг, когда я входил в залу Совета в поисках Чхеидзе, разразился ураган рукоплесаний, раздалось оглушительное «ура!». Волнение было неописуемо... Левый меньшевик Ерманский, стоя на председательском столе с экземпляром «Русского Слова» в руках, «оглашал» телеграмму о том, что в Берлине второй день идет революция, что Вильгельма уже не существует, и т. д.

Неизвестно как попал в почтенную, высоко осведомленную газету этот вздор. И собственно, очень немного нашлось людей, которые ему поверили. Но разоблачения были сделаны лишь впоследствии и не могли уменьшить энтузиазма наэлектризованной толпы от оглашенного с высокой трибуны потрясающего известия.

Где был Чхеидзе?.. Протолкавшись в залу со стороны 11-й комнаты, я увидел его на председательском столе. Потрясая какими-то скомканными листами бумаги, выкатив глаза, старик подпрыгивал от стола на поларшина, и что было сил кричал «ура!»... Пробравшись к самой эстраде, позади ее, я позвал Чхеидзе, пригласив его идти со мной для более будничного, но пожалуй, более важного, дела. Старик, однако, плохо понимал меня и, вообще, был недоволен моим вмешательством; сердито махнув рукой, он продолжал оставаться на столе, тяжело дыша и свирепо вращая глазами.

* * *

Но вот мы все собрались и втроем отправились в правое крыло, захватив с собой резолюцию Совета. В Екатерининской зале снова шли митинги, редеющие к вечеру.

Я на минуту остановился послушать, кажется, вместе со Стекловым. На баллюстраде против входа, высоко над толпой, примерно в тысячу человек, стоял сотрудник «Дня» и славословил одного за другим новых либеральных министров. Было довольно противно... Но было еще хуже, когда этого господина сменил Богданов, правый член Исполнительного Комитета, представлявший в нем меньшевистский центральный Комитет («Организационный Комитет»), и пытался продолжать почтенное занятие своего предшественника. Снизу мы стали делать ему знаки укоризны и удивления... В самом деле, это было так же неудачно, как и призывы неистово-левых членов Исполнительного Комитета, направленные к свержению цензового правительства и к пресечению всех возможностей закрепления нового строя...

В думских рабочих аппартаментах наблюдалась та-же картина, что и у нас: комнаты, занятые центральными учреждениями, мало по малу заполонялись «периферией» или просто публикой, от которой не было отбоя. Чтобы сохранять какую либо работоспособность, центрам приходилось ретироваться, и, либо забираться все глубже, во внутренние покои, или бежать в другой, еще неизвестный угол дворца.

Комната вчерашнего ночного заседания уже успела превратиться в какую-то «кордегардию», и нас провели двумя комнатами глубже, где в большом числе находились думские лидеры, прочие столпы нашего буржуазного общества, рядовые депутаты разных мастей и другие весьма почтенные люди. Они группами сидели, ходили, оживленно спорили, хлопотали, совещались и без толку толкались.

Нас ждали, и мы немедленно приступили к работе. Но на этот раз не произошло уж никакого подобия официального и вообще организованного заседания. У меня не осталось в памяти даже состава участников:

кажется, не было Родзянки, кажется, были Годнев и оба Львова; показали мне впервые «лучшего человека»—Терещенко, ничего не говорившего... Дальше стояла безличная масса.

* * *

Гучков и Шульгин в это время уже были недалеко от Пскова, куда они выехали утром для того, чтобы склонить царя к отречению в пользу Алексея при регенте Михаиле. Об этой поездке Исполнительный Комитет узнал только на следующий день, а как она была организована с технической стороны, я не знаю.

Политически же, со стороны нашей «конституционной» буржуазии это была последняя попытка сохранить монархию и династию путем «coup d'état». Это была попытка—на пустом месте возсоздать монархическо-романовский центр, сплотив вокруг него генералитет, огромную часть офицерства и, следовательно, всей армии, чиновничества, цензовой, земской и городской буржуазии, т. е. всей той «организованной общественности» и того старого государственного аппарата, которые представляли тогда огромную силу, с которыми открытый бой, открытая гражданская война слабой и распыленной демократии представляла бы смертельную опасность для революции.

Заправилы тогдашнего монархизма хотели поставить перед совершившимся фактом Россию, радикальную, «республиканскую» буржуазию, а главное—советскую демократию, позиции которой выяснились за истекшую ночь. Со стороны Гучковых и Милюковых эта поездка была не только попыткой «coup d'état», но и предательским нарушением нашего фактически состоявшегося договора.

Допустим, вопрос о «третьем пункте», о форме правления оставался открытым до момента формального окончания переговоров; но, ведь, Гучков и Милюков предприняли свой шаг за спиной у Совета—в процессе самих переговоров... Это был шаг, достойный всякой буржуазии, у которой нет ни слова, ни чести, как нет отечества—перед лицом своих классовых интересов. Но это был шаг довольно ловкий и правильный с точки зрения монархистов и плутократов. Однако, злосчастная судьба решила иначе...

Примечание: спрашивается, от чьего имени была организована поездка в Псков Гучкова и Шульгина? Если от имени Временного Комитета Государственной Думы, то известно ли было о ней его членам Керенскому и Чхеидзе? Если им было об этом известно, то почему не было доведено до сведения Исполнительного Комитета?—Т. е., до каких пределов буржуазных кругов шло предательство интересов демократии? Или—до каких пределов простиралось легкомыслие иных демократов?..

* * *

Итак, мы приступили к работе. Как я сказал, участников этого заседания я не помню, потому что не было собственно ни заседания, ни участников: шел разговор между Милюковым, Стекловым и мною, в котором не принимали никакого или почти никакого участия остальные, находившиеся в комнате.

Работа же состояла в окончательной формулировке и записывании правительственной программы. Даже внешняя обстановка комнаты не только не напоминала, но, можно сказать, исключала представление о каком-либо заседании. Милюков сидел и писал в углу комнаты за столом, приставленным к стене или к окну. Рядом с ним, также лицом к стене, расположились мы, советские делегаты. Тут же сидели двое-трое слушателей из думских людей. Вся остальная комната была у нас за спиной и прямо-таки «не предназначалась» для участия в разговорах. Кроме нас троих изредка кто вставлял фразу, другую.

Конечно, мы первым делом вернулись к «третьему пункту», к вопросу о форме правления. Мы уверяли, что из упорства Милюкова, из его стремления навязать Романовых—не выйдет ровно ничего, кроме осложнений, которые не помогут делу монархии, но выразятся, в наилучшем случае, в подрыве престижа его собственного кабинета.

В доказательство мы приводили весь наш опыт сегодняшнего дня, за который ликвидация Романовых уже успела стать боевым лозунгом. Мы указывали, что именно позиция, занятая им, Милюковым, как лидером всего правого крыла, не только обострила вопрос, но обостряет и

общее положение. Мы обращали внимание на то недовольство, какое вызвала речь Милюкова в Екатерининской зале...

Милюков слушал и, казалось, сознавал нашу правоту. Он также имел опыт сегодняшнего дня и, быть может, подумывал о том, что организация им поездки во Псков была довольно рискованным предприятием... Но, во-первых, дело было сделано; во-вторых, как бы ни была рискованна эта ставка на монархию—она была н е о б х о д и м а для Милюкова и Гучкова: ибо ставка на монархию была все-же менее рискованна, чем ставка на буржуазную государственность б е з монархии... Милюков слушал и раздумывал.

— Неужели вы надеетесь,—сказал я, наконец, в качестве последнего аргумента,—что Учредительное Собрание оставит в России монархию? Ведь ваши старания все равно пойдут прахом...

В ответ на это Милюков обмолвился знаменательной фразой. Фразу эту надо считать искренней, хотя бы по причине ее практической ненужности и «недипломатичности», а вместе с тем,—она в высокой степени характерна как для отношения Милюкова к монархии и династии, так и для отношения его к своим собственным коллегам и своему собственному месту среди них. За точность передачи я ручаюсь. Прямо в лицо своим товарищам по кабинету и самому премьер-министру, Милюков, обращаясь к нам, сказал с ударением и видимым искренним убеждением:

— Учредительное Собрание может решить, что угодно. Если оно выскажется против монархии—тогда я могу уйти. Сейчас же я не могу уйти. Сейчас, если меня не будет, то и правительства вообще не будет. А если правительства не будет, то... вы сами понимаете...

В этих словах сказалась и вся трагедия «сознательного», но обанкротившегося монархиста, и вся гордая самоуверенность монопольного лидера целого класса, класса «господствующего», но... дурашливого, за которым нужен глаз да глаз.

* * *

В конце концов, вопрос о «третьем пункте» был решен таким образом: мы согласились н е п о м е щ а т ь

в правительственную декларацию официального обязательства, «не предпринимать шагов, предрешающих форму правления». Мы согласились оставить вопрос открытым и предоставить правительству, или, вернее, его отдельным элементам, хлопотать о романовской монархии. Но мы категорически заявили, что Совет с своей стороны безотлагательно развернет широкую борьбу за демократическую республику.

На этом мы сошлись применительно к содержанию правительственной декларации.

— Да,—заметил Милюков, с оттенком раздражения, —мы не сторонники демократической республики...

Фигура умолчания, найденная нами в качестве выхода из положения, была, конечно, компромиссом. Но ясно, что этот компромисс был несравненно большим со стороны монархистов, чем со стороны Совета. Ведь мы от имени Совета не требовали провозглашения республики, тогда как наши «контрагенты» настаивали на монархии и регентстве. Мы требовали только не предрешения вопроса до Учредительного Собрания. Но официальное обязательство такого рода, конечно, не имело бы существенного практического значения. «Шаги», разумеется, предпринимались бы (как они были за кулисами предприняты уже теперь). Свободная же борьба, об'явленная нами, оставляла все шансы на стороне республики,—не только благодаря всенародной ненависти к Романовым, не только благодаря всенародной воле к республике и реальной силе на ее стороне, но и благодаря обеспеченной измене широких слоев буржуазии «идеалам монархии». Раскол буржуазии на этой почве уже тогда проявился достаточно резко, и через несколько дней он, как известно, увенчался облачением в республиканскую тогу партии самого Милюкова. Наш компромисс и наш риск был, конечно, ничтожен. Меня лично все это заставляло пренебрегать вопросом о «форме правления» и во время самой выработки программы в Исп. Комитете, когда я считал возможным и желательным предоставить решение этого вопроса дальнейшей свободной борьбе.

С решением «третьего пункта» окончилось уже всякое обсуждение вопросов «высокой политики» и оставалось

только проредактировать, привести в порядок и сдать в печать первую конституцию Великой Российской Революции. К готовой бумажке со списком министров надо было приклеить декларацию, а потом собрать под нее подписи членов кабинета.

«Программа» была уже ночью записана Милюковым. Мы прочитали ее снова, и Милюков, под диктовку, послушно приписал в конце ее: «Временное правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого либо промедления по осуществлению вышеизложенных реформ и мероприятий»...

Мы, все трое, составляющие последнюю редакцию «программы», были писатели, и при том с достаточным опытом. Но редакция вышла слабой и подвигалась с трудом, с заминками и поправками. Помню,—мы долго не могли нащупать формулировки этого последнего «обязательства»... «Реформ и мероприятий»—можно ли так сказать? Мы махнули рукой и сказали.

* * *

Стеклов куда-то исчез и доделывать конституцию мы остались вдвоем с Милюковым. Помнится, клочек бумаги неправильной формы, на котором была написана декларация, перешел в мои руки, и я сверху, при содействии Милюкова, написал наверху его: «В своей деятельности правительство будет руководствоваться следующими положениями»...

Теперь,—как озаглавить документ?

— «От Временного Комитета Государственной Думы»,—предложил мне надписать Милюков. Но меня это не удовлетворяло. При чем тут Государственная Дума и ее Комитет?..

— Чтобы сохранить преемственность власти,—ответил Милюков.—Ведь этот документ должен подписать Родзянко.

Мне все это не нравилось. Я предпочитал, чтобы дело обошлось без всякой преемственности и без Родзянки. Я настаивал, чтобы документ был озаглавлен: «От временного правительства», и сказал, что подписывать его Родзянке, на мой взгляд, нет нужды.

Вопрос был практически не важен, но было любо-

пытно, как его формально решает ученый представитель буржуазного монархизма, завязивший коготок в революции. У Милюкова явно не было определенного мнения на этот счет.

— Вы думаете, что Родзянке не подписывать?—с сомнением сказал он. Затем, перебрав несколько комбинаций заголовков, он заявил:

— Ну, хорошо, пишите «От Временного Правительства».

Я написал это наверху склеенной бумажки, имевшей весьма беспорядочный вид. Необходимо было перестукать ее на машинке и послать в типографию не позже 10 часов. Но сначала надо было собрать на подлиннике подписи министров.

Мы пошли их искать по думским комнатам. Большинство тут же подписывало, не читая или, во всяком случае, не вникая в подробности. Помню, почему-то заупрямился и, также не читая, не хотел подписать государственный контролер Годнев. Пробившись с ним минут пять, его оставили в покое. Его подписи так и не было на этом документе.

Но за то подвернулся Родзянко, к которому направляли бумагу министры и который сам счел необходимым благословить революционное правительство своей подписью.

Надо было отправлять конституцию в типографию, присоединив к правительственной декларации воззвание Исполнительного Комитета, состоявшее, как уж известно, из трех абзацов и написанное «тремя руками».

— Давайте я их вместе и отправлю,—предложил Милюков... Произошла странная вещь. Не знаю почему, меня вдруг взяло сомнение: можно ли доверить это дело Милюкову? Я не хотел оставлять в его руках документов—ни нашего, ни его собственного, хотя никакой реальной опасности, ни в смысле исчезновения, ни в смысле искажения представить себе не мог. Но как выразить мои сомнения, совершенно смутные и ни на чем не основанные?

— А вы в какой типографии напечатаете это?—спросил я.

— Не знаю, — ответил Милюков. — Типографские средства скорее в ваших руках.

— Я думаю, что мы сейчас можем печататься в одной типографии, которая занята Советом и обслуживает его. Вероятно, другой еще нет и у вас.

— Отлично,—сказал Милюков,—в таком случае, отправьте вы оба документа, с ручательством, что завтра с утра они будут расклеены на улицах...

Я был сконфужен таким оборотом дела и, собрав бумаги, отправился, чтобы отдать их для переписки. Безо всякой надобности, просто как дань моему конфузу, я решил вернуть оригинал вместе с копией Милюкову.

— Пожалуйста,—говорил он мне вслед,—устройте так, чтобы наши декларации были напечатаны и расклеены на одном листе, одна под другой.

* * *

Был десятый час. И Совет, и митинги давно разошлись. Дворец был почти темен и почти пуст. Но были на лицо признаки новой советской «организации». Мне без большого труда удалось отыскать «дежурную» машинистку и засадить ее за переписку первой «конституции», задержав курьера, готового отправиться в типографию с другими материалами.

— Толпа громит университет!!!—пронеслось вдруг по советским комнатам. Я не особенно поверил этому, но надо было принять меры. Подвернулся один из «прапорщиков», предлагавший свои услуги еще утром 28-го. Он утверждал, что у него есть крепкий надежный отряд, и взялся отправиться с ним немедленно к университету...

В городе еще не улеглось, но новый порядок пускал корни не часами, а минутами. Техника закрепления нового строя едва ли не перегоняла «высокую политику».

Но и в области политики требования момента были почти выполнены. Конституция была готова и переписана. Один экземпляр я вручил товарищу-курьеру для экстренной доставки в типографию, надписав на нем соответствующие директивы («на одном листе, крупным шрифтом, с утра расклеить по улицам»)... С другой копией и с оригиналом я направился в правое крыло.

Исполнительный Комитет уже разошелся на отдых, и

никого из его членов, кажется, не было на лицо. По дороге в вестибюле меня снова перехватила «делегация» от толпы, требовавшей, чтобы к ней «кто-нибудь» вышел. Опять, ссылаясь на возможные эксцессы, меня просили сказать ей два слова. Бежать одеваться было нестерпимо скучно, и я двинулся прямо на улицу в пиджаке, с «конституцией» в руках.

На дворе была холодная ночь, падал редкий снег. Сквер оказался пустым, толпу же кто-то задержал в воротах на улице. Я побежал к воротам и на этот раз взобрался на тумбу в студенческой шинели и фуражке. Эксцессы такой толпы были во всяком случае не страшны: было всего 400—500 человек поздних манифестантов, больше из интеллигенции.

Показывая им подлинник революционной конституции, я в двух словах рассказал о положении дел в области высокой политики. Меня снова перебивали криками, возгласами, вопросами о монархии и династии. Я призывал к борьбе за республику, и наскоро ретировавшись, продолжал путь в правое крыло.

Милюков был удивлен моей «любезностью», когда я вручил ему копии и оригиналы наших деклараций. Рукописи так и остались у него...

— Слухи о разгроме университета оказались вздорными,—мимоходом заметил я, передавая документы.

— Да, да,—отвечал Милюков, как бы на свои собственные мысли,—все идет хорошо. Все хорошо.

Я также находил, что все идет как нельзя лучше. Думские аппартаменты также почти опустели. Дело было кончено.

Были кончены и все дела четвертого дня революции. Можно было подумать об отдыхе и пище. Мы распрощались с Милюковым, чтобы в недалеком будущем встретиться снова—уже в Мариинском дворце и уже не в качестве «контрагентов», а в качестве представителей сторон, борющихся не на живот, а на смерть. Наше «соглашение» было уговором об условиях поединка.

* * *

Было около 11-ти часов. В это самое время г.г. Гучков и Шульгин, только-что приехав во Псков, в салон-вагоне

вели беседу с царем об отречении его от престола. Как известно, царь решил отречься еще утром, после доклада генерала Рузского, говорившего ночью по прямому проводу с Родзянкой. Я уже упомянул, что царь тогда же утром составил на этот счет телеграмму, но не послал ее, так как получил известие, что к нему во Псков едут члены Думского Комитета. Царь ожидал их в течение дня.

А г.г. депутаты тайно от народа ехали во Псков, чтобы от имени революции убедить царя сохранить династию, путем передачи царских прав сыну Алексею, а фактической власти—брату Михаилу.

Царь за день, однако, передумал и, после длинной речи Гучкова, весьма дипломатично и осторожно ломившегося в открытую дверь,—он заявил, что уже сам решил отречься от престола, но не в пользу Алексея, с которым он не в силах расстаться, а в пользу брата, которого прочили в регенты.

Это застало думских делегатов врасплох. Однако, они не замедлили сообразить, что для них и руководимых ими групп, такой оборот дела представляет еще большие выгоды; а вместе с тем, они не поколебались, от имени России, санкционировать эту попытку надеть на страну и революцию это более надежное монархическое ярмо. Они заявили, что преклоняются перед отцовским чувством и не возражают. Около 12-ти часов они уже увозили в Петербург акт об отречении в пользу Михаила. Напрасно...

Но так или иначе — этим актом увенчивался великий переворот 1917 года. Теперь была ликвидирована династия, а с ней и монархия. Теперь была создана новая революционная власть и заложены основы нового порядка. Российское государство, российский народ теперь уже вышли на новый светлый путь, и мировому пролетарскому движению уже открылись новые перспективы.

* * *

Я же шел в это время на ночевку по пустынным улицам Пескова. У костров грелись военные и штатские патрули, новые милиционеры и всякие добровольцы «революционного порядка», с винтовками, пистолетами и значками. Они добросовестно останавливали изредка проносившиеся автомобили, требовали пропуска и рас-

сматривали документы. Появился в Петербурге некий «черный автомобиль», мчавшийся, как говорили, из конца в конец столицы и стрелявший в прохожих чуть ли не из пулемета. Его ловили, но не могли поймать.

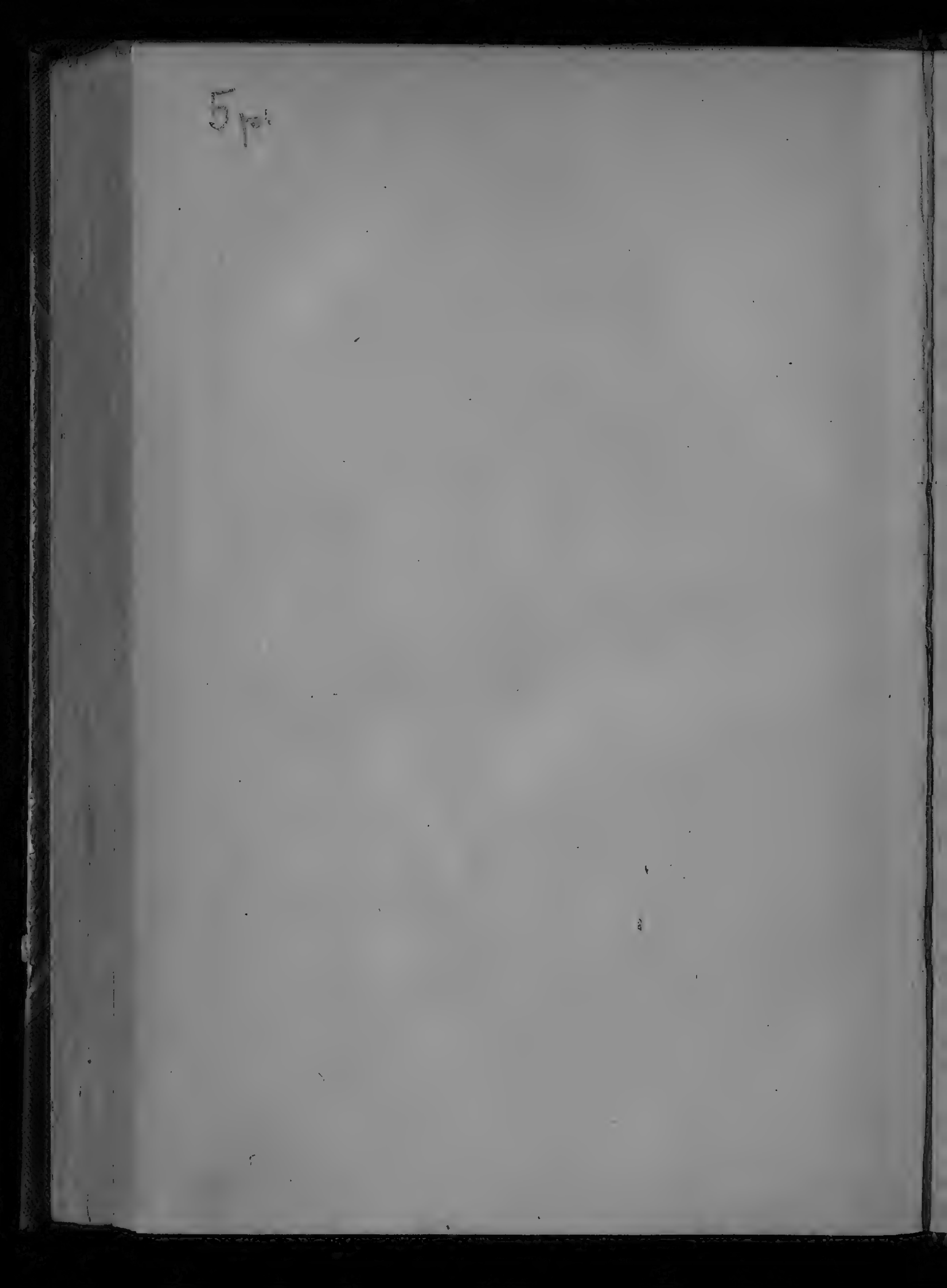
На улицах не чувствовалось тревоги. Уже не было на улицах бездомных, голодных солдат. Переворот завершился и столица, а за не йвся страна, начинали жить новой жизнью и переходить к очередным делам.

Кое-где чернели одинокие, накренившиеся грузовики и другие автомобили, завязшие в снегу. Не мало погубили их в эти дни! И не эти жертвы стоили внимания...

Но каких жертв вообще не стоила великая победа, все еще похожая на сладкую мечту и на волшебный лучезарный сон!

■ ■ ■

ОГЛАВЛЕНІЕ.



Ц. 15 р.

СКЛАД ИЗДАНИЯ:
КНИЖНАЯ ЛАВКА „КНИЖНЫЙ УГОЛ“.
У Симеоновского моста, Караванная, 2-5.

Типография «Копейка».

